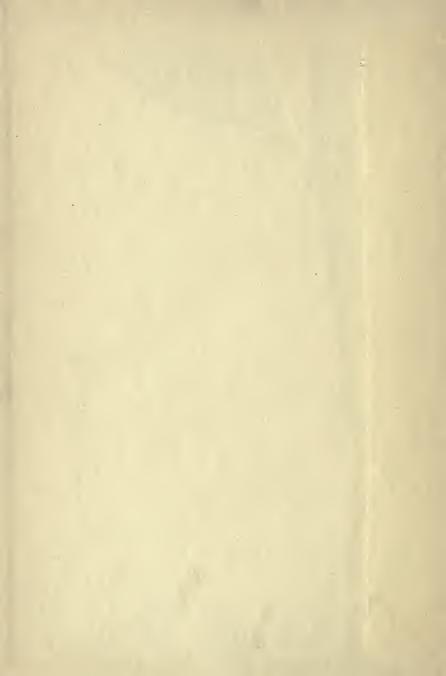
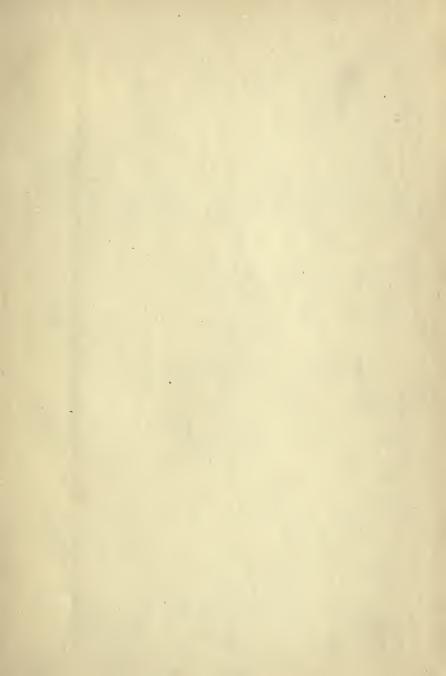
3 1761 0470751







H. CTPAXOBB.

ЗАМЪТКИ О ПУШКИНЪ

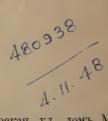
Zamyetki o Pushkinge i drugina

ДРУГИХЪ ПОЭТАХЪ.



2-е изданіе, дополненное.





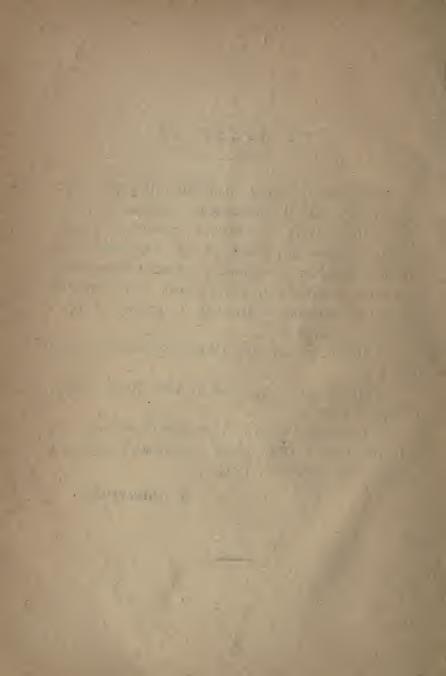
KIEB b.

Типографія И. И. Чоколова, Футтуклеевская ул., домъ № 22.

Дозволено цензурою. Кіевъ, 6 Мая 1897 года.

оглавленіе.

	Стран.
Отъ издателя	1
Предисловіе	II—XVII
пушкинъ.	1—126
 Нъсколько запоздалыхъ словъ. 	I— 16
II. Главное сокровище нашей литературы	17— 34
III. Замътни о Пушкинъ	35— 37
1. Нъть нововведеній	37— 41
2. Переимчивость	41-46
3. Подражанія	47 52
4. Пародін	52- 54
5. Прямодушіе	54 59
6. Истинная поэзія	60 66
IV. Къ портрету Пушкина	67— 78
V. "Борисъ Годуновъ" на сценъ	79—104
Письмо первое	79— 87
Письмо второе	87— 95
Письмо третье	95-104
VI. Пушкинскій праздникъ (Открытіе памятника Пушкину въ	
Москвъ)	105—126
the state of the s	127—179
1. Что такое извъстность	127—134
2. Направленіе Некрасова и Полонскаго	134—142
3. Объективная критика	142—147
	147—155
The state of the s	155—175
6. Свобода поэзін	175—179
Прибавленіе. Объ ироніи въ русской литературь	180—190



Предисловіе.

Съ именемъ Пушкина неразлучно связано какое-то очарованіе. Есть такія чарующія имена въ исторіи человічества, имена, о которыхъ можно повторить выраженіе "Пъсни Пъсней":

Скажуть имя твое-пролитой аромать!

Таково было у древнихъ грековъ имя Платона, у римлянъ—Виргилія; таковы у итальянцевъ имена Рафаэля, Петрарки, у нѣмцевъ Моцарта, Шиллера... Эти имена составляютъ синонимы свѣта и красоты, высшей прелести, до какой могутъ достигать человѣческія чувства и мысли и ихъ проявленіе.

Судить о такихъ явленіяхъ въ исторіи человѣчества, объ этихъ перлахъ на поприщѣ духовной жизни людей, есть дѣло представляющее свои особыя трудности. Во первыхъ, нужно быть способнымъ къ очарованію; непремѣнно нужно испытать на самомъ себѣ обаяніе того чародѣя, о которомъ хотимъ разсуждать. Восторгъ понимается только восторгомъ, и кто его никогда не чувствовалъ въ ясной стецени, тотъ пусть лучше о немъ не говорить.

Во вторыхъ, нужно совладать съ своимъ очарованіемъ, нужно настолько выбиться изъ подъ его власти, чтобы имѣть возможность обратить его въ наслажденіе сознательное и отчетливое. Когда что-нибудь приводить насъ въ восторженное настроеніе, то въ насъ обыкновенно пробуждается память и способность многихъ другихъ очарованій, ничуть не связанныхъ съ тѣмъ, что дѣйствуетъ на насъ въ ту минуту. Мы подымаемся, какъ говорится, въ идеальный міръ и начинаемъ блуждать по этому міру; мы приходимъ въ возвышенное настроеніе и смутно наполняемся всякаго рода мыслями и чувствами, свойственными этому настроенію. Иногда одно слово, одинъ звукъ, одно движеніе заставляють насъ плакать и задыхаться отъ нахлынувшаго потока ощущеній, гдѣ-то глубоко въ насъ спавшихъ.

Эту восторженность, расходящуюся во всѣ стороны, намъ слѣдуеть обратить въ опредѣленное и отчетливое вниманіе къ тому, что у насъ передъ глазами; нужно умѣть идти за писателемъ и художникомъ всюду, куда онъ насъ ведеть, и видѣть все то, что онъ намъ показываеть. Тогда только мы будемъ различать поэзію отъ умозрѣнія, музыку отъ поэзіи, и т. д., и въ каждомъ явленіи находить его своеобразную красоту, въ каждой частности извѣстную жизнь и силу.

Но и этого еще мало. Когда мы проникнемся тѣмъ особымъ очарованіемъ, которое свойственно тому или другому творцу или творенію, намъ нужно и это очарованіе довести до сознательности и опредѣленности. Отъ рѣчей великихъ писателей, отъ формъ и звуковъ великихъ художниковъ выходитъ какой-то свѣтъ, проникающій всѣ

• ихъ созданія, ослѣпляющій насъ, такъ что мы сперва не въ силахъ отчетливо видѣть каждую черту, и все намъ кажется однимъ потокомъ красоты. Каждое слово Пушкина есть слово очарованное, уже потому, что оно—Пушкина. Мы встрѣчаемъ это слово съ полнымъ и чуткимъ вниманіемъ; даже самый ничтожный слѣдъ несравненнаго таланта, лежащій на какой-нибудь рѣчи, не ускользаетъ отъ насъ,—и этого довольно, чтобы самая простая и незначительная рѣчь окружилась для насъ какимъ-то сіяніемъ.

Если мы не выйдемъ изъ-подъ власти этого обаянія, мы никогда не получимъ способности вполнѣ и правильно судить о нашемъ поэтѣ. Для полнаго пониманія, намъ нужно свободно подниматься на всякія точки зрѣнія; философія, поэзія, художество—не развлеченіе или прихоть,—они въ концѣ концовъ требуютъ для себя самаго высокаго и строгаго суда, и этому суду не должно мѣшать никакое пристрастіе. Воплощенныя мысли должны быть судимы по высшему мѣрилу красоты,—по глубинѣ своей правды и чистотѣ своего чувства.

И такъ, вотъ какія требованія долженъ исполнить тотъ, кто берется за критическое обсужденіе поэтовъ. Задача такого обсужденія мнѣ всегда представлялась столь трудною и огромною, что я никогда не брался за нее въ полномъ ея объемѣ. Изъ требованій, мною выставленныхъ, одно, самое начальное, было, однако-же, мною выполняемо въ сильной степени: любовь къ поэзіи, очарованіе всѣми ея прелестями. Если это восторженное поклоненіе въ нѣкоторыхъ случаяхъ, можетъ быть, ослѣпило меня, то оно-же давало мнѣ, какъ мнѣ

думается, и ту проницательность, которая безъ него невозможна. Во всякомъ случав, названіе, данное этой книжкв, совершенно точное; это не болве, какъ замлытки, не имвющія притязанія на законченность и на исчернываніе даже какого нибудь отдвльнаго вопроса.

Издать эту книжку меня побудиль нѣкоторый успѣхъ статьи Зампытки о Пушкингь, помѣщенной въ Складчингь. А. Д. Галаховъ въ своемъ учебникѣ по исторіи русской словесности и Л. И. Поливановъ въ своемъ учебномъ изданіи сочиненій Пушкина употребили въ дѣло мои замѣтки,—большая честь, показавшая мнѣ въ тоже время, съ какой стороны эти замѣтки могутъ представлять нѣчто новое, какъ говорится, "восполняющее пробѣлъ". По этому поводу скажу здѣсь нѣсколько словъ.

Читатель увидить, что во всемь томъ, что въ разные годы было писано мною о Пушкинѣ, я очень мало касаюсь внутренней стороны поэта, его существеннаго содержанія, того образа чувствъ и мыслей, который онъ намъ завѣщалъ. "Пушкинъ", говоритъ Аполлонъ Григорьевъ, "наше все: Пушкинъ—представитель всего нашего душевнаго, особеннаго, такого, что остается нашимъ душевнымъ, особеннымъ послѣ всѣхъ столкновеній съ чужимъ, съ другими мірами. Пушкинъ—пока единственный полный очеркъ нашей народной личности, самородокъ, принимавшій въ себя, при всевозможныхъ столкновеніяхъ съ другими особенностями и организмами,—все то, что принять слѣдуетъ, отбрасывавшій все, что отбросить слѣдуетъ, полный и цѣльный, но еще не красками, а только контурами набросанный образъ на-

шей народной сущности, образъ, который мы еще долго будемъ оттѣнять красками. Сфера душевныхъ сочувствій Пушкина не исключаетъ ничего до него бывшаго и ничего, что послѣ него было и будетъ правильнаго и органически нашего".

"Въ великой натуръ Пушкина, ничего не исключающей: ни тревожно-романическаго начала, ни юмора здраваго разсудка, ни страстности, ни съверной рефлексіи,—въ натуръ на все отозвавшейся, но отозвавшейся въ мъру русской души—заключается оправданіе и примиреніе для всъхъ нашихъ теперешнихъ, повидимому столь враждебно раздвоившихся сочувстій". (Сочин. Ап. Григорьева, т. І, стр. 238, 239. Статья 1859 года).

Если становиться на такія и подобныя точки зрѣнія, то мы увидимъ, что намъ предстоить еще огромный трудъ въ изученіи и пониманіи Пушкина. Въ своихъ Заминках, я нёсколько останавливаюсь только на одной чертв внутренняго міра Пушкина, на чувствв страданія, упускаемомъ изъ виду, можетъ быть, чаще, чёмъ многое другое. Выраженіе страданія у нашего великаго поэта казалось мнв всегда необыкновенно трогательнымъ; оно такъ сдержанно, просто, но вмѣстѣ такъ глубоко и искренно, что часто дъйствуеть гораздо сильнье, чъмъ самыя напряженныя и пространныя изліянія отчаянія и печали. Вы чувствуете передъ собою человъка полнаго неистощимой жизни и бодрости, который однако горько жалуется, или горько кается; но онъ вовсе не думаеть ни любоваться порывами своей тоски, ни потъшать себя злобою на другихъ и проклятіями.

Затемъ, почти все остальное въ моихъ Замънкахъ

относится къ языку, стиху, теченію рѣчи, тону, формѣ произведеній, словомъ къ тому, что можетъ быть названо техникой искусства, его внъщними пріемами. У Пушкина совершенство этихъ пріемовъ изумительное, и, конечно, тотъ, кто не умъетъ цънить его съ этой стороны, никогда не можеть понять всего его величія и красоты. Въ самомъ дёлё, въ словесномъ художестве, точно такъ какъ и во всякомъ другомъ, вся сила заключается только въ воплощении, то есть въ томъ, что мысль и чувство достигають конкретнаго, индивидуальнаго выраженія. Подъ именемъ поэзін не слѣдуеть понимать какихъ нибудь мечтаній, смутныхъ порываній, чувствъ и мыслей, уносящихъ насъ отъ всего дъйствительнаго; напротивъ, поэзія есть искусство воплощать, дълать опредъленнымъ, превращать въ живое и понятное, высказывать точными словами все самое неуловимое и недостижимое, что бываеть въ душѣ человѣческой. Только эта чудесная власть поэтовъ надъ всякими мечтами даетъ имъ право быть мечтателями. Воплощенная мысль, въ истинномъ смыслѣ этого слова, всегда неотразима, потому что это непремѣнно будеть живая мысль, не пустая игра словъ, или пустой миражъ образовъ.

И такъ, тутъ форма неразрывна съ содержаніемъ, и очень неправильно судять тѣ, кто не понимаеть этой неразрывности. Въ настоящее время, въ отношеніи къ формѣ поэтическихъ произведеній, у насъ большой упадокъ вкуса. Обыкновенно хватаются прямо за содержаніе и даже заявляютъ, что форма дѣло второстепенное, не важное. Но это значитъ только—подъ содержаніемъ разумѣть вовсе не истинно поэтическое содержаніе, а

что-нибудь другое; ну, тогда, конечно, можно довольствоваться и не поэтическою формою. Оть этого и выходить, что иные стихи имьють тьмь большій успьхь, чьмь вь нихь меньше поэзіи.

Мнѣ казалось, поэтому, что изученіе формы, на которое направлены мои Заминки, есть большая потребность въ настоящее время. Послѣ несравненныхъ образцовь, данныхъ Пушкинымъ и такъ долго дѣйствительно бывшихъ для всѣхъ образцами, мы, черезъ пятьдесятъ лѣтъ послѣ его смерти, находимся среди ужасной распущенности, которая губительно дѣйствуетъ на таланты и породила цѣлый потокъ плохихъ стиховъ.

Какъ это случилось, я пытался разсказать въ мнѣніи, представленномъ въ Академію Наукъ при соисканіи Пушкинской преміи въ нынѣшнемъ году; повторю здѣсь свои слова.

Вспоминая послѣднія тридцать лѣть, нельзя не подивиться странной судьбѣ стиховъ въ нашей литературѣ. Николаевское время, именно сороковые годы и начало пятидесятыхъ, дало намъ нѣсколько поэтовъ, составляющихъ дѣйствительное украшеніе нашей литературы. Изъ нихъ особенно извѣстенъ знаменитый тріумвиратъ Майкова, Полонскаго и Фета, къ нашей радости здравствующихъ и пишущихъ до сихъ поръ. Объ этихъ поэтахъ и о судьбахъ ихъ поэтіи мы говорить не будемъ; мы хотимъ говорить о новыхъ явленіяхъ въ области поэтіи за эти послѣднія тридцать лѣтъ. Съ 1856 года, когда литература вдругъ необыкновенно расширилась и оживилась, появились, конечно, и новые стихотворцы. Но они неожиданно и незаслуженно потериѣли очень

горькую участь во время этой такъ называемой зари обновленія. Тогда въ литературѣ получило силу и съ каждымъ годомъ разрасталось гражданское направленіе, то есть стремленіе возбудить общественную діятельность въ Россіи. Внутренняя политика поставлена была главною задачею литературы, и передъ этою задачею должны были отступить на задній планъ всѣ другіе интересы. Явилась обличительная литература, и вообще пропов'єдывалась теорія, что всякое искусство и писательство, всякая наука и умственная діятельность должимъть въ виду прямую пользу для общества, а отвлеченный интересъ самаго искусства и науки. Въ силу этого, всъ тогдашнія свътила литературы стали подвергаться нападеніямъ; журналистика старалась уронить ихъ авторитетъ въ глазахъ публики и показать ей, что есть заслуги гораздо важнье, чымь писаніе художественныхъ произведеній и что чтеніе такихъ произведеній есть только, пустая забава. Стихотворная поэзія была въ особенномъ загонъ. Стиховъ печаталось много, но это были или какія-нибудь обличенія и воззванія, такъ называемые гражданскіе мотивы, или-же шутки, пародіи, сатирическія п'єсенки, которыя появились въ огромномъ количествъ. Настоящая поэзія, можно сказать, едва влачила свое существованіе. Но всего хуже пришлось поэтамъ, которые только что выступили и явились въ печати съ первенцами своей музы. Нѣкоторыхъ изъ нихъ вывель передъ читателями самъ Н. А. Некрасовъ, человъкъ съ большимъ вкусомъ и съ искреннею любовью къ литературъ. Но и такое покровительство имъ не помогло. Вновь выступившіе поэты встрѣчены были цѣлою бурею насмѣшекъ и издѣвательствъ. Въ журналахъ поднялась на нихъ истинная травля, въ которой особенно выдавался В. С. Курочкинъ, человѣкъ не безъ дарованія, хорошо владѣвшій стихомъ, но не имѣвшій настоящаго вкуса. Молодые люди, встрѣченные этимъ ужаснымъ гамомъ при выступленіи на поэтическое поприще, были сильно поражены. Дѣло дошло до того, что нѣкоторые изъ нихъ, чуть-ли не самые даровитые, перестали вовсе писать и печатать, отдались другимъ занятіямъ, и только черезъ изтнадцать или двадцать лѣтъ рѣшились робко вновь явиться передъ читателями. Нужно вспомнить, что значатъ для юноши его стихи, какимъ напряженіемъ и волненіемъ сопровождается его восторгъ и творчество, и мы поймемъ, что для иныхъ тутъ произошло настоящее несчастіе, переворотъ цѣлой жизни.

Событіе, о которомъ мы разсказываемъ, совершилось около 1860 г. Съ тѣхъ поръ, великая строгость относительно стиховъ была, такъ сказать, объявлена въ приказѣ по русской словесности. Новыхъ стихотворцевъ не появлялось, или-же они не смѣли заявлять своихъ думъ и чувствъ, а должны были ограничиваться самыми казенными гражданскими темами, или-же шуточными стишками, такъ что никто не замѣчалъ новыхъ именъ, сто явшихъ подъ стихами, да и вообще, читатели почти не обращали вниманія на стихотворенія, помѣщавшіяся по старой привычкѣ въ журналахъ. И въ такомъ положеніи дѣло было почти двадиамъ люмъ.

Можно-бы думать, что такая строгость составляеть шагь къ лучшему. Вообще весь гамъ и шумъ той эпохи, когда отрицалась чистая эстетика и были гонимы писа-

тели, не служащіе изв'єстному направленію, можно-бы истолковать какъ настоятельное требование отъ литературы большей серіозности. Въ этомъ смыслъ, мы не можемъ считать безполезнымъ для литературы этотъ періодъ, который въ исторіи нашей словесности, кажется, придется назвать нигилистическимъ. Безъ сомнънія, нигилизмъ, въ общирномъ смыслѣ этого слова, имълъ большое вліяніе на писателей всевозможныхъ направленій: онъ ихъ возбуждалъ, заставлялъ углублять и расширять свои идеи и воплощать ихъ съ большею силою и строгостію. Но такое д'ы только на крыкихъ, а не на слабыхъ или еще неукръпившихся. Сильныхъ литературный нигилизмъ возбуждаль, а слабыхъ онъ подавляль, сбиваль совсемь съ пути, такъ что онъ быль вредень для большинства пишущихъ, а особенно для огромной массы читающихъ.

Вредныя послѣдствія теперь передъ нашими глазами, и ни въ чемъ другомъ они такъ не ясны, какъ въ нашей стихотворной поэзіи. Къ концу семидесятыхъ годовъ, въ эпоху турецкой войны, литературный терроръ уже совершенно затихъ, и стали чаще и свободнѣе появляться въ журналахъ стихотворенія подъ новыми именами, а потомъ показались и сборники этихъ стихотвореній, изданные особыми книжками. Это новое стихотворство стало рости чрезвычайно быстро. Лѣтъ шесть или семь тому назацъ оно все еще не бросалось сильно въ глаза; но теперь новые поэты считаются едва-ли не сотнями, и мы имѣемъ до полусотни отдѣльныхъ сборниковъ, большею частію появившихся въ послѣдніе годы. Это уже не плеяда, а цѣлая туманность, состоящая изъ

звѣздъ неразличимыхъ простымъ глазомъ. Въ этомъ множествѣ нашлось нѣсколько книгъ, имѣвшихъ успѣхъ, раскупленныхъ и вновь изданныхъ, даже иногда нѣсколько разъ. Новые поэты читаются, возбуждаютъ восторги; ихъ стихотворенія затверживаются читателями наизусть, а сами они ревниво слѣдятъ другъ за другомъ, обсуживаютъ и пересуживаютъ чужіе успѣхи. Словомъ—все идетъ обыкновеннымъ порядкомъ, и намъ, повидимому, слѣдовало-бы поздравлять себя съ быстрымъ и неожиданнымъ процвѣтаніемъ стихотворства.

Между тымь, если мы станемъ судить по существу, а не по одной видимости, то окажется, что передъ нами тякое-же плачевное явленіе, какъ и прежній двадцатильтий застой въ поэзіи. Оказывается, вообще говоря, что уровень новыхъ поэтовъ очень низокъ, и что они обязаны своимъ успѣхомъ только столь-же низкому, или еще болѣе низкому уровню читающей публики, которая очень возрасла въ числѣ, но очень упала въ своихъ требованіяхъ. Какъ будто порвалась нить преданія, какъ будто и писатели и читатели уже забыли, что такое хорошіе стихи, а потому довольствуются такими слабыми произведеніями, съ какими прежде авторъ не смѣль-бы явиться въ печать, и какіе прежде читатель забраковалъбы съ первыхъ-же строкъ.

Правильно судить о словесномъ художествѣ есть дѣло трудное; многимъ и многимъ вовсе недостаетъ способностей, которыя для этого требуются. Но это не значить еще, что область поэзіи есть нѣчто неопредѣленное, что въ сужденіяхъ объ ней простительна всякая произвольность и разнорѣчивость. Существуетъ граница, отдѣ-

ляющая истинное творчество отъ всякихъ его подобій, отъ безчисленныхъ искаженій и поддѣлокъ; болѣе или менѣе ясное различеніе этой границы—вотъ чего можно желать и требовать отъ критиковъ и читателей художественныхъ произведеній. Приступая ко всякому произведенію, являющемуся подъ именемъ творческаго, мы обыкновенно прежде всего стараемся рѣшить, дѣйствительно-ли оно принадлежитъ къ художественной области, и уже потомъ отдаемся его внимательному разсмотрѣнію.

Относительно стиховъ, граница, о которой мы говоримъ, имѣетъ большую опредѣленность и ясность. Стихотворецъ, обладающій дѣйствительнымъ дарованіемъ, всегда имѣетъ, во первыхъ, совершенно ясную стихотворную мъвучестъ рѣчи, во вторыхъ въ самой этой иѣвучести замѣтное своеобразіе, т. е. свой стихотворный слогъ и свой стихотворный языкъ. Для стиховъ вовсе недостаточно какихъ нибудь поэтическихъ мыслей и образовъ, а непремѣнно нуженъ этотъ особый даръ рѣчи; иначе, настоящихъ стиховъ никакъ не выйдетъ, и лучше тогда писать прозой. Вотъ почему, и даровитаго и бездарнаго стихотворца можно узнать часто съ двухъ-трехъ стиховъ.

Это—неизмънное, первое условіе. Затьмъ, для созданія хорошихъ стихотворныхъ произведеній, конечно, требуется еще и умъ, и чувство, и вкусъ; требуется и образованіе, и ширина взгляда, и даже забота о точности и правильности самого языка. Словомъ, особый даръ ръчи долженъ быть тщательно воздъланъ и въ эту форму облечено настоящее содержаніе. Но все таки даръ формы—соnditio sine qua non.

Въ настоящее время, можно сказать, этого не пони-

маютъ ни стихотворцы, ни читатели. Охотники писать стихи обыкновенно думають, что вся сила въ риемахъ, въ соблюденіи правиль стихосложенія и въ гладкости рѣчи; между тѣмъ, при всемъ этомъ, стихи ихъ остаются только рубленою прозою, то есть лишены всякой пѣвучести. Если же авторъ и придастъ имъ пѣвучесть, то она у него совершенно земная; онъ поддѣлывается подъ мелодію, которую почувствовалъ въ чужихъ стихахъ. Чуткое ухо сейчасъ слышитъ эту чужую форму, лишенную своей настоящей жизненности и только наложенную на содержаніе, а не сливающуюся съ нимъ во едино.

Такимъ образомъ, для настоящаго любителя поэзіи, нынѣшнее стихотворное наводненіе, почти безъ исключеній, составляетъ только предметь огорченія и досады. Если кой у кого изъ новыхъ стихотворцевъ и обнаружился даръ истинной стихотворной рѣчи, то, подъ вліяніемъ современной распущенности, они топятъ свой прекрасный даръ, мало обдумывая и обработывая свои стихотворенія. Огромное же большинство пишетъ только размѣренныя строчки, а не настоящія стихотворенія. Исключеніе составляютъ два-три имени, которыхъ не называю, такъ какъ нужно было-бы не оставить ихъ безъ всякой характеристики, указать разную степень похваль и упрековъ, которыхъ они заслуживаютъ.

Таланты у насъ есть, какъ есть они у насъ и для всякихъ другихъ областей; но у насъ нѣтъ *школы*, которая давала-бы талантамъ выдержку, пріучала-бы ихъ къ строгимъ требованіямъ, и нѣтъ асмосферы людей со вкусомъ и вниманіемъ, которая поддерживала-бы всякій талантъ, когда онъ движется по настоящему пути.

Покойный И. С. Аксаковъ въ 1877 году писалъ въ одномъ частномъ письмѣ:

"Не смотря на разныя предложенія и совъты, я не соглашаюсь и не соглашусь издать свои стихотворенія особой книжкой".

"Я ни теперь, ни прежде не обманываль себя насчеть ихъ достоинства. Въ нихъ нѣть никакой художественности и, съ точки зрѣнія артистической,—всѣ эти сотни стиховъ я бы самъ охотно отдалъ не только за одинъ стихъ Өедора Ивановича (Тютчева), но даже за иной стихъ Полонскаго. Но мнѣ кажется, что они не лишены искренности, лирическаго жара, силы и какогото историческаго raison d'être". (Ив. Серг. Аксаковъ въ его письмахъ. Т. І. стр. 6, 7).

Такъ върно и строго судилъ о своихъ произведеніяхъ человъкъ, у котораго есть однако нъсколько стихотвореній превосходныхъ не только по мысли и силъ лиризма, но и по совершенству стиха и языка. Еслибы нынъшніе новые стихотворцы приложили къ себъ хотя отчасти подобныя требованія ума и вкуса, то, конечно, почти всъ они увидъли бы, что имъ никакъ не слъдуетъ выпускать сборниковъ своихъ стихотвореній.

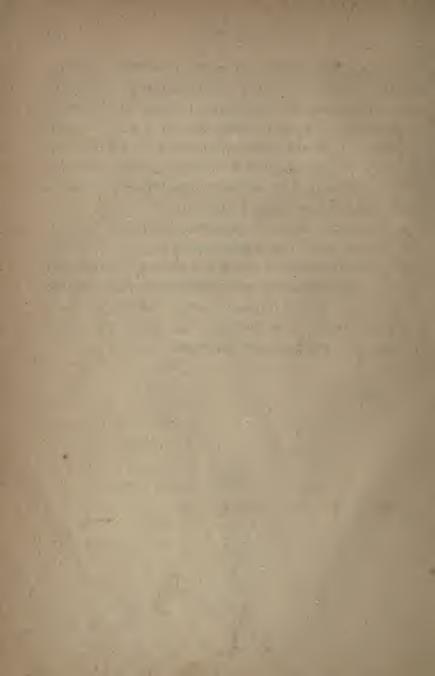
Въ заключеніе, миѣ слѣдуеть просить у читателей извиненія за недостатки, которые они найдуть въ этой книгѣ. Нѣкоторыя статьи, очевидно, захватывають слишкомъ мало въ томъ предметѣ, о которомъ говорятъ; другія имѣютъ слишкомъ крикливый тонъ, отзывающійся дурными привычками журналистики. Особенно миѣ жаль, что не довелось исполнить своего давнишнаго намѣренія,—поговорить серіознѣе объ Некрасовѣ, поэтѣ съ

огромными недостатками, но и съ огромными достоинствами. Его чрезвычайная оригинальность обнаруживается не только въ особомъ языкѣ и стихѣ, часто притомъ достигающемъ высшаго мастерства, но и въ его пародическихъ и ироническихъ пріемахъ, и въ той близости его темъ къ дѣйствительной жизни, которая доводила его иногда до прозы и водевильности. Онъ заслуживаетъ очень большаго вниманія и изученія.

Каковы бы ни были, впрочемъ, недочеты и промахи этой книги, могу одно сказать въ ея защиту: вездѣ въ ней берутся одинаковыя мѣрки для оцѣнки и заявляются одни и тѣже требованія отъ поэтическихъ произведеній; не новость, а скорѣе забытость этихъ мѣрокъ и требованій позволяетъ мнѣ надѣяться на нѣкоторую благосклонность и снисхожденіе читателей.

1 ноября.





ПУШКИНЪ.

I.

НВсколько запоздалых словь.

(Отеч. Записки. 1866, ЯНВ.)

И сердцу вновь наносить хладный свёть Неотразимыя обиды.

Недавно въ "Русскомъ Словъ" нашъ великій поэтъ Пушкинъ былъ осыпанъ всякаго рода бранью. Этотъ скандалъ, который старались совершить съ возможно большимъ трескомъ, обратилъ однако-же на себя очень мало вниманія; но и этого малаго вниманія онъ едва-ли, кажется, заслуживалъ. Въ самомъ дѣлѣ, кому, хотя мало свѣдущему въ нашей журналистикѣ, могли показаться удивительными подобныя сужденія со стороны "Русскаго Слова"? И далѣе—кто, даже одаренный проницательнымъ умомъ, можетъ найти въ этихъ сужденіяхъ чтонибудь новое и достойное размышленія?

Наша духовная жизнь—еще хаосъ; наше умственное развитіе—сумятица; нъть еще никакихъ кръпкихъ основъ и точекъ опоры для русскихъ умовъ; они еще бродять въ потьмахъ и носятся по всъмъ вътрамъ; они

не умѣють ни правильно понимать, ни вѣрно слышать и видѣть; что же мудренаго, что нашлись такіе, для которыхъ и Пушкинъ не достаточно громокъ и свѣтелъ?

Нашлись люди, глазамъ которыхъ это прекрасное свътило представилось въ видъ темнаго пятна; вотъ образчикъ того положенія, въ которомъ находятся всѣ наши свътила, большія и малыя, всѣ крѣпкія основы и точки опоры, какія у насъ есть. Эти основы пожалуй и крѣпки, да мало такихъ, которые на нихъ опираются; большинство или ихъ незнаетъ, или считаетъ ихъ хрупкими. Эти свътила пожалуй и свътятъ, да для большинства этотъ свътъ также незамътенъ, какъ свътъ солнца для слъпыхъ, а нѣкоторые даже считаютъ его тьмою. Вотъ откуда это блужданіе въ потьмахъ, "безъ кормила и весла".

Оставимъ-же этихъ блуждающихъ, какъ огромное отрицательное явленіе, гдѣ ничего нельзя найти, кромѣ отсутствія свѣта, и обратимся къ тѣмъ, для глазъ которыхъ сколько-нибудь ясенъ свѣтъ нашихъ родныхъ свѣтилъ, кто среди хаоса руководится этимъ свѣтомъ и нашелъ что-нибудь твердое, на что можно опереться.

Вънынѣшнемъ году (1865) праздновался у насъ большой праздникъ,—столѣтній юбилей памяти Ломоносова. Это быль праздникъ русской науки и русской литературы; вълицѣ Ломоносова воздавалась честь той наукѣ и той литературѣ, которыхъ онъ былъ представителемъ. Мы торжествовали одно изъ свѣтлыхъ явленій нашей духовной жизни.

Казалось-бы, при такомъ смыслѣ этого торжества, мысль невольно должна была обратиться ко всей нашей духовной жизни; казалось-бы, мы невольно должны были вспомнить и другихъ ея представителей. Торже-

ственно произнося имя Ломоносова, мы должны-бы, повидимому, почувствовать у себя на губахъ другія имена, достойныя стать рядомъ, равно дорогія и славныя. О комъ-же намъ напомнило великое имя Ломоносова? Чье имя было произнесено?

Ничье. Восторгъ, возбужденный памятью Ломоносова, не вызвалъ восторга ни къ какой другой памяти; не нашлось ни одного свѣтила, которое-бы по яркости мэгло поравняться съ этимъ свѣтиломъ.

Между тъмъ, такое имя есть, и одно только есть такое имя. Есть свътило, которое у насъ не уступаетъ никакому другому свътилу, но, по общей участи русскихъ свътилъ, все еще остается блъднымъ и малымъ для многихъ глазъ. Это имя и это свътило—Пушкинъ.

Говоря о русской литературъ, нельзя не говорить о Пушкинъ. Поэтому и странно и жаль, что на первомъ торжествъ, гдъ чествовались подвиги русской мысли, имя его было забыто.

Этого мало. Вскорѣ послѣ торжества, въ "Днѣ" (№ 15) явилась статья, объясняющая смыслъ этого торжества и объясняющая его такъ, что какъ разъ имя Пушкина и было-бы лишнее на этомъ праздникѣ, что память о Пушкинѣ чуть-ли не была-бы противорѣчіемъ духу всего торжества.

Имя Пушкина въ статъв не упоминается. Но статъя старается объяснить, почему именно Ломоносовъ обладаетъ у насъ исключительнымъ величіемъ, съ которымъ никто другой не можетъ равняться. Статъя указываетъ на происхожденіе Ломоносова изъ простаго народа; вотъ, по ея мивнію, причина, почему онъ обнаружилъ такую цъльную, здоровую, громадную силу духа. Западное просвъщеніе здъсь упало своимъ зерномъ еще на добрую

неиспорченную почву. Зараза еще только начиналась. Но потомъ она приняла злокачественный характеръ, она отрывала людей отъ источника силъ, отъ духа родной земли. Вотъ отчего весь остальной періодъ нашей умственной и литературной жизни уже не могъ произвести ничего равнаго Ломоносову. Единственное сколько-нибудь здоровое явленіе еще составляютъ славянофилы—какъ отвлеченные мыслители, уразумѣвшіе этотъ корень общаго безсилія.

Таковъ очеркъ всего нашего умственнаго развитія по теоріи статьи. Въ эту теорію ни коимъ образомъ не вмѣщается Пушкинъ, который и не былъ простолюдиномъ, и не сталъ мыслителемъ. Его не приходится слѣдовательно считать чѣмъ-нибудь важнымъ въ нашемъ бѣдномъ развитіи.

Никому впрочемъ не тайна холодность нашихъ славянофиловъ къ нашему Пушкину. Она заявляется издавна и постоянно. Это печальный фактъ, который еще и еще разъ свидътельствуетъ о безмърной путаницъ нашей жизни. Люди, даже всего глубже понимающіе эту жизнь, все еще недостаточно согръты ея живымъ скрытымъ тепломъ, такъ что имъ бываютъ чужды самыя горячо бьющіяся кровью ея явленія. Дорожа пониманіемъ основныхъ чертъ ея духа, они равнодушно, безъ боли отбрасываютъ родное явленіе, мъщающее этому пониманію, разрушающее, какъ ръзкое исключеніе, ихъ свято уважаемую теорію.

Пушкинъ быль поэть, поэть въ самомъ высокомъ значени, какое можеть имѣть это слово. Воть та точка зрѣнія, съ которой одной можно понять его, и съ которой, какъ мнѣ кажется, объясняются всѣ эти обиды, которыхъ онъ столько перенесъ при жизни, и которыя, какъ

мы видимъ, преслѣдують его и по смерти,—и такъ давно уже преслѣдують!

Въ томъ, что славянофилы отрицаютъ Пушкина, есть можетъ быть какое-то указаніе на сущность дѣла, невольное проникновеніе въ истину. Если-бы кто-нибудь сказаль, что Пушкинъ есть явленіе странное, неожиданное, необъяснимое, что онъ явился не къ мѣсту, не во время, что его поэтическая натура была вовсе не кстати вь эпоху, когда онъ жилъ, и среди людей, которые его окружали, то съ такимъ отрицаніемъ Пушкина можетъ быть отчасти можно-бы было согласиться. Развѣ не видимъ мы, въ самомъ дѣлѣ, страннаго явленія, что неполный поэть, Гоголь, былъ признанъ славянофилами за русскаго художника, тогда какъ Пушкинъ, поэтъ полный, подвергся съ ихъ стороны сомнѣнію? Очевидно что-то мѣшаеть намъ нонимать настоящую поэзію, и намъ понятнѣе то, что не восходитъ до ея эвирной высоты.

Таинственный пѣвець, какъ называетъ очевидно самого себя Пушкинъ въ стихотвореніи "Аріонъ", очень живо чувствовалъ свою загадочную судьбу; въ своихъ произведеніяхъ онъ оставилъ намъ множество указаній, изъ которыхъ видно, какъ тяжела была эта судьба. Вотъ гдѣ можно искать самаго лучшаго поясненія нашихъ разнорѣчивыхъ и холодныхъ отношеній къ Пушкину.

Начиная съ 1826 года, у Пушкина является цёлый рядъ произведеній, тема которыхъ—значеніе поэта, его достоинство, его отношеніе къ окружающей жизни. Вотъ главнъйшія изъ этихъ произведеній: Пророкъ, Поэть, Чернь, Поэту, Аріонъ, Эхо, "Не дорого цьню я громкія права", Памятникъ. Далье, нъкоторые стихотворные отрывки, принадлежащіе къ послъднимъ годамъ Пушкина, и изъ прозаическихъ статей: Египетскія Ночи,

и два удивительных наброска, которые служили приготовленіем в къ "Ночамъ": "Мы проводили вечеръ на дачъ" и "Цесарь путешествовалъ".

Этотъ рядъ начинается великольпными стихотвореніями "Пророкъ" (1826) и "Поэтъ" (1827). Пушкинъ торжественными, величественными чертами рисуетъ поэтическую силу, которую онъ съ такой полнотой чувствоваль въ своей груди. Поэть—это преображенный человъкъ, пророкъ, которому серафимъ вложилъ жало змъи вмъсто языка и угль, пылающій огнемъ, вмъсто сердца. Душа поэта слышитъ божественные глаголы, отъ которыхъ она вдругъ

встрепенется, Какъ пробудившійся орель.

Пушкинъ очевидно дожилъ въ это время до полнаго сознанія своего поэтическаго призванія, онъ зналъ уже, что на его челѣ "вспыхнулъ огненный языкъ", что онъ, какъ говоритъ кривляющійся Гейне, "Божіею милостію—поэтъ".

Это сознаніе своего важнаго значенія не покидало Пушкина до конца; но странно! чѣмъ дальше мы идемъ въ его жизни, тѣмъ сильнѣе нападаетъ на него какоето безпокойство и смущеніе. Его окружаетъ какая-то загадка, которой онъ не можетъ понять, его что-то тревожить глубоко и болѣзненно. Отсюда рядъ его стихотвореній, которыя можно назвать неправильными, такъ какъ въ нихъ слышно нарушеніе яснаго теченія творческой силы, слышна тревога и дисгармонія, съ которою эта сила не совладала до конца.

Разсказываютъ, что въ послъдніе годы жизни Пушкина, то есть въ годы полнаго разцвъта его поэзіи и полнаго сознанія этого разцвъта, масса читателей все больше и больше къ нему охладъвала. И въ самомъ

дълъ, вскоръ послъ полнаго сознанія своего великаго значенія, у Пушкина начинаєть слышаться борьба между этимъ сознаніемъ и между холодностію, упреками и требованіями читателей. Изъ этой борьбы онъ не вышель до конца, и она безъ сомнѣнія играла большую роль въ той раздражительности и равнодушіи къ жизни, которыми была ускорена его безвременная смерть.

Сначала поэтъ очевидно старался уйти отъ борьбы въ высокомъріе и презрѣніе къ своимъ читателямъ. По его словамъ "небесъ избранникъ"

> Къ ногамъ народнаго кумира Не клонить *гордой* головы. (Поэтъ. 1827 г.)

Въ стихотвореніи "Чернь" (1828) поэть называеть себя "божественнымъ посланникомъ", "сыномъ неба", а этоть народъ, приступавшій къ нему съ своимъ "дерзкимъ ропотомъ",—"червемъ земли", "холодной и надменной" толпою, которая "безсмысленно внимаетъ" поэту.

Но такое равнодушное и гордое отношеніе къ читателямъ очевидно не было въ натурѣ Пушкина; съ нимъ не могла помириться та глубокая сердечная теплота, которою онъ весь проникнутъ. И въ самомъ дѣлѣ, въ музыкѣ его стиховъ скоро послышались звуки боли и печали, и чѣмъ дальше, тѣмъ грустнѣе и грустнѣе становятся эти звуки. Стоитъ сравнить сонетъ "Поэту" (1830) съ "Памятникомъ" (1834), чтобы убѣдиться, какъ гордому поэту все тяжелѣе и тяжелѣе было нести свой поэтическій кресть.

Сначала поэть все еще хочеть казаться гордымъ и презирающимъ; но уже видно, что онъ старается въ чемъ-то утѣшить себя, устранить отъ себя какія-то, несбывшіяся желанія.

Поэтъ, не дорожи любовію народной!

Такъ начинается сонеть. Этотъ совъть, обращенный къ самому себъ, показываетъ только, какія желанія жили въ душъ поэта. Имъ очевидно обладало высокое честолюбіе—ему хотълось любви народной! Но, чувствуя вокругъ себя холодъ и равнодушіе и однако-же твердо въря въ свое призваніе, онъ прибъгаетъ къ гордому совъту:

Поэтъ, не дорожи любовію народной!

Были однако-же минуты, когда онъ побъждалъ свое уныніе, когда онъ тверже върилъ въ себя, и тогда первою его мыслью была эта самая народная любовь. Такъ, когда онъ воображалъ свой "Памятникъ", онъ надъялся, что

Къ нему не заростеть народная тропа.

Здѣсь своею высшею наградой, своимъ лучшимъ утѣшен iемъ онъ считаетъ именно память и любовь народа:

Слухъ пройдеть обо мнв по всей Руси великой И назоветь меня всякъ сущій въ ней языкъ, И гордый внукъ Славянъ, и Финнъ, и нынв дикій Тунгузъ, и другъ степей Калмыкъ. И долго буду твмъ народу я любезенъ, Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ.

Но отчего-же прежде онъ недовъряль этой любви, почему совътоваль самъ себъ отказаться оть нея? Говорять, въ Москвъ въ это время начало распространяться нъмецкое ученіе о великомъ значеніи поэтовъ, и нъкоторые приписывають вліянію этого ученія тогдашнія высокомърныя стихотворенія Пушкина. Кажется, однако-же, они могуть быть вполнъ объяснены тымъ, что совершалось тогда съ самимъ Пушкинымъ. Прямо изъ своей собственной жизни онъ вынесъ горькую необходимость уединиться отъ народа, такъ или иначе

перенести его равнодушіе и остаться самимъ собою. Съ нимъ случилось то самое, что онъ вообще предвъщаеть поэту:

Восторженныхъ похвалъ пройдетъ минутный шумъ, Услышишь судъ глупца и смъхъ толны холодной. (Поэту).

И такъ вотъ причина: его судили глупцы, толпа отвъчала на его ръчи холоднымъ смъхомъ. Ничъмъ не могъ онъ побъдить холодности толпы, ничъмъ не могъ измънить мнънія глупцовъ. Поэтому и въ "Памятникъ" онъ гордо успокоиваеть себя:

И не оспаривай глупца.

Своихъ судей онъ называетъ глупцами, своихъ читателей вообще—холодною толною.—Но эти жесткія слова у него вырвались какъ будто невольно; онъ никакъ не могъ смотрѣть хладнокровно, равнодушно на "тупую чернь". Чувствуя въ душѣ гнѣвъ, или скорѣе горечь, онъ самъ старается успокоиться, онъ говорить себѣ:

Но ты останься твердъ, спокоенъ...

Вы думаете, это величавое спокойствіе, высоком'врное вознесеніе себя надъ другими? О, н'втъ!

Но ты останься твердь, спокоенъ и угрюмо!

Угрюмъ! При всѣхъ утѣщеніяхъ самому себѣ, онъ чувствуеть однако-же, что не можеть не быть угрюмымъ.

Ты царь: живи одинъ!

говорить онъ самь себѣ; а между тѣмъ, не смотря на то, что въ немъ такъ живо чувство своего царственнаго величія, онъ остается печальнымъ, угрюмымъ; ему тяжело жить одному, тяжело безъ сочувствія.

Какая грустная исторія! Прочтите эти стихи, вы не найдете въ нихъ ни одного намека на какія-нибудь личныя несчастія поэта, на его положеніє въ обществѣ просто какъ человѣка, на притъсненія или гоненія, которыя претерпълъ онъ; нътъ-здъсь выступаетъ только одно отношение между поэтомъ и его читателями, между писателемъ и публикою. Пушкинъ всею натурою своею быль поэть; что бы онь самъ ни говорилъ въ минуты печали, для поэта главное-сочувствие его произведеніямъ, или, говоря широкими словами самого Пушкина, народная любовь. И потому, не мудрено, что онъ во всемъ могь утъщиться своею поэзіею, но что ничто не могло его утъшить въ невниманіи и холодности къ его поэзіи. Это было его главнымъ несчастіемъ, глубочайшею язвою его жизни. Тоскуя и печалясь, онъ предавался даже религіознымъ помышленіямъ, онъ старался найти нъкоторое успокоение въ той мысли, что въроятно такова воля Всевышняго, чтобы онъ страдалъ въ своемъ высокомъ призваніи.

Велѣнью Божію, о муза, будь послушна, Обиды не страшись, не требуй и вѣнца.

Не смотря на все величавое спокойствіе этихъ стиховъ, нельзя не чувствовать всей горечи, которая вызвала ихъ. Судъ глупцовъ и смихъ толны холдной, о которыхъ такъ презрительно прежде говорилъ поэтъ, онъ называетъ здѣсь обидою, и безъ сомнѣнія были минуты, когда онъ обижался этою обидою. Не бойся, говоритъ онъ своей музѣ, какъ будто ободряя ее на битву, какъ будто уже несправедливо то, что онъ сказалъ о себѣ:

не для битвъ, Мы рождены для вдохновенья, Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Не требуй и вънца!—Не требуй вѣнца, хотя вѣнецъ заслуженъ, хотя онъ принадлежитъ поэту по всѣмъ правамъ. И до сихъ поръ нѣтъ тебѣ вѣнца, Пушкинъ!

Вообще нельзя не замѣтить, что, хотя въ "Памятникъ" поэтъ ближе къ спокойствію, но страданія, отъ которыхъ поэтъ хочеть уйти въ свое величіе, указываются болѣе рѣзкими и мрачными чертами. Стараясь сохранить передъ обидой равнодушіе, поэтъ говорить себѣ:

Обиды не страшись, не требуй и вѣнца, Хвалу и клевету пріемли равнодушно...

Клевету!—это уже не судъ глупцовъ, не смъхъ толпы холодной, а что-то гораздо хуже. Это уже не прежнія жалобы поэта на то, что толпа бранить его трудь

И плюеть на алтарь, гдѣ твой огонь горить И въ дѣтской рѣзвости колеблеть твой треножникъ.

Клевета уже не дътская ръзвость, не холодность, не глупое сужденіе, а уже прямо дъйствіе злобы, умышленный вредь, проявленіе того недоброжелательства, которое замъчать вокругь себя Пушкинъ.

Къ печальному раздумью о своей судьбѣ принадлежать у Пушкина нѣкоторыя стихотворенія, которыхъ онъ не печаталь и которыя нашлись въ его бумагахъ. Тема ихъ та, что поэтъ какъ будто добровольно отказывается отъ славы, отъ всякаго значенія для толпы, отъ всякихъ ея требованій. Вотъ напримѣръ два такихъ отрывка:

1.

Исполненъ мыслями златыми, Непонимаемый никъмъ, Передъ кумирами земными Проходишь ты унылъ и нъмъ. Съ толпой не дълишь ты ни гнъва, Ни нуждъ, ни хохота, ни рева, Ни удивленъя, ни труда. Глупецъ кричитъ: куда, куда? Дорога здъсь! Но ты не слышишь, Идешь, куда тебя влекутт Мечтанья тайныя. Твой трудт Тебь награда—имъ ты дышишь, А плодъ его бросаешь ты Толпъ—рабынъ суеты...*)

2.

На это скажуть мнѣ съ улыбкою невѣрной:

— "Смотрите! Вы поэтъ; уклонкой лицемѣрной
Вы насъ морочите. Вамъ слава не нужна:
Смѣшной и суетной вамъ кажется она;
За чѣмъ-же пишете?"—Я? Для себя!—"За что-же
Печатаете вы?"—Для денегъ!—,.Ахъ, мой Боже!
Какъ стыдно!"—Почему-жъ?....

И такъ горькая мысль отказаться отъ славы, другими словами, отъ любви народной, не разъ приходила въ голову поэта. Эта награда ему казалась недоступною, потому онъ и пишеть: твой трудъ—тебп награда.

Все это раздумье наконецъ вылилось въ превосходномъ стихотвореніи, которое онъ въроятно хотълъ напечатать. Можно заключить это изъ надписи надъ нимъ: изъ Пиндемонте. Пушкинъ въ послъдніе годы часто прибъгалъ къ печальной уловкъ—ставить надъ своими произведеніями чужія имена,—такъ горька должно быть была слава, которую ему приносили произведенія, признаваемыя имъ за свои собственныя!—Въ этомъ стихотвореніи онъ мечтаеть о счастьи, котораго желалъ-бы для себя, и описываеть его такъ:

Никому Отчета не давать, себъ лишь самому

^{*)} Черновая строфа изъ "Родословной моего героя", слъдовательно писана въ 1833 г.

Служить и угождать; для власти, для ливрея, Не гнуть ни совъсти, ни помысловъ, ни шеи; По прихоти своей скитаться здъсь и тамъ, Дивись божественнымъ природы красотамъ, И предъ созданьями искусствъ и вдохновенья Безмолвно утопать въ восторгахъ умиленья—Вотъ счастье! вотъ права̀!.. (1836).

Что-же это значить? Пушкинь просто хочеть быть поэтомь, хочеть идти, куда его влекуть мечты невольныя, и не гнуть ни совъсти, ни помысловь, ни шеи. Но ему, какъ видно, мѣшають идти этимъ свободнымъ поэтическимъ путемъ. Толпа глупцовъ со всѣхъ сторонъ кричить: куда, куда? дорога здъсь!

Не мало можно было-бы найти еще другихъ доказательствъ этого страннаго и мучительнаго безпокойства. Одну изъ сторонъ этого безпокойства Пушкинъ таки одолъть и поэтически воплотиль ее въ своихъ "Египетскихъ ночахъ". Пушкинъ разбилъ самого себя на двъ фигуры, на Чарскаго и на импровизатора. Онъ совмѣщалъ въ себѣ обѣ эти натуры и въ лицѣ импровизатора изобразиль нъкоторыя изъ тъхъ страданій, которыя испытывала его поэтическая душа среди нашего общества. Какъ великій поэть, Пушкинъ былъ слишкомъ широкъ, чтобы подходить подъ границы извъстнаго приличія, или условной нравственности. Была минута, когда онъ создалъ такую изумительную вещь, какъ "Египетскія ночи". Но какъ выступить передъ публику съ такимъ безнравственнымъ, языческимъ произведеніемъ? Глупцы подняли-бы смъхъ невообразимый, и наставленіямъ не было-бы конца. И воть Пушкинь, чтобы растолковать толнъ свое произведение, старается вложить его въ уста нарочно для этого поясненія созданнаго

лица. Двѣ попытки такого рода: "Мы проводили вечеръ на дачѣ, и "Цесарь путешествовалъ" не удовлетворили поэта. Наконецъ третья—"Имировизаторъ" вполнѣ удалась и была кончена поэтомъ.

Импровизаторъ—конечно самъ Пушкинъ, одна частица его огромнаго таланта, которою онъ вздумалъ одарить бѣднаго итальянскаго ироѣзжаго. Разсказывая о немъ, онъ въ образахъ показалъ, какъ должна была страдать эта частица его души, какъ общество подавляло свободное развитіе этой частицы. Припомните смѣхъ мужчинъ и вообще всю маленькую исторію этой импровизаціи; наконецъ, это мѣсто:

"Импровизаторъ сошелъ съ подмостковъ, держа въ рукахъ урну, и спросилъ: кому угодно будетъ вынуть тему? Импровизаторъ обвелъ умоляющимъ взоромъ первые ряды стульевъ. Ни одна изъ блестящихъ дамъ, тутъ сидѣвшихъ, не тронулась. Импровизаторъ, не привыкшій къ съверному равнодушію, казалось страдалъ"...

Бѣдный Пушкинъ! Такъ и кажется, что онъ самъ все старался привыкнуть къ этому сѣверному равнодушію; и все никакъ не могъ къ нему привыкнуть, все страдалъ отъ него. Всѣ эти послѣдніе годы онъ старался себя успокоить, сдержать, затвориться въ своемъ внутреннемъ святилищѣ иоэта; но его теплой душѣ очевидно не было да и не могло быть примиренія и успокоенія. Холодъ царилъ вокругъ него, нашъ сѣверный русскій холодъ; нѣжная душа поэта была не по климату, она сжималась и дрожала.

Объ этомъ холодъ, который Пушкинъ чувствоваль вокругъ себя, есть у него другое указаніе, чрезвычайно драгоцънное. На этотъ разъ поэтъ является передъ нами не итальянцемъ, а испанцемъ, на что имъетъ большія

права, если судить по его произведеніямъ, изображающимъ Испанію, и вотъ какъ излагаетъ свои впечатлѣнія ("Гости съѣзжались на дачу", 1831):

- Вы такъ откровенны и снисходительны, сказалъ испаненъ, что осмѣлюсь просить васъ разрѣшить мнѣ одну задачу. Я шатался по всему свѣту, представлялся во всѣхъ европейскихъ дворахъ, вездѣ посѣщалъ высшее общество, но нигдѣ не чувствовалъ себя такъ связаннымъ, какъ въ проклятомъ вашемъ аристократическомъ кругу. Всякій разъ, когда я вхожу въ залу княгини В*—и вижу эти неподвижныя муміи, напоминающія мнѣ египетское кладбище, какой-то холодъ меня пронимаетъ. Межъ ними нѣтъ ни одной моральной власти, ни одно имя не натвержено мнѣ славою... Передъ кѣмъ-же я робѣю?
- Передъ *недоброжелательствомъ*, отвѣчать Русскій. Это черта нашихъ нравовъ. Въ народѣ выражается она насмѣшливостью, въ высшемъ кругу невниманіемъ и холодностью.

И такъ, холодъ и недоброжелательство, —вотъ что постоянно чувствовалъ вокругъ себя Пушкинъ; можно себѣ представить, какъ должна была страдать чуткая и нѣжная душа поэта. Не нужно при этомъ упускать изъ виду, что Пушкинъ представляетъ намъ одинъ изъ образцовъ полнаго душевнаго здоровъя. Малодушія въ немъ не было и тѣни; онъ не могъ предаваться сантиментальному унынію, не могъ падать духомъ и изливаться въ жалобахъ. Поэтому, проблески страданія, которыя мы у него видимъ, имѣютъ такой сдержанный характеръ и выразились какъ будто помимо его воли.

Со всёмъ мирился Пушкинъ; во что бы то ни стало онъ хотёлъ житъ, сохранять душевную бодрость и силу и пѣтъ свои "дивныя пѣсни". Ему ставятъ обыкновенно въ упрекъ, почему онъ не былъ дѣятелемъ протеста противъ современнаго ему порядка вещей, почему онъ уживался въ немъ. Но тутъ великая тайна. Онъ ужился

со своимъ временемъ только потому, что былъ великій поэтъ, что у него былъ алтарь, огонь котораго онъ долженъ былъ свято охранять.

Есть случаи, когда человѣкъ имѣетъ право служить только вѣчнымъ требованіямъ души. Такъ было при появленіи христіанства. Для спасенія себя, для того чтобы остаться человѣкомъ въ вычномъ смыслѣ этого слова, человѣкъ одаренъ страшною живучестію. Такъ, цвѣтокъ иногда выростаетъ въ трещинѣ скалы и, не смотря на зной и безплодіе окружающей его пустыни, блещетъ и благоухаетъ. Ужели кто-нибудь, вмѣсто того, чтобы любоваться имъ, станетъ укорять его за то, что онъ не чахнеть?

Пушкинъ и безъ того умеръ рано, умеръ жертвою своихъ отношеній къ окружавшимъ его людямъ; но онъ успѣлъ сохранить намъ въ себѣ великаго поэта. Въ этомъ обнаруживается такое обиліе жизни, такая твердость характера, такая вѣра въ себя и геніальная проницательность относительно своей судьбы, что невольно является мысль объ избранной натурѣ и высшемъ назначеніи.

Но холодъ, холодъ, на который жаловался Пушкинъ при жизни, окружаеть, какъ видно, до сихъ поръ его "дивныя пъсни". Мы все еще не сроднились съ нашимъ поэтомъ; все еще онъ какъ будто чужой между нами и терпить обиду непониманія.

26 ноября 1865.

and the state of t

Главное сокровище нашей литературы.

(Отеч. Зап. 1867, дек.).

Бѣдна наша литература, но у насъ есть Пушкинъ. Пока будеть существовать русскій народь и русскій языкъ, и даже болѣе—пока "живъ будеть хоть одинъ пінтъ", пока для людей будеть существовать поэзія, до тѣхъ поръ будутъ говорить о Пушкинѣ, до тѣхъ поръ люди будутъ погружаться въ созерцаніе этого удивительнаго свѣтила, услаждать и просвѣтлять свою душу его чистыми лучами, его безупречно яснымъ сіяніемъ.

Есть нѣчто безумное (скажемъ высокимъ слогомъ, чтобы не употреблять другихъ словъ, можетъ быть болѣе точныхъ и справедливыхъ, но не гармонирующихъ съ важностію предмета, о которомъ мы заговороли), есть нѣчто поразительно-безумное во многихъ сужденіяхь и толкованіяхъ, которымъ подвергался Пушкинъ въ нашей—какъ бы сказать?—дъйствовавшей литературѣ, въ той части литературы, которая, исполнившись непобѣдимой вѣры въ свои силы и свое призваніе, принялась все рѣшать вновь, взяла на себя установить надлежащій взглядъ на всѣ вещи въ мірѣ, а между прочимъ и на русскую литературу. Не всегда слѣдуетъ быть строгимъ къ сужденіямъ людей; мы даже впадемъ въ смѣш-

ное, если слишкомъ усердно будемъ гоняться за несостоятельностію этихъ сужденій. Гораздо полезнѣе и правильнѣе искать въ каждомъ сужденіи истинныхъ его поводовъ, и слѣдовательно, правдивой его стороны. Человѣкъ даже мало развитый и проницательный, если судитъ искренно и добросовѣстно, все-таки касается какойнибудь дѣйствительной черты обсуждаемаго предмета, такъ что, при надлежащемъ вниманіи, можно дать его сужденію совершенно здравое истолкованіе. Но, разбирая сужденія о Пушкинѣ, о которыхъ мы завели рѣчь, почти нѣтъ возможности стать даже и на такую точку зрѣнія.

Прежде всего, здъсь васъ поражаетъ безмърная диспропорція между предметомъ этихъ сужденій и силами и пріемами судящихъ. Съ одной стороны вы видите явленіе громадное, глубокое, ширящееся въ безконечность, явленіе, въ которомъ отзывается въчная красота души человъческой, воплощаются ея безпрестанныя стремленія; съ другой стороны вы видите людей съ микроскопически-узкими и слъпыми взглядами, съ невъроятно короткими мърками и циркулями, предназначаемыми для измъренія и оцънки великаго явленія. Эти люди очевидно лишены всякихъ средствъ справиться съ задачею, которую они себъ предлагаютъ. И вотъ почему ихъ усилія, дерзкія, самодовольныя, а въ дъйствительности невозможныя и нелъпыя, производять впечатлъніе безумія.

Въ нашъ много-умный вѣкъ непониманіе великаго часто также идеть за признакъ ума; между тѣмъ, въ сущности, не составляетъ-ли это непониманіе самаго разительнаго доказательства умственной слабости?

Изъ всёхъ явленій русской жизни, Пушкинъ всего настоятельные требуеть такого отношенія къ себѣ, ка-

кого требуеть вообще поэзія, искусство, красота, т. е. прежде всего—созерцанія. Полемизировать съ Пушкинымь, какъ это дѣлали нѣкоторые изъ нашихъ новѣйшихъ критиковъ—есть великая нелѣпость; больше, чѣмъ кого-нибудь, Пушкина слѣдуеть изучать, и тотъ отнесется къ нему всего правильнѣе, кто всѣхъ больше извлечеть исъ него поученія, кто всѣхъ больше найдетъ въ немъ откровеній, указаній на глубокій и сокровенный смыслъ явленій души человѣческой вообще и русской души въ особенности.

Такъ-какъ все у насъ забывается, все быстро изглаживается изъ памяти, такъ-какъ умы наши, слишкомъ подавленные многоразличными заботами, слишкомъ развлеченные постоянно надвигающимися, въ различныхъ видахъ и формахъ возобновляющимися задачами, рѣдко пользуются тѣмъ состояніемъ спокойствія, которое необходимо для остановки на прошломъ и правильной его оцѣнки, то мы считаемъ нелишнимъ указать здѣсь нѣкоторыя черты историческаго и вѣковѣчнаго значенія Пушкина.

Мы вообще мало въримъ въ себя и до сихъ поръ принуждены отдавать себъ отчетъ въ своихъ силахъ; даже столь яркое явленіе, какъ Пушкинъ, не составляетъ для насъ твердой точки опоры; такъ, сомнъваясь въ своемъ духовномъ значеніи для нашихъ братьевъ Славянъ *), мы сдълали предположеніе, что, можетъ быть, они превзойдуть насъ въ поэзіи, и что тогда, можетъ быть, "стихи Пушкина вмъстъ съ его прозой нами-же самими будуть отнесены въ разрядъ ученическихъ попытокъ, недостигшихъ умънья владъть вполнъ образованной ръчью! "

^{*)} Газета "Москва", 1867, № 97. Статья Н. Гилярова-Платонова.

Превзойти Пушкина! Отодвинуть его произведенія въ разрядъ ученическихъ попытокъ! Подобная въра въ быстроту и силу человъческаго прогресса, подобный нигилизмъ въ отношеніи къ драгоціннійшимъ произведеніямъ нашей литературы едва-ли однако-жъ многихъ поразить изумленіемь въ надлежащей степени. Такова у насъ слабость сознанія нашей духовной жизни, такова шаткость во взглядахъ на нее. Немногіе чувствують, а еще менье знають, что Пушкина отодвигать некуда, что зативвать его невозможно, что самыя эти выраженія, взятыя изъ ходячихъ формулъ прогресса, непристойны въ сужденіяхъ о предметахъ этого рода. Викторъ Гюго въ своей книгъ о Шекспиръ утверждаетъ, что великіе поэты должны быть признаваемы равными между собою. Хотя это все-таки формула, но она несравненно ближе къ истинъ, чъмъ размъщение поэтовь по нъкоторой лъстницъ превосходства и преемственной послъдовательности.

Но немногіе у насъ признають, что Пушкинь великій поэть, что для оцінки его необходимо подниматься на эти возвышенныя точки зрінія. Возьмемь сперва внішнюю сторону. Мы, повидимому, еще не считаемь свой литературный языкъ вполні готовымь орудіємь для воплощенія высокихь созданій духа. Если можно было сділать предположеніе, что стихи и проза Пушкина не достигають полнаго умінья владніть образованной рівчью, то, значить, подобнаго умінья вообще еще не достигла русская литература.

Эта мысль нетолько возможна, но многіе весьма искренно ее испов'єдують. Въ язык'т у насъ, по видимому, существуетъ значительная разноголосица, и разныя попытки обновить язык'т, внести въ него ту или другую струю, какъ будто доказывають, что нашь литературный языкъ еще не установился. Подобное мнѣніе намъ кажется весьма неправильнымъ. Ту свободу, которою пользуются наши писатели въ отношеніи къ языку и которая доказываеть полную зрѣлость этого языка, они все еще, по старой привычкѣ, принимають за признакъ несовершенства языка, за признакъ его неустановленности.

Приведемъ здѣсь слова одного изъ извѣстнѣйшихъ нашихъ филологовъ, весьма спредѣленно указывающія на состояніе нашего литературнаго языка и на значеніе Пушкина въ этомъ языкѣ. Вотъ что было сказано лѣтъ двѣнадцать назадъ:

"Въ поэтическомъ словъ Пушкина пришли къ окончательному равновъсію всъ стихіи русской ръчи".

"Изящество рѣчи Пушкина вышло не изъ хаоса. Хаосъ прекратился до него, и уже до него возникъ стройный и правильный порядокъ. Но въ дѣятельности нашего поэта окончилось развитіе этого порядка; въ ней, наконецъ, успокоился внутренній трудъ образованія языка; въ Пушкинѣ творческая мысль заключила рядъ своихъ завоеваній въ этой области, раздѣлалась съ нею и освободилась для новыхъ задачъ, для иной дѣятельности. Настоящій русскій языкъ есть уже языкъ совершенно создавшійся, принявшій всѣ впечатлѣнія образующей силы и дающій полную возможность для всякаго умственнаго развитія".

"Русскій языкъ, слава Богу! окончательно образовался и не нуждается ни въ какихъ блюстителяхъ. Писатели, которые въ настоящее время грѣшатъ противъ духа и законовъ языка, вредятъ только своей мысли; языку-же вредить отнюдь не могутъ и заботы о немъ совершенно излишни".

"Геніемъ Пушкина завершенъ рядъ славныхъ усилій, которыя дали русскому слову силу всемірную, силу служить прекраснымъ орудіемъ духу жизни и развитія".

"Первый и главный признакъ полнаго равновѣсія, въ какое поэзія Пушкина привела всѣ стихіи русской рѣчи, видимъ мы въ совершенной свободѣ ея движеній".

"У Пушкина впервые легко и непринужденно сошлись въ одну рѣчь и церковно-славянская форма, и народное реченіе, и реченіе этимологически чуждое, но усвоенное мыслью, какъ ея собственное, ни одному языку исключительно не принадлежащее и всѣми языками равно признанное выраженіе" ("Русск. Вѣстн.", 1856, кн. 2. Статья М. Н. Каткова).

Исторія нашей литературы послѣ Пушкина какъ нельзя лучше подтверждаеть эти положенія. Никакихъ существенныхъ перемънъ не произошло въ нашемъ языкъ; нельзя указать въ немъ никакого новаго періода, хотябы слабо отличающагося отъ предъидущаго. Послёдняя повъсть Тургенева писана вполнъ пушкинскимъ языкомъ; а всяческія отступленія и новаторства, нынче очень обыкновенныя въ литературѣ, суть очевидно только колебанія вь преділахь той-же міры, той-же основной гармоніи, которая найдена Пушкинымъ. Нынъ очень часто пишуть и переводять языкомъ, напоминающимъ до-карамзинское время; другіе, избѣгая этой мертвенной книжности, до того переполняють рѣчь изысканно русскими оборотами и словами, что ихъ читать невозможно (Кохановская, Бицынъ). И то и другое составляетъ умышленное или неумышленное нарушение надлежащей мъры нашего литературнаго языка, мёры не предполагаемой, не составляющей нікотораго достижимаго будущаго, а

уже существующей, уже указанной ясными чертами въ произведеніяхъ Пушкина.

Обратимся теперь къ внутреннему значенію Пушкина. Оно вполнѣ соотвѣтствуеть его значенію въ исторіи нашего языка. Мы приведемъ здѣсь свидѣтельство одного знаменитаго нѣмецкаго критика, Варнгагена фон-Энзе. Сужденія этого критика въ этомъ случаѣ тысячекратно основательнѣе, чѣмъ нашихъ отечественныхъ мыслителей (за исключеніемъ одного, о которомъ современемъ мы скажемъ подробно и ясно, какъ всегда слѣдуетъ говорить для нашихъ читателей)*). Но кромѣ того, сужденія этого нѣмца отличаются такой очевидной искренностію, такою полнотою глубокаго и самостоятельнаго убѣжденія, что болѣе всякихъ другихъ способны поразить разумѣющаго читателя.

Варнгагенъ фон-Энзе говорить, что въ Пушкинъ явилась на свътъ русская поэзія, которой до тъхъ поръ не существовало. "Мы можемъ видъть на себъ" — прибавляеть онъ — "какъ долго можетъ замедлиться развитіе этого цвътка, при роскошномъ процвътаніи другихъ сторонъ народной жизни: наша поэзія со вчерашняго дня; до Гете и Шиллера нъмцы не имъли поэта — выразителя ихъ совокупнаго образованія во всей его цълости".

Что для нъмцевъ Гете и Шиллеръ, то для насъ Пушкинъ; то-есть, во-первыхъ, онъ поэтъ въ высшемъ смыслъ слова; онъ, по выраженію Виктора Гюго, принадлежить къ сонму "равныхъ", а во-вторыхъ, по этому самому, онъ "поэтъ оригинальный, поэтъ самобытный". На этомъ второмъ положеніи критикъ останавливается

^{*)} Аполлона Григорьева.

съ особенной настойчивостію, какъ на весьма существенномъ, тѣмъ больше, что, по его словамъ, "русскіе сами, по скромности или осторожности, нерѣдко называютъ Пушкина подражателемъ", и онъ находитъ, что "они уже слишкомъ далеко простерли эту скромность, или эту осторожность".

Критикъ постарался вслѣдствіе этого характеризовать особенность пушкинской поэзіп, и воть эту-то характеристику, составляющую лучшее и центральное мѣсто статьи, мы и напомнимъ читателямъ. Сопоставляя Пушкина съ Байрономъ и Шиллеромъ, Варнгагенъ фон-Энзе говоритъ:

"Въ немъ та-же противоположность и раздоръ мечты сь дёйствительностію, та-же тоска, то-же полное сомньній уныніе, та-же печаль по утраченномъ и грусть по недостижимомъ счастін, та-же разорванность и величественная, великодушная преданность-всв эти качества, особенно преобладающія въ Байронъ. Но главное существенное свойство Пушкина, отличающее его отъ нихъ, состоить въ томъ, что онъ живымъ образомъ слиль всѣ исчисленныя нами качества съ ихъ рѣшительной противоположностію, именно-съ свівжею духовною гармонією, которая, какъ яркое сіяніе солнца, просвъчиваеть сквозь его поэзію и всегда, при самыхъ мрачныхъ ощущеніяхъ, при самомъ страшномъ отчаяніи, подаеть утвшеніе и надежду. Въ гармоніи, въ этомъ направленіи къ мощному и дъйствительному, укръпляющемъ сердце, вселяющемъ мужество въ духъ, мы можемъ сравнить его съ Гете. Истинная поэзія есть радость и утьшеніе, и для того, чтобы быть этимъ, она нисходить до всвхъ страданій и горестей. Укрѣпляющую, живительную сплу Пушкина испытаеть на себф всякій, кто будеть читать

его созданія. Его геній столь-же способень къ комическому и шутливому, сколько къ трагическому и патетическому; особенно-же склонень онь кь ироническому, которое часто переходить у него въ юморь, въ благороднивищемъ смысли этаго слова. Свътлая гармонія, бодрое мужество составляють основу его поэзіи, основу, по которой всв другія его свойства пробъгають, какъ твни, или лучше, какъ оттвнки. Его характеру вполню равновисно его выражение: везди быстрая краткость, везди свижій, совершенно-самостоятельный сосредоточенный образь, яркая молнія духа, рызкій оборотъ. Мало поэтовъ, которые были-бы такъ чужды, какъ Пущкинъ, всего пзысканнаго, растянутаго, всякаго соп атоге набираемаго хлама. Его естественность, довольствующаяся самымъ простымъ словомъ, быстро схватывающая каждый предметь, его могучее воображеніе, полное согръвающей теплоты и величія; его то кроткое, то горькое остроуміе—все соединяется для того, чтобы произвесть самое гармоническое, самое благотворное впечатлѣніе въ духъ безпрерывно-занятаго и безпрерывно-свободнаго, ни минуты не мучимаго читателя".*).

Воть страница, которая, можно предполагать, навсегда свяжеть имя нѣмецкаго критика съ именемъ нашего великаго поэта. Каждый, кто знакомъ съ Пушкинымъ, даже не глубоко, согласится, что черты этой пркой характеристики вполнѣ идутъ къ прекрасному образу пушкинской поэзіи. Замѣтимъ поразительное обстоятельство. Изъ словъ Варнгагена фон-Энзе ясно видно, что, и по духу и по формѣ, эта поэзія всего

^{*)} Отеч. Записки 1839 г. Статья М. Каткова: Отзыет иностранца о Пушкинь.

ближе подходить къ идеалу истинной поэзіи, что въ немъ самый чистый (наиболье гармоническій) духъ воплотился въ самой чистой формв. И таково дьйствительно значеніе Пушкина для всякаго, кто успьль понять и полюбить его. Какъ-бы ни были величавы и многозначительны произведенія другихъ поэтовъ, Пушкинъ для каждаго понимающаго есть поэть несравненный, такъ-сказать, самый поэтичный изъ поэтовъ.

Замътимъ еще также, что въ Пушкинъ, какъ въ величайшемъ представителъ нашей литературы, отразились всв черты, характеризующія нашу литературу. Способность Пушкина къ шутливому и ироническому, способность, очевидно, поразившая Варнгагена фон-Энзе въ такомъ возвышенномъ и нъжномъ поэтъ, есть общая особенность, общая сильная струна нашей литературы, столь нетериящей ничего прѣснаго, и столь любящей "лить слезы сквозь видимый міру смёхъ". Точно такъ быстрая краткость выраженія, свъжесть образовь, естественность, довольствующаяся самыми простыми словами, - вст эти качества до сихъ поръ составляють замътное и сознательно-цънимое достоинство нашихъ писателей. Даже самые маленькіе изъ нихъ не любять ничего изысканнаго, растянутаго, никакого con amore набираемаго хлама. Вследствие этого общаго свойства, наша литература вообще отличается малымъ объемомъ, быстрою краткостію своихъ произведеній и періодовъ. Содержаніе ея гораздо глубже и значительнье, чъмъ можно подумать, судя по ея малому объему, по ея скупости на форму, на выраженіе.

Но обратимся къ Пушкину. Ему не чуждо было сознаніе своего величія. Этому простому человѣку ("одному изъ простѣйшихъ, какіе были въ міръ", по замѣчанію

Аполлона Григорьева), добродушно признававшему себя орудіємъ какой-то высшей силы, должно быть иногда странно было чувствовать себя такъ высоко. По временамъ, однако-же, онъ ощущалъ въ себѣ такую могучую увѣренность, такъ свободно носились его крылья почистой эеирной области, которой онъ былъ жителемъ, что душа его наполнялась гордой радостію, и онъ невольно бросалъ съ своихъ высотъ на другіе умы взглядъ, такъ-сказать, играющій высокомѣріемъ.

Въ одно изъ такихъ временъ, добродушный Пушкинъ написалъ двѣ пародіи, именно "Лѣтопись села Горохина", пародію на "Исторію Государства Россійскаго" Карамзина, и такъ называемыя второе и третіе "Подражанія Данту", составляющія пародію на "Адъ Божественной Комедіи" Данта. Сколько помнится, никогда не было указано на такое значеніе этихъ произведеній; между тѣмъ оно несомнѣнно, и мы указываемъ на него, какъ на свидѣтельство тѣхъ проблесковъ сознанія своего величія, которые въ этомъ случаѣ, то-есть у Пушкина, доказывають самое величіе.

Но скажемъ прежде нъсколько словъ о томъ, что такое пародія. Читатели, привыкшіе къ современнымъ ходячимъ пародіямъ, пожалуй, видять въ нихъ что-то не совсѣмъ хорошее, и готовы будутъ найти, что мы не дѣлаемъ чести Пушкину, приписавъ ему охоту упражняться въ этомъ родѣ поэвіи. Пародія составляетъ нынче большею частію безтолковое глумленіе надъ пародируемымъ произведеніемъ, состоящее въ безцеремонномъ искаженіи его смысла, тона и духа. Это дѣло легкое и безплодное, въ которомъ талантъ замѣняется грязнымъвоображеніемъ, одѣвающимъ въ пошлость все, что ни видитъ передъ собою.

Не такова настоящая, поэтическая пародія. Она требуетъ глубокаго и строгаго проникновенія въ духъ и манеру писателя, который пародируется. Чѣмъ ближе пародія къ подлиннику, тѣмъ она выше. Во вторыхъ, такая пародія требуетъ полнаго и мѣткаго указанія тѣхъ противорѣчій, которыя пародируемый писатель представляетъ въ отношеніи къ дѣйствительности, или къ идеалу; слѣдовательно, такая пародія требуетъ яснаго пониманія этой дѣйствительности, этого идеала; она вызывается этимъ иониманіемъ и служитъ для его выраженія и проясненія. Такимъ образомъ, изъ-за настоящей пародіи долженъ выглядывать тотъ взглядъ на предметъ, то лучшее и высшее его пониманіе, противъ котораго фальшивитъ пародируемый авторъ.

Въ такомъ смыслѣ, какъ обличеніе фальши передъ истиною, пародія есть вполнѣ поэтическое дѣло, вызываемое дѣйствительною поэтическою потребностію и требующее высокаго таланта. И въ этомъ смыслѣ пародіи Пушкина есть произведенія удивительныя по глубинѣ и мастерству, лучівія пародіи, какія когда либо были писаны.

Сдълаемъ еще отступленіе. Пародіи Пушкина писаны въ 1830 году, въ самомъ плодотворномъ году его дъятельности. По мнѣнію П. В. Анненкова, впрочемъ, пародія на Данта писана нѣсколько позднѣе въ 1832 году. Но Пушкинъ до конца своей жизни никогда не думалъ печатать этихъ странныхъ произведеній, и они явплись только послѣ его смерти въ "Современникъ". Мы знаемъ, что въ послѣднее свое времи Пушкинъ вообще боялся публики, поэтому медлилъ печатаніемъ своихъ вещей, или употреблялъ разныя уловки и предосторожности, чтобы охранить себя отъ неблагопріятныхъ суж-

деній. Въ отношенін къ пародіямъ, можно почти навърное сказать, что онъ сдъланы имъ только для себя. Это была свободная игра его могучаго генія, смысль которой едва-ли быль бы доступень для его читателей.

Такимъ образомъ, эти произведенія составляють одно изъ указаній на тѣ широкіе размахи, къ которымъ способень быль Пушкинь, на тъ глубокія и трудныя задачи, которыхъ онъ касался смело, какъ власть имущій. Подобныхъ геніальныхъ попытокъ не мало у Пушкина, и онъ могутъ представить для насъ высокое поученіе, если мы уразум'вемъ ихъ въ настоящемъ смыслъ.

Не имън въ виду изложить здъсь полный анализъ двухъ пародій, о которыхъ мы говоримъ, приведемъ, однако-же, нъкоторыя доказательства своего мнънія.

"Лътопись села Горохина" писана языкомъ карамзинской "Исторіи", этимъ знаменитымъ слогомъ, въ которомъ русская проза впервые зазвучала нъсколько искусственною и монотонною, но ясною мелодіею. Расположение пародін напоминаеть первый томъ "Исторін Государства Россійскаго". Вступленіе соотв'єтствуеть предисловію. Оть стиховь и пов'єстей Б'елкинъ, подобно Карамзину, перешель къ исторіи, и перешель съ тыми же чувствами. "Мысль" — пишеть Бълкинъ — "оставить мелочные и сомнительные анекдоты для повъствованія великихъ и истинных происшествій давно тревожила мое воображение" (т. IV, стр. 223). Такъ смотръть и Карамзинъ. "И вымыслы нравятся" — говорилъ онъ-, но для полнаго удовольствія должно обманывать себя и думать, что они истина" (Предисл. Х). Взглядь на значеніе исторіи у обоихъ совершенно одинаковъ. "Быть судією, наблюдателемъ и пророкомъ въковъ и

народовъ казалось миѣ высшею степенью, доступной для писателя". Такъ пишетъ Бѣлкинъ, и такъ-же начинаетъ Карамзинъ: "Исторія есть священная книга народовъ, главная, необходимая; зерцало ихъ бытія и дѣятельности; скрижаль откровеній и правилъ" и пр.

За вступленіемъ слѣдуеть списокъ источниковъ какъ и у Карамзина; затѣмъ "Баснословныя Времена", соотвѣтствующія первой главѣ, и "Времена Историческія", соотвѣтствующія третьей главѣ перваго тома "Исторіи Государства Россійскаго".

Всего яснѣе параллельность двухъ послѣднихъ частей. Карамзинъ всячески восхваляеть древнихъ славянъ; тѣмъ-же хвалебнымъ тономъ пишетъ Бѣлкинъ о своихъ горохинцахъ.

Карамзинъ: "Славяне имѣли въ странѣ своей истинное богатство людей: тучные луга для скотоводства, и земли плодоносныя для хлѣбопашества, въ которомъ издревле упражнялись" (стр. 64).

Бълкинъ: "Издревле Горохино славилось своимъ плодородіемъ и благораствореннымъ климатомъ. На тучныхъ его нивахъ родятся: рожь, овесъ, ячмень и гречиха".

Карамзинъ: "Греки, осуждая нечистоту славянъ, хвалять ихъ стройность, высокій рость и мужественную пріятность лица. Загарая оть жаркихъ лучей солнца они казались смуглыми, и всѣ безъ исключенія были русые, (стр. 55).

Бѣлкинъ: "Обитатели Горохина, большею частію, роста средняго, сложенія крѣпкаго и мужественнаго; глаза ихъ сѣрые, волосы русые или рыжіе".

Карамзинъ: "Поляне были *образованнъе* другихъ". "Древніе славяне въ низкихъ хижинахъ своихъ умѣли наслаждаться дѣйствіемъ такъ-называемыхъ Искусствъ

Изящныхъ". "Волынка, гудокъ и дудка были также извѣстны предкамъ нашимъ: ибо всѣ народы славянскіе донынѣ любять ихъ" (стр. 69).

Бѣлкинъ: "Музыка была всегда любимое искусство образованныхъ Горохинцевъ; балалайка и волынка, услаждая чувства и сердце, понынѣ раздаются въ ихъ жилищахъ, особенно въ древнемъ общественномъ зданіи, украшенномъ елкою".

Но еще сильнѣе, чѣмъ въ отдѣльныхъ чертахъ, въ общемъ тонѣ "Лѣтописи села Горохина" чувствуется удивительно-схваченная манера Карамзина; перечитывая потомъ первый томъ "Исторіи", нельзя не чувствовать глубокой фальши, въ которую впалъ Карамзинъ, рѣзкаго и потому смѣшнаго противорѣчія между предметомъ и положеніемъ.

Итакъ, вотъ что сдълалъ Пушкинъ. Онъ позволилъ себъ лукавую и веселую дерзость, далеко превосходящую дерзости современныхъ намъ нигилистовъ. Онъ ръшился подсмъяться надъ нашими лътописями и надъ великимъ трудомъ Карамзина, безъ сомнънія, величайшимъ произведеніемъ русской литературы до Пушкина.

Но какая разница между взглядомъ поэта, умѣющаго видѣть больше другихъ людей, и тупымъ отрицаніемъ, опирающимся на одномъ непониманіи! Сквозь насмѣшки Пушкина сквозить истина дѣла; какъ живое, встаетъ передъ вами Горохино, и вы начинаете догадываться, въ какомъ правдивомъ свѣтѣ можно-бы изложить исторію нашихъ предковъ. Карамзинъ, очевидно, употребилъ для этой исторіи чужія мѣрки, облекъ ее въ ложныя краски; Пушкинъ глубоко почувствовалъ фальшь и попробовалъ сдѣлать нѣсколько штриховъ, вполнѣ вѣрныхъ дѣйствительности: контрастъ вышелъ поразительный.

Для нашихъ историковъ "Лѣтопись села Горохина" должна служить постояннымъ указаніемъ на то, къ чему они должны направлять всѣ усилія при изображеніи далекой старины, людей и нравовъ, стоящихъ на совершенно иныхъ ступеняхъ развитія, имѣющихъ совершенно иныя формы жизни. Всему своя мѣра.

Не такъ легко опредѣлить смыслъ пародіи на Данта. Но что это дѣйствительная пародія, въ этомъ легко убѣдиться. Кто читалъ, тотъ, конечно, помнить эти стихи съ нестерпимо-рѣзкими образами:

И далѣ мы пошли—и страхъ обнялъ меня, Бѣсенокъ, подъ себя поджавъ свое копыто, Крутилъ ростовщика у адскаго огня. Горячій капалъ жиръ въ копченое корыто, И лопалъ на огнѣ печеный ростовщикъ, А я: повѣдай мнѣ, въ сей казни что сокрыто? Виргилій мнѣ: мой сынъ, сей казни смыслъ великъ. Одно стяженіе имѣвъ вездѣ въ предметѣ, Жиръ должниковъ своихъ сосалъ сей злой старикъ И ихъ безжалостно крутилъ на вашемъ свѣтѣ.

Туть все Дантовское: краски, обороты, и въ содержаніи — соотвътствіе между казнью гръшника и гръхами, за которые эта казнь воздается. Для сравненія, воть отрывокъ изъ XXI пъсни "Ада". Дантъ видитъ чернаго бъса, который бъжитъ, "стуча копытами и хлоная крылами".

Взваливъ себѣ на острыя плеча И возлѣ пятъ когтьми вцѣпившись въ кости, Онъ за ноги мчалъ грѣппника, крича: "Вотъ старшина святыя Зиты!"...

Швырнувъ его, умчался бъсъ понурый,

И никогда съ такою быстротой За воромъ песъ не гнался изъ конуры. Тотъ въ глубь нырнулъ и всплылъ, облитъ смолой; А демоны изъ-подъ скалы висячей Вскричали: "Здъсь иконы нътъ святой!"

И сто багровъ въ него всадили вмигъ, Вскричавъ: "Пляши, гдѣ варъ сильнѣй вскипаетъ И, если можешь, надувай другихъ!" Такъ поваренковъ поваръ заставляетъ Крючками мясо погружать въ котлѣ, Когда оно поверхъ воды всплываетъ.

(Переводъ Д. Мина. XXI, 34—57).

Очевидно, поэтическое чувство Пушкина было оскорблено грубою матеріальностью этихъ картинъ, избыткомъ въ нихъ яркихъ красокъ и рѣзкихъ движеній, заслоняющихъ внутреннее содержаніе. Въ этомъ ощущеніи дистармоніи выразилась и разница между южной, итальянской натурой Данта и сѣверною природой нашего поэта, и, можетъ быть, другая, еще болѣе глубокая разница,—между міросозерцаніемъ Запада вообще и среднихъ вѣковъ въ особенности, и міросозерцаніемъ нашего времени и нашего русскаго духовнаго строя. Въ другихъ, уже серьезныхъ, а не пародическихъ терцинахъ Пушкинъ, кажется, пробовалъ олицетворять свои собственныя священныя идеи, и тогда получились уже совершенно иные образы. Вспомните эту величавую жеену, которую поэтъ видѣлъ такъ ясно:

Ея чела я помню покрывало И очи, свътлыя какъ небеса.

Какая чистога линій, какое спокойствіе и простота въ этомъ образѣ, а между тѣмъ, онъ исполненъ невыразимаго величія: Меня смущала строгая краса Ея чела, спокойныхъ устъ и взоровъ И полныя святыни словеса.

(Изъ статьи: Бъдность нашей литературы).

Замътки о Пушкинъ.

("Складчина", сборникъ. 1874. Спб.).

Имя Пушкина растеть. Уже при самомъ своемъ появленіи оно производило на людей какое-то магическое дъйствіе, но, тогда какъ такое дъйствіе обыкновенно съ годами слабъеть или исчезаеть, очарованіе имени Пушкина продолжается до сихъ поръ и даже становится глубже.

За новизной б'ёжать смиренно Народъ безсмысленный привыкъ,—

— вотъ обыкновенный ходъ дѣла; люди имѣютъ несчастіе забывать прошлое и обращаться душою къ новымъ предметамъ. Понемногу они перестаютъ понимать и чувствовать даже самое прекрасное, самое великое, что только можетъ явиться на землѣ, и предпочитаютъ ему предметы часто гораздо низшаго разряда. Такъ было и съ Пушкинымъ; было послѣ него нѣсколько минутъ, когда новыя литературныя явленія казалось навсегда заслоняли его; вкусъ къ Пушкину тупѣлъ и все вниманіе сосредоточивалось на новомъ предметѣ восторга. Но проходило время, и то, что въ близи казалось огромнымъ, становилось на разстояніи меньше, и наконецъ мы ви-

дъли, что Пушкинъ по прежнему возвышается надъ всею нашею литературою, и до него и послъ него.

Конечно, пониманіе стараго писателя всегда бываеть менње доступно, менње распространено, чъмъ иного новаго. Но за то это понимание стало глубже; мы приписываемъ теперь Пушкину гораздо болъе важное значеніе, чёмъ приписывалось прежде. Мы съ удивленіемъ видъли, что, когда мы измъняли и старались возвысить свою точку зрѣнія, то это не вело къ умаленію нашего поэта, а только открывало намъ новыя, еще не видънныя нами черты его силы и красоты. Мы находимъ теперь, что, не смотря на множество по видимому новыхъ путей, которыми шла съ тъхъ поръ русская литература, эти пути были только продолжениемъ дорогъ уже начатыхъ или совершенно пробитыхъ Пушкинымъ. Въ настоящую минуту съ удовольствіемъ читается большой романъ, въ которомъ молодой авторъ между прочимъ развиль нъкоторыя черты одного изъ произведеній Пушкина, —даже не взявши всъхъ чертъ, какія годились-бы для его предмета *). Сдълана была не одна попытка формулировать значеніе Пушкина, но это огромное и многообразное явленіе, наполняя каждую изъ добытыхъ для него формулъ, какъ будто не вмѣщается ни въ одной изъ нихъ; чувствуется, что въ немъ есть еще многое, перехватывающее края самой широкой формулы.

Вотъ почему, до сихъ поръ всякій, желающій говорить о Пушкинъ, долженъ, намъ кажется, начать съ извиненія передъ читателями, что онъ берется въ томъ или другомъ отношеніи измѣрять эту неисчерпаемую глубину. Мы здѣсь не думаемъ предлагать черты, которыми

^{*)} Пугачевцы, гр. Саліаса.

рисуется полный образъ Пушкина: мы предложимъ только частныя замѣчанія, отдѣльныя наблюденія; искренняя любовь къ произведеніямъ поэта можетъ быть не дастъ намъ провиниться въ дерзости.

I.

Нътъ нововведеній.

Пушкинъ не былъ нововводителемъ. Онъ не создалъ никакой новой литературной формы и даже не пробоваль создавать. Онъ писаль точно такіе-же элегіи, посланія, поэмы, сонеты, романсы, какіе обыкновенно писались тогда у насъ и въ иностранныхъ литературахъ, "Евгеній Онъгинъ" имъетъ форму произведеній Байрона. форма "Капитанской дочки" взята съ романовъ Вальтеръ-Скотта, а "Борисъ Годуновъ" есть по видимому прямой сколокъ съ трагедій Шекспира. Чтобы уб'єдиться, какъ мало было у Пушкина реформаторскихъ стремленій въ этомъ отношеніи, стоить припомнить, что на "Бориса Годунова" онъ смотрѣлъ какъ на огромно е нововведение, только потому, что до тъхъ поръ трагедін у насъ писались въ французской классической формъ, и что ему пришлось первому вводить шекспировскую форму. "Борисъ Годуновъ", какъ извъстно, былъ раскупленъ съ неслыханною быстротою, но въ литературѣ и между друзьями поэта былъ встрвченъ холодомъ и молчаніемъ. Такъ какъ Пушкинъ былъ твердо ув'єренъ во внутреннихъ достоинствахъ своего произведенія, то онъ приписывалъ его неуспъхъ только одному-новости формы. Что же онъ вывель отсюда? Весьма любопытно, что онь почти готовъ быль обвинить самого себя. Воть что онъ писалъ:

"Каюсь, что я въ литературѣ скептикъ (чтобъ не сказать хуже), и что всѣ ея секты для меня равны, представляя каждая свою выгодную и невыгодную стороны. Обряды и формы должны-ли суевѣрно порабощать литературную совѣсть? Зачѣмъ писателю не повиноваться принятымъ обычаямъ въ словесности своего народа, какъ онъ повинуется законамъ своего языка? Онъ долженъ владѣть своимъ предметомъ не смотря на затруднительность правилъ, какъ онъ обязанъ владѣть языкомъ не смотря на грамматическія оковы" (т. І, стр. 146. Изд. Анненк.).

И нѣсколько далѣе:

"Воспитанные подъ вліяніемъ французской критики, русскіе привыкли къ правиламъ, утвержденнымъ сею критикою, и неохотно смотрятъ на все, что не подходитъ подъ ея законы. *Нововведенія* опасны и, кажется, не нужны" (стр. 147).

Въ этихъ словахъ выражается не одно огорченіе; они слишкомъ точны и ясны, и притомъ вполнѣ согласуются съ обыкновенною практикою Пушкина. Мы видимъ на опытѣ, что для него всѣ формы были равны; съ удивительною гибкостію онъ цѣнилъ и уловлялъ всѣ достоинства данной формы и умѣлъ приспособляться къ ея стѣсненіямъ. Вотъ отчего онъ былъ скептикъ, то есть ни за какою формою не признавалъ ни безусловной законности, ни безусловной негодности; вотъ отчего онъ не былъ, какъ онъ выражается, суевърно порабощенъ формамъ, то есть былъ вполнѣ свободенъ отъ нихъ, могъ по произволу держаться той, какой ему вздумается. Въ каждой онъ чувствовалъ себя почти одинаково ловко; онъ вливалъ въ нихъ обыкновенно столько содержанія, что оно, такъ сказать, поглощало форму.

Были въ его время привычные образы, привычныя украшенія для поэтическихъ произведеній; таковы, напримѣръ, миоологическіе образы, Муза, Аполлонъ, Вакхъ, Киприда и пр. Пушкинъ цѣликомъ принялъ и до конца дней сохранилъ ихъ. Онъ употребляеть ихъ даже въ самыхъ искреннихъ, вырвавшихся изъ сердца стихахъ:

Я слышу вновь друзей предательскій привѣть На *играхъ Вакха и Киприды*, и пр.

И какъ хорошо выходить! Ибо дѣло всегда не столько въ словахъ и образахъ, сколько въ томъ, что они выражають.

Любимый размъръ Пушкина опять самый обыкновенный, самый общеупотребительный, — четырехстопный ямбъ Ломоносовскихъ одъ. Если мы вспомнимъ, какъ играли стихомъ Жуковскій, Дельвигь и потомъ Лермонтовъ, то убъдимся, что у Пушкина не было желанія разнообразить размъры, или выдумывать новые. Его стихъ не ему принадлежить; онъ по справедливости долженъ быть приписанъ Ломоносову, владъвшему имъ съ совершенно поэтическимъ мастерствомъ. Пушкинъ, написавшій самъ нѣсколько одъ (напр. "Чудесный день совершился", "Великій день Бородина", —при чемъ онъ только упростиль форму строфы), нашель сверхъ того, что нътъ нужды искать другихъ размъровъ для другихъ родовъ стихотвореній, и что въ томъ же стих онъ можеть выражать и множество другихъ чувствъ. И здъсь, форма для него была безразлична; стихъ получалъ другой звукъ вследствіе внутренняго теченія ръчи, а не внъшняго своего размъра.

Но всего яснъе обраружилась эта безпримърная гибкость и подвижность Пушкинскаго генія въ языкъ. Пушкинъ такъ точно чувствоваль значеніе, оттънокъ, красоту, физіономію каждаго слова и каждаго оборота словъ, что

не исключалъ изъ своей ръчи ни единаго слова и ни единаго оборота. Онъ употреблялъ ихъ всѣ, какъ скоро приходило ихъ мъсто и наступала въ нихъ надобность. Поэтому, никакой изысканности, манерности, односторонности нъть въ языкъ Пушкина. Можно сказать, что онъ навсегда закончиль образование нашего литературнаго языка; въ самомъ дъль, онъ лишиль насъ возможности отличиться старомодностію или нововведеніями, потому что дёломъ и примёромъ разрёшилъ литературё всякія старомодности и всякія нововведенія, съ однимъ условіемъ-чтобы они были ум'єстны и нужны. Въ настоящее время можно и должно имъть свой слога, но попытка имъть свой языкъ невозможна и смъшна, ибо она значила бы уклоняться отъ употребленія какихъ нибудь словъ или оборотовъ даже въ техъ случаяхъ, где именно они должны быть употребляемы.

Воть почему, у насъ нѣть писателя такого обильнаго словами и оборотами, какъ Пушкинъ. Въ этомъ и заключается истинное мастерство языка. Если сравнить языкъ Пушкина съ языкомъ Карамзина, то можно подумать, что языкъ Пушкина гораздо старѣе, такъ какъ въ немъ встрѣчается множество формъ уже изгнанныхъ Карамзинымъ. Славянизмы, старыя слова такъ-же мало пугали Пушкина, какъ и формы простонародныя. До конца жизни онъ писатъ (особенно въ прозѣ) сей, оный, токмо, потребный, являетъ и т. п. Теперь, благодаря ему же, намъ это не странно; но прежде было не то, какъ свидѣтельствуетъ хотя бы война противъ сихъ и оныхъ.

Очень трудно, почти невозможно разумѣть что-нибудь опредѣленное подъ выраженіями Пушкинскій стихъ, Пушкинскій слогъ; и этотъ стихъ и этотъ слогъ до такой степени гибки и разнообразны, что ихъ кажется можно

опредълить только отрицательными качествами, напримѣръ отсутствіемъ всего лишняго, неумѣстнаго, односторонняго, монотоннаго. Такъ называемая Пушкинская фактура стиха едва ли не большею частію принадлежитъ Ломоносову, слѣдовательно есть какъ бы общая фактура свойственная русскому языку. Несомнѣнно, что стихи Жуковскаго или Ломоносова имѣютъ особенности гораздо болѣе ясныя, гораздо большее своеобразіе въ звукѣ, чѣмъ безконечно разнообразные стихи Пушкина. Возьмите стихи:

О люди! Всё похожи вы На прародительницу Еву: Что вамъ дано, то не влечетъ,—Васъ непрестанно змій зоветъ Къ себъ, къ таинственному древу: Запретный плодъ вамъ подавай, А безъ того вамъ рай не въ рай.

Это чудесные стихи, но вмѣстѣ съ тѣмъ это самая простая русская рѣчь, которую можно характеризовать только тѣмъ, что въ ней нѣтъ ничего лишняго, ничего книжнаго, ничего натянутаго, и т. д. А вотъ другіе ямбы:

Для береговъ отчизны дальной Ты покидала край чужой; Въ часъ незабвенный, въ часъ печальный Я долго плакалъ предъ тобой — —

Здѣсь таже простота и отчетливость, но стихъ получилъ несравненную, волшебную музыкальность.

II.

Переимчивость.

Изумительная чуткость была причиной, что Пушкинъ употреблялъ въ дъло весь запасъ внъшнихъ формъ, какой

нашеть въ литературъ своей и чужой. Но она иногда вела его еще дальше. Иногда Пушкинъ становился какъ бы подражателемъ, то есть перенималъ весь складъ ръчи, все настроеніе и тонъ какого нибудь поэта. Извъстно, что Пушкинъ высоко цънилъ современныхъ ему и предшествовавшихъ русскихъ поэтовъ. Это происходило отъ необыкновенно живаго ощущенія красотъ, которыя онъ въ нихъ находилъ и которыя заслоняли отъ него ихъ недостатки и малое достоинство въ цъломъ. Цъня такимъ образомъ чужія произведенія, Пушкинъ иногда совершенно входилъ въ ихъ тонъ. Вотъ, напримъръ, стихотвореніе, которое какъ будто написано самимъ Жуковскимъ:

Если жизнь тебя обманеть, Не печалься, не сердись: Въ день унынія смирись,— День веселья, върь, настанеть. Сердце въ будущемъ живеть; Настоящее уныло: Все мгновенно, все пройдеть: Что пройдеть, то будеть мило.

Три посланія къ Языкову совершенно сбиваются на языковскіе стихи и звукомъ и мыслями.

Языковы кто тебѣ внушиль
Твое посланіе удалое?
Какъ ты шалишь и какъ ты миль,
Какой избытокъ чувствъ и силь,
Какое буйство молодое!
Нътъ, не кастальскою водой
Ты воспоиль свою Камену:
Пегасъ иную Ипокрену
Конытомъ вышибъ предъ тобой.
Она не хладной льется влагой,
Но пънится хмъльною брагой.

Она разъимчива, пьяна, Какъ сей напитокъ благородный, Сліянье рому и вина, Безъ примѣси воды негодной, Въ Тригорскомъ жаждою свободной Открытый въ наши времена.

Эту шаловливую шутку можно принять за злую насмъшку; Пушкинъ передразнилъ Языкова, конечно ни мало о томъ не думая и искренно восхищаясь удалымъ посланіемъ.

Точно такъ, намъ кажется, что складъ Державина отразился, и едва ли выгодно для Пушкина, въ слѣдующихъ стихахъ "Памятника":

Нѣтъ! весь я не умру: душа въ завътной лиръ Мой прахъ переживетъ и тлънья убъжитъ— И славенъ буду я, доколь въ подлунномъ мірѣ Живъ будетъ хоть одинъ піитъ. Слухъ обо мнѣ пройдетъ по всей Руси великой, И назоветъ меня всякъ сущій въ ней языкъ, И гордый внукъ Славянъ, и Финнъ, и нынѣ дикой Тунгузъ, и другъ степей Калмыкъ.

Мы подчеркнули особенно бросающіяся въ глаза выраженія; эти архаизмы и галлицизмы нѣсколько принужденны и объясняются едва-ли не однимъ вліяніемъ Державина.

Батюшковъ едва-ли не чаще всего отзывается въ Пушкинскихъ стихахъ. Чистою, античною красотою своего выраженія онъ долженъ былъ особенно привлекать Пушкина. Примѣровъ можно бы привести множество. Удивительное стихотвореніе: "Въ младенчествѣ моемъ она меня любила" представляетъ въ высшей степени всѣ характерныя достоинства Батюшкова, которыя Пушкинъ пустилъ въ дѣло, подражая въ тоже время своему любимому Шенье.

Такимъ образомъ, Пушкинъ былъ воспитанъ на нашихъ поэтахъ, ему предшествовавшихъ. Благодаря имъ, уже были готовы и тотъ языкъ, и тотъ стихъ, которыми онъ писалъ. Они не даромъ такъ усердно заботились о словахъ и безъ конца толковали о красотъ стиховъ; ихъ труды не пропали. Недоставало у нихъ только чего-то неуловимаго, но самаго важнаго, недоставало такой сильной поэзіи, которая бы дала полную жизнь всему ими созданному и накопленному. Пушкинъ явился, и всъ ихъ чаянія совершились, всъ порыванія исполнились.

Разумѣется, Пушкинъ стоялъ выше всѣхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ и, слѣдовательно, впадалъ въ замѣтное подражаніе имъ большею частію только тогда, когда его талантъ дѣйствовалъ не полною своею силою; обыкновенно же поэзія, на которой онъ былъ воспитанъ, преображалась у него въ формы несравненно высшія и неузнаваемыя. Но, кромѣ нашихъ поэтовъ, встрѣчались ему и такія созданія человѣческаго слова, которыя стояли наравнѣ съ нимъ, и тогда его подражательность производила непостижимыя чудеса искусства. Однажды онъ хотѣлъ писать повѣсть изъ временъ Нерона. Разсказъ долженъ былъ идти отъ лица какого-то молодаго римлянина; и вотъ Пушкинъ сталъ писать по русски прозу, звучащую и текущую совершенно такъ, какъ классическая латинская рѣчь. Приведмъ нѣсколько строкъ:

"Цезарь, путешествоваль; мы съ Титомъ Петроніемъ слѣдовали за нимъ издали. По захожденіи солнца намъ разбивали шатеръ, разставляли постели—мы ложились пировать и весело бесѣдовали. На зарѣ снова пускались въ дорогу и сладко засыпали каждый въ лектикѣ своей, утомленные жаромъ и ночными наслажденіями".

"Мы достигли Кумъ и уже думали пуститься далѣе, какъ явился къ намъ посланный отъ Нерона. Онъ принесъ Петронію повелѣніе Цезаря возвратиться въ Римъ и тамъ ожидать рѣшенія своей участи, вслѣдствіе обвиненія. Мы были поражены ужасомъ: одинъ Петроній выслушалъ равнодушно свой приговоръ, отпустилъ гонца съ подаркомъ и объявилъ свое намѣреніе остановиться въ Кумахъ. Онъ послалъ своего любимаго раба выбрать ему домъ и сталъ ожидать его возвращенія въ кипарисной рощѣ, посвященной Евменидамъ". (Т. І. стр. 397. Изд. Анненк.).

Лучше не разсказаль бы самый лучшій римскій прозаикь. Трудно разсмотрѣть даже внѣшніе пріемы, при которыхъ совершено это чудо искусства; чуть чуть замѣтные латинскіе сбороты, плавность теченія, нѣсколько отвлеченныя, но совершенно точныя слова. Но главное дѣло, кажется, въ томъ внутреннемъ строѣ рѣчи, въ силу котораго ясность и краткость доведены здѣсь до высочайшей степени. Какъ простъ и естественъ разсказъ, а между тѣмъ разсказано очень много; ни одно слово не пропало даромъ, и они такъ расположены, что картина какъ будто развертывается сама собою.

Другое чудо, еще болѣе удивительное, представляють подражанія Пушкина народнымъ стихамъ. Духъ и складъ народной поэзіи уловлены такъ, что сомнѣваешься, дѣйствительно ли это сочинено Пушкинымъ, а не подслушано у народа.

Только что на проталинахъ весеннихъ Показались ранніе цвѣточки, Какъ изъ царства восковова, Изъ душистой келейки медовой Вылетаетъ первая пчелка.

Полеті ла по раннимъ цвіточкамъ О красной весні развідать: Скоро ли будеть гостья дорогая, Скоро-ли луга зазеленіють, Распустятся клейкіе листочки, Зацвітеть черемуха душиста?...

Это не конченная вещь, точно такъ, какъ не конченъ и другой большой отрывокъ:

Какъ весенней теплой порою, Изъ-подъ утренней бѣлой зорюшки, Что изъ лѣсу, лѣсу дремучаго, Выходила медвѣдица, и пр.

Это только пробы пера, наброски, сами собой явившеся въ то время, когда Пушкинъ предавался своимъ невольнымъ мечтамъ; между тъмъ они несомнънно превосходятъ всъ многочисленныя и упорныя попытки приблизиться къ народной поэзіи, которыя мы видъли до сихъ поръ.

Послѣ этого, не правъ ли былъ Пушкинъ, когда онъ сравнивалъ себя съ эхомъ, отражающимъ всякій звукъ?

Ты внемлень грохоту громовъ И гласу бури и валовъ, И крику сельскихъ пътуховъ, И шлень отвътъ. Тебъ-жъ нътъ отзыва: таковъ И ты, поэтъ.

Онъ хорошо чувствоваль, что его поэтическая сила способна все обнять, вездъ находить себъ пищу.

Таковъ прямой поэть: онъ сътуетъ душой На пышныхъ играхъ Мельпомены— И улыбается забавъ площадной И вольности лубочной сцены.

See and the second of the seco

Подражанія.

Но не пассивно, какъ эхо, отзывалась Пушкинская поэзія на всѣ явленія. Пассивное отраженіе было исключеніемъ, случайною, легкою игрою таланта. Обыкновенно же отражаемый предметь возводился, говоря извъстными словами Гоголя, въ перлъ созданія. Онъ былъ насквозь проникаемъ свѣтомъ поэзіи, и всѣ его краски, всѣ темныя и свѣтлыя черты выступали съ совершенною яркостію и тонкостію.

Есть у Пушкина рядъ подражаній, въ которыхъ во всей силѣ обнаруживается эта способность вполнѣ видѣть красоту и безобразіе, цвѣтъ и тѣнь взятаго предмета, цѣнить и измѣрять ихъ до малѣйшей черты. Сюда относятся, напримѣръ, его "Подражанія Корану", девять стихотвореній первостепеннаго достоинства.

Коранъ есть книга очень загадочная, очень трудная для оцѣнки. Ея содержаніе, повидимому, незначительно; такъ можно судить отчасти уже потому, что она вообще мало занимаеть европейскихъ читателей. Между тѣмъ она, очевидно, способна производить на людей сильное дъйствіе, и въ настоящую минуту духъ этой книги совершаеть большія завоеванія въ Индіи и Китаъ, побѣждаеть тамъ древнъйшія религіи человьчества, среди которыхъ христіанство дѣлало лишь слабые успѣхи.

Шопенгауэръ, философъ, умѣющій такъ глубоко понимать всѣ религіозныя явленія, съ недоумѣніемъ смотрить на силу Корана и отзывается о немъ очень рѣзко. "Эта плохая книга", говорить онъ, "была достаточна, чтобы основать міровую религію, удовлетворять воть уже 1200 лѣтъ метафизической потребности безчисленныхъ милліоновъ людей, сдѣлаться основою ихъ морали и значительнаго презрѣнія къ смерти, а также одушевить ихъ на кровавыя войны и обширнѣйшія завоеванія. Мы находимъ въ ней плачевнѣйшій и скуднѣйшій видъ теизма. Многое въ ней можетъ быть теряется отъ перевода; но я не могъ въ ней открыть ни единой цѣнной мысли". (Die Welt als Wille etc. Bd. 2. S. 178).

Сами арабы, какъ упоминаетъ Ренанъ, утверждаютъ, что главная сила Корана заключается въ его поэтическомъ достоинствъ, и притомъ не столько въ содержаніи, сколько въ формъ, въ такомъ удивительномъ теченіи ръчи, что даже они, привышіе ко всякимъ стихотворнымъ тонкостямъ, не могли устоять противъ очарованія этой прозы.

Не любопытно ли послѣ этого взглянуть, что же сдѣлаль Пушкинь въ своихъ подражаніяхъ? Извъстно, какъ обыкновенно дълаются подражанія восточному; европеецъ беретъ кой-какія чужія краски и даже мысли, но располагаеть и развиваеть ихъ по своему, по европейски. Пушкинъ же, съ своею нев роятною гибкостію, старался уловить весь складь Корана, весь безпорядокъ, всю быстроту и силу переходовъ, и даже то, что онъ въ другомъ мъсть называеть какою-то восточною безсмыслицею, импьющею свое поэтическое достоинство (Путеш. въ Арзрумъ). Шутливыя примъчанія, которыми снабжены "Подражанія Корану", кажется, могуть быть приведены въ подтверждение того, что Пушкинъ превосходно видълъ свой оригиналъ и съ этой стороны, что онъ, искренно чувствуя всю его поэзію, въ тоже время почти готовъ былъ пародировать его.

Рѣчь Аллаха начинается такъ:

Клянусь четой и нечетой,
Клянусь мечемъ и правой битвой,
Клянуся утренней звъздой,
Клянусь вечернею молитвой,
Нътъ, не покинулъ я тебя, и пр.

Въ этой клятвѣ есть какая-то загадочность и разнородность предметовъ, игра словъ (утренней и вечерней) и въ тоже время странная сила и гармонія. Лермонтовъ плѣнился этими стихами, и въ его "Демонъ" тоже есть клятва, даже гораздо длиннѣе. Но какая разница!

Клянусь я первымъ днемъ творенья, Клянусь его послъднимъ днемъ, Клянусь позоромъ преступленья И въчной правды торжествомъ, Клянусь паденья горькой мукой, Побъды краткою мечтой, И пр. и пр.

Все это очень краснорѣчиво, но вмѣстѣ совершенно блѣдно и холодно; демонъ дѣлаетъ правильныя антитезы, логически переходитъ отъ одной мысли къ другой, почти пускается въ разсказъ; порыва, загадочности, страсти нѣтъ нисколько. Взятъ восточный оборотъ рѣчи, но лишенъ всего характернаго.

Конецъ стихотворенія у Пушкина представляетъ также удивительную черту: быстрое, яркое противорѣчіе, которое вполнѣ выражаетъ быстроту душевныхъ движеній

Мужайся-жъ, презирай обманъ, Стезею правды бодро слѣдуй, Люби сиротъ, и мой коранъ Дрожащей твари проповѣдуй.

Не успълъ Аллахъ дать заповъдь милосердія: люби

сироть, какъ въ следующемъ стихе уже вспыхнуль въ душе араба гневъ, и онъ требуетъ, чтобы тварь дрожала предъ его Кораномъ.

Второе "Подражаніе" объяснено самимъ Пушкинымъ. Третье представляетъ поразительное теченіе рѣчи. Въ началъ раздаются величественные звуки:

Съ небесной книги списокъ данъ Тебъ, пророкъ, не для строптивыхъ.

Потомъ тонъ смягчается, делается кроткимъ, тихимъ.

Почто-жъ кичится человѣкъ? За то-ль, что нагъ на свѣтъ явился, Что дышетъ онъ не долгій вѣкъ, Что слабъ умретъ, какъ слабъ родился? За то-ль, что Богъ и умертвитъ И воскреситъ его по волѣ? Что съ неба дни его хранитъ И въ радостяхъ, и въ горькой долѣ? За то-ль, что далъ ему плоды, И хлѣбъ, и финикъ, и оливу, Благословилъ его труды И вертоградъ, и холмъ, и ниву?

И вдругъ раздается громъ негодованія:

Но дважды ангелъ вострубить!

Угрозы сыплются градомъ и величественно замолкають.

Но дважды ангель вострубить!
На землю громъ небесный грянеть:
И брать оть брата побъжить
И сынъ оть матери отпрянеть,
И всѣ предъ Бога притекуть,
Обезображенные страхомъ,
И нечестивые падутъ,
Покрыты пламенемъ и прахомъ.

Музыка удивительная! Поставить союзъ но такъ, какъ онъ тутъ поставленъ, едва ли бы рѣшился какой европейскій поэтъ. Полный разрывь теченія мыслей и вмѣстѣ строгая связь душевныхъ движеній, явный безпорядокъ и чудесная гармонія.

Остановимся еще на *шестомъ* подражаніи. По звуку оно похоже на воинственный маршъ, дышащій жаромъ битвы:

Не даромъ вы приснились мнъ Въ бою съ обритыми главами, Съ окровавленными мечами, Во рвахъ, на башнъ, на стънъ. Внемлите радостному кличу, О дъти пламенныхъ пустынь, Ведите въ плѣнъ младыхъ рабынь, Дълите бранную добычу! Вы побъдили: слава вамъ, А малодушнымъ-посмъянье! Они на бранное призванье Не шли, не въря дивнымъ снамъ. Прельстясь добычей боевою, Теперь въ раскаяны своемъ Рекуть: возьмите насъ съ собою! Но вы скажите: не возьмемъ!

И вдругь все оканчивается сладкими, свътлыми звуками:

Блаженны падшіе въ сраженьи, Они теперь вошли въ эдемъ И потонули въ наслажденьи, Неотравляемомъ ничѣмъ.

Мы не станемъ разбирать другихъ подражаній, такъ какъ для ясности разбора пришлось бы приводить стихотворенія цѣликомъ. Скажемъ вообще, что всѣ они имѣютъ ту же яркую своеобразность. Смѣшеніе чувствен-

ности съ религіозными движеніями души, быстрые порывы и переходы чувствъ, немногосложная, но сверкающая фантазія, и при всемъ этомъ полнѣйшая музыкальность, волшебное теченіе рѣчи—таковъ характеръ Корана, какъ онъ уловленъ Пушкинымъ. Мы сомнѣваемся, чтобы у какого-нибудь другаго европейскаго поэта были стихотворенія въ такой степени восточныя. А прекрасны они въ первой степени.

IV.

Пародіи.

Наконецъ Пушкинъ писалъ иногда и *пародіи*, въ которыхъ обнаруживается та же его изумительная чуткость. Способный по произволу принять тонъ и складъ какого угодно писателя, онъ тонко чувствовалъ малѣйшія уклоненія его отъ идеала поэтической красоты; этотъ идеалъ былъ такъ ясенъ для Пушкина, что уклоненія выступали, какъ темныя пятна на яркомъ свѣтѣ, и нашъ поэтъ иногда забавлялся, подробно обозначая густоту и контуръ этихъ пятенъ.

Такъ онъ написалъ пародію на Данта, на его Божественную комедію. Въ пародіп изображены двѣ казни, совершаемыя въ аду. Сперва Дантъ и Виргилій увидъли, какъ бѣсенокъ

Крутилъ ростовщика у адскаго огня. Горячій капаль жиръ въ копченое корыто И лопалъ на огнъ печеный ростовщикъ.

Виргилій объясняеть, за что казнится этоть челов'ькъ:

Жиръ должниковъ своихъ сосалъ сей злой старикъ И ихъ безжалостно крутилъ на вашемъ свътъ. Наконецъ передается рѣчь самого ростовщика:

Туть грышникь жареный протяжно возопиль: "Сто на сто я терплю! проценть неимовырный!"

Вторая казнь совершается надъ двумя сестрами. Бѣсы забавляются; пускають раскаленное ядро по стеклянной горѣ и, когда гора растрескалась,

Схватили подъ руки жену съ ея сестрой И обнажили ихъ, и внизъ пихнули съ крикомъ— И объ сидючи пустились внизъ стрълой.

Стекло ихъ ръзало, впивалось въ тъло имъ...

За что совершалась такая казнь, и какія признанія вырывались у жертвъ, остается неизвѣстнымъ, такъ какъ разсказъ не конченъ.

Мастерскіе стихи, мастерская живопись, и въ то же время очевидная насм'єшка. Грубо-чувственные образы и краски Данта схвачены вполн'є и пересм'єяны, такъ же какъ пересм'єяна и наивная торжественность р'єчи.

Можеть быть въ то же самое время, когда писалась эта пародія, Пушкинъ какъ будто задаль себѣ вопрось: а какъ же слѣдовало бы писать настоящія, безупречно-поэтическія терцины?—и написаль удивительное стихотвореніе:

Въ началъ жизни школу помню я...

Г-жа Кохановская справедливо полагаеть, что въ яркихъ образахъ этихъ стиховъ изображаются нѣкоторыя важнѣйшія событія духовной жизни Пушкина, и что

Смиренная, одътая убого, Но видомъ величавая жена

въроятно есть олицетворение религии.

Къ пародіи на Данта близко, по нашему мнѣнію, стихотвореніе: "Какъ съ древа сорвался предатель ученикъ". Точно такъ есть нѣчто напоминающее пародію не только въ монологѣ Изабеллы изъ трагедіи Альфіери (Т. І, стр 350, изд. Анненк.), но и въ переводѣ изъ Аріоста (стр. 465). И въ томъ и другомъ отрывкѣ выпукло выступаютъ неестественность и изысканность.

Но самая замѣчательная пародія Пушкина есть "Лѣтопись села Горохина", въ которой онъ пародировалъ первыя главы "Исторіи Государства Россійскаго". Ложный тонъ Карамзина здёсь разоблаченъ совершенно, притомъ не вообще, а съ точнымъ указаніемъ истинныхъ свойствъ предмета, по отношению къ которому этотъ тонъ ложенъ. Черты русской жизни, намъченныя здъсь Пушкинымъ, истинно драгоцънны—и стоили-бы подробнаго разбора (положимъ, напримъръ, такъ называемыя кръпостныя отношенія); ибо върность этихъ черть и правдивость ихъ освъщенія поразительны. Важность "Льтописи" видна уже изъ того, что съ нея начинается повороть въ дъятельности Пушкина, и онъ пишеть рядъ повъстей изъ русской жизни, заканчивающійся "Капитанскою дочкою". Въ развитіи русской литературы едвали есть пункть более важный; здёсь мы ограничиваемся только тёмъ, что указываемъ на этотъ пунктъ.

V.

Прямодушіе.

Цѣль наша была указать, въ какія отношенія становился Пушкинъ къ литературѣ своей и иностранной, и вообще къ явленіямъ поэзіи, которыя ему встрѣчались. Это была сила безмѣрно гибкая и широкая; она готова была принять всякую форму, всякій тонъ, всякій

образъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ она никогда до конца не покорялась формамъ, повидимому принимаемымъ съ величайшей любовью и пониманіемъ. Пушкинъ не даромъ называетъ себя въ этомъ отношеніи скептикомъ; онъ способенъ былъ отнестись критически къ тому самому, чѣмъ увлекался и во что, такъ сказать, воплощался. Онъ оставался самимъ собою и въ то время, когда принималъ всякія формы; а когда сбрасывалъ ихъ съ себя, то являлся въ невообразимой самобытной красотъ.

Если сравнить Пушкина съ современными поэтами, Баратынскимъ, Дельвигомъ, Языковымъ и т. д., то при всемъ внъшнемъ сходствъ окажется та разница, что у Пушкина форма была лишь орудіемъ для выраженія чувства и мысли, а у нихъ, на оборотъ, форма часто занимаетъ первое мъсто, безпрестанно слышится, что забота о красотъ стиха и выраженія перевышиваеть заботу о содержаніи. Отсюда произошло то неотразимое очарованіе, которое производили стихи Пушкина; казалось, что въ нихъ русскій языкъ, всякія красоты стиха и формы, о которыхъ хлопотали цёлыя поколёнія литературы, въ первый разъ получили свой настоящій смыслъ, въ первый разъ оказались вполнѣ нужны, вполнѣ умѣстны, совершенно естественны. Всв изысканности и искусственности становились въ устахъ Пушкина живою, точно выражающею свой смыслъ рѣчью; красота словъ и образовъ вдругъ обратились въ красоту чувствъ и мыслей.

Отчего-же это происходило? Оттого, что Пушкинъ поэзію, жившую въ его душѣ, цѣнилъ выше всего, ей одной служилъ, одну ее хотѣлъ выражатъ. Пушкинъ былъ правдивѣйшій и искреннѣйшій изъ поэтовъ. Несмотря на всю свою гибкость, онъ никогда не сочинялъ ни чувствъ, ни ихъ выраженія; несмотря на его любовь

ко всему красивому, къ красивымъ формамъ, звукамъ, словамъ, никакіе слова, звуки, формы не могли подкупить его своею красотою. Съ совершенной отчетливостію онъ чувствовалъ, когда въ немъ дъйствуетъ вдохновеніе и когда нѣтъ, и не писалъ ни одного произведенія, которое-бы не вытекало прямо изъ души.

Необыкновенная сила Пушкинскаго генія обнаруживается именно въ этомъ прямодушіи. Болье открытаго, болье прямо себя обнаруживающаго поэта невозможно найти. Разстояніе между душею Пушкина и его стихотвореніями было такъ мало, что меньше и не бываетъ и быть не можетъ. При сравненіи его съ другими поэтами, оказывается, что одни часто, а иные постоянно говорятъ не своимъ языкомъ, поютъ такъ сказать не своимъ голосомъ, кто фальцетомъ, кто напряженнымъ басомъ, тогда какъ у Пушкина каждый звукъ есть чистый грудной голосъ, не измъненный никакимъ напряженіемъ.

Вотъ почему въ Пушкинѣ наша поэзія сдѣлалась правдою. Исчезло то разногласіе и противорѣчіе, которое прежде чувствовалось между поэзіею и жизнью; въ стихахъ Пушкина при всей полнотѣ поэзіи жизнь являлась со всею своею реальностію, безъ искаженій и подкрашиваній.

Всёмъ извёстно, съ какимъ мастерствомъ Пушкинъ возводилъ въ поэзію самые, повидимому, прозаическіе предметы. Онъ никогда не выбиралъ того, что покрасивѣе и повеличавѣе; грязь Одессы и мощеніе въ ней улицъ онъ описываетъ такъ же звучно, какъ море и горы. Но онъ могъ это сдѣлать съ полнымъ правомъ только потому, что никогда ни въ чемъ не отступалъ отъ истины. Чтобы показать, какъ велика его точность, сдѣлаемъ небольшое сравненіе. Пушкинъ часто говорилъ о Петер-

бургѣ, и всякій, кто знаетъ этотъ городъ, долженъ согласиться, что въ описаніяхъ Пушкина нѣтъ ни единой фальшивой черты.

Сводъ небесъ зелено-блѣдный, Скука, холодъ и гранитъ...

Мосты повисли надъ водами, Темнозелеными садами Ея покрылись острова...

Твоихъ оградъ узоръ чугунный, Твоихъ задумчивыхъ ночей Прозрачный сумракъ, блескъ безлунный.,.

И ясны спящія громады Пустынныхъ улицъ, и свётля Адмиралтейская игла...

Все это безукоризненно точно. Возьмите-же теперь другаго поэта, Лермонтова, и попробуйте сравнить. Описывается такая-же ночь, какъ у Пушкина.

Задумчиво столбы дворцовъ нѣмыхъ По берегамъ тѣснилися какъ тѣни, И въ пънъ водъ гранитныхъ крылецъ ихъ Купалися широкія ступени.

Прекрасные стихи, но въ этой картинъ почти все ложно. Видъ дворцовъ не похожъ; они никакъ не *тьс-нятся* и не близки къ берегамъ,—все въ Петербургъ просторно *). А *гранитныя крыльца*, *широкія ступени*,

По оживленнымъ берегамъ Громады стройныя тысиятся,

^{*)} Покойный Кеневичь напомниль мнѣ, что и у Пушкина Здѣсь и тамъ, По оживленнымъ берегамъ

Но, несмотря на эту черту, во всей картинъ у Пушкина слышится просторъ и свътъ, а у Лермонтова—стъсненіе и сумракъ.

пина водъ—все чистая выдумка, все сказано, какъ говорится, только для красоты слога. Далѣе описывается домъ:

Изъ мрамора волнистаго колонны Кругомъ тъснились чинно, и балконы Чугунные, воздушные семьей, Межъ нихъ гордились дивною ръзъбой.

Дивная рѣзьба на чугунѣ—ужасное сочиненіе, а балконы гордящіеся такою рѣзьбою—еще большее.

Все это, конечно, только промахи, но они показывають направленіе таланта, его напряженность и расположеніе не дорожить истиною. У Пушкина вовсе нѣть подобныхъ промаховъ,—вотъ что замѣчательно; нѣтъ даже въ слабыхъ и молодыхъ произведеніяхъ.

Интересно сравнить у обоихъ поэтовъ описаніе Кавказа. Одна обмолвка Лермонтова въ "Демонъ" очень извъстна; объ ней даже говорилъ въ "Въстникъ Естественныхъ наукъ" покойный профессоръ Рулье.

> И Терекъ, прыгая, какъ львица Съ косматой гривой на хребтъ...

Но есть тамъ-же не обмолвка, а настоящая фальшь, явное преувеличение красокъ. Мы находимъ эту фальшь въ описании Грузіи:

Счастливый, пышный край земли! Столнообразныя рушны, Звонко-бъгущіе ручьи По дну изъ камней разноцвътныхъ И кущи розъ, и пр.

Что такое *столнообразныя рушны?* Читатель, не видавшій Грузін, вообразить себѣ полуразрушенныя колоннады. Между тѣмъ, на дѣлѣ—это изрѣдка попадающіяся развалины круглыхъ башень, очень грубыхъ, небольшихъ

и невысокихъ построекъ, замѣчательныхъ только тѣмъ, что онѣ, дѣйствительно, круглыя, то есть одни представляють подобіе чего-то архитектурнаго.

Звонкобыгущіе ручьи—конечно хорошее названіе для горныхъ потоковъ, всегда имѣющихъ быстрое теченіе. Но сказать, въ видѣ похвалы, что дно ихъ изъ камней разноцвимныхъ, значитъ почти тоже, что восхищаться разноцвѣтными камнями петербургской мостовой: одинъ потемнѣе, другой посвѣтлѣе, а есть и красноватые.

Нигдѣ у Пушкина не замѣтно расположенія къ такимъ преувеличеніямъ. Мы привели здѣсь примѣры изъ описаній, какъ самые ясные и убѣдительные; но тоже самое должно сказать и о характерѣ лицъ и о свойствѣ изображаемыхъ чувствъ. Пушкинъ не былъ расположенъ ни самъ становиться, ни ставить свои лица на ходули. Тогда какъ многіе поэты стремятся поразить читателей напряженіемъ и надуманною крайностію своихъ чувствъ, онъ становился, чѣмъ дальше, тѣмъ проще и правдивѣе.

Поэтическая сила Пушкина была такъ велика, такъ истинна, что прямота и правдивость была для него самымъ естественнымъ дѣломъ. Онъ не могъ соблазниться ни какою фальшью, ни чѣмъ надуманнымъ, навѣяннымъ, напряженнымъ. И вотъ почему онъ сталъ создателемъ русской поэзіи. Онъ сбросилъ съ себя всѣ иноземныя вліянія, подъ которыми развивалась наша литература; нѣкоторая искусственность и изысканность, которыми она отзывалась до Пушкина, исчезли у него безъ слѣда. Въ поэзіи стали прямо выражаться инстинкты русскаго сердца, стала отражаться русская дѣйствительность.

The state of the s

VI.

Истинная поэзія.

Поэзія есть дѣло таинственное. Откуда она раждается, къ чему ведеть, въ какихъ отношеніяхъ находится къ другимъ явленіямъ человѣческой жизни—все это трудные вопросы, несмотря на то, что въ простѣйшихъ своихъ формахъ поэзія встрѣчается намъ ежеминутно, и что почти каждый человѣкъ есть поэть, хотя-бы и въ очень слабой степени.

Самымъ понятнымъ на свътъ люди считаютъ жизнь, то есть наши потребности, желанія, наслажденія и страданія, практическія ціли и практическіе труды. Все это имћеть для насъ непосредственную достовърность и несомнънное значеніе, ибо все это, какъ говорится, прямо береть насъ за живое. Искусство же не принадлежить къ этой области; это какое-то придаточное и производное явленіе, стремленіе зачёмъ-то переживать нашу жизнь еще разъ, но не въ дъйствительности, а въ воображеніи, въ мечтахъ, какъ говорили во времена Пушкина и Жуковскаго. Человъкъ, положимъ, испытываетъ радость или горе. Ему мало того, что эти чувства дъйствительно присутствують въ его душѣ; онъ начинаеть пѣть, то есть онъ повторяеть свои чувства въ словахъ и звукахъ. Ему для чего-то нужно это воплощение испытываемыхъ имъ движеній души, и легко убъдиться, что оно не есть простое повтореніе. Чувства въ п'єсн'є являются въ н'єкоторомъ преображенномъ видѣ и получаютъ очевидно какое-то другое значеніе.

Странно дъйствують цъсни. Положимъ, смерть отняла у человъка любимое, дорогое существо, и онъ подавленъ своимъ несчастіемъ. Убъжать оть трупа и забыть его—

воть самое практическое, что можно сдълать. Между тъмъ, люди стараются какъ будто растравить свою горесть, упиться ею. Раздаются похоронныя пъсни, и сердца надрываются, и льются слезы даже у тъхъ, кто безъ этого могъ-бы остаться спокойнымъ и равнодушнымъ. Но удивительное дъло! Горе, нарочно вызванное, нарочно повторенное и углубленное, становится легче; оно потеряло свой прежній грубый характеръ, поднялось на какую-то высоту и преобразилось.

Туть мы взяли искусство въ непосредственномъ соприкосновеніи съ жизнью. Но въ другихъ случаяхъ непрактическій характеръ искусства обнаруживается еще ръзче и яснъе. Любитель пъсенъ поеть и грустныя и веселыя пъсни, когда ему не о чемъ ни грустить, ни веселиться. Онъ при этомъ испытываеть и радость и грусть, но очевидно не такія, какія свойственны действительной жизни. Если-бы печаль, ужасъ, негодование и тому подобныя чувства, испытываемыя нами, когда мы отдаемся созерцанію произведеній искусства, были вполн'є похожи на чувства, которыя тіми-же именами обозначаются въ дъйствительности, то мы конечно убъгали-бы отъ большей части художественныхъ произведеній. Между тъмъ, среди веселаго общества часто исполняется мрачный Requiem, и мы готовы каждый день смотръть въ театръ на убійства и сумасшествія. Люди, для которыхъ недоступенъ истинный характеръ художества, которые слишкомъ погружены въ жизнь, иногда удивляются этому. "Охота наводить на себя тоску"! замъчають они. Но и веселая музыка ихъ иногда не веселить, а только раздражаеть. Очевидно, для искусства нужно быть несколько свободнымъ душою, немножко забыть о себъ.

Чтобы потрясти чувства черни древняго Рима, люди

должны были дъйствительно убивать другь друга на сцень, быть дъйствительно растерзываемы звърями. Но мы, когда сидимъ въ театръ, не только не должны думать, что убійства, пожары, сумасшествія совершаются передъ нами дъйствительно, но даже, для полнаго дъйствія искусства, все время должны быть твердо увърены, что все вокругь насъ совершенно благополучно и безопасно. Если-бы мы, забывшись, вообразили, что на сценъ раздаются дъйствительные вопли боли, или дъйствительно совершается убійство, то художественное впечатлѣніе было бы мгновенно разрушено этимъ впечатлѣніемъ жизни, мы-бы почувствовали дъйствительную жалость, дъйствительный ужасъ, и были-бы вырваны изъ міра художества. Даже если мы замътимъ, что актеръ смъется не искусственно, а потому что дъйствительно расхохотался и не можеть удержаться, художественное впечатлъніе нарушается. Очевидно жизнь и искусство-два міра различные. Непремѣнное условіе искусства есть искусственность, то есть чтобы передъ нами была не природа, а только какой-то ея образъ.

Этотъ образъ имѣетъ для насъ особенное значеніе. Несмотря на то, что искусство есть только созерцаніе, чувства, испытываемыя нами при его дѣйствіп, глубже, яснѣе, опредѣленнѣе, чѣмъ дѣйствительныя чувства. Какъ будто краски художественнаго міра гуще, ярче, чѣмъ міра дѣйствительности. Вотъ почему, когда мы говоримъ о предметахъ и явленіяхъ жизни, мы часто недовольствуемся обыкновеннымъ языкомъ, а заимствуемъ слова изъ сферы искусства. "Тутъ есть что-то поэтическое"; "да это романъ"! "какова сцена или карпина"? "случай чисто трагическій, или чисто комическій"; "онъ въ этой драмъ играетъ очень дурную роль" и т. д. Такія выра-

женія обозначають, что мы нашли въ дѣйствительности больше, чѣмъ она обыкновенно даетъ намъ, что она почему-то вдругь окрасилась ярче своего обыкновеннаго цвѣта.

Если мы возьмемъ художниковъ, то отдъльность искусства отъ жизни выступить уже вполнѣ. Они на все смотрять не такъ, какъ обыкновенные люди, то есть они безпристанно видять вокругь себя поэтическое, трагическое, компческое, картины, драмы, -- словомъ все то, что обыкновенному человъку открывается лишь изръдка, когда и въ немъ вспыхнетъ художественная искорка, а многимъ и вовсе не открывается. Но этого мало. Художники умъють, часто по самымъ ничтожнымъ поводамъ, переноситься въ чужую жизнь, или въ свое прошлое, и переживать самыя разнообразныя чувства. И этимъ они занимаются какъ настоящимъ дѣломъ, то есть вмѣсто того, чтобы жить и чувствовать въ действительности, они лучшее свое время проводять въ томъ, что забывають мірь, какъ говорить Пушкинъ, и отдаются чувствамъ, образамъ, лицамъ, возникающимъ въ ихъ воображеніи. Въ этомъ ихъ собственномъ мірѣ не соблюдается никакого порядка времени и мъста, и ходъ его явленій больше всего зависить отъ какого-то глубокаго внутренняго движенія души, называемаго вдохновеніемъ.

Все, что мы сказали, еще не объясняеть намъ сущности искусства, его цъли и происхожденія. Но здъсь указана та его существенная черта, которая никогда не должна быть упускаема изъ виду. Какая-бы ни была цъль искусства и каково-бы ни было его содержаніе, оно всегда будеть какимъ-то преображеннымъ повтореніемъ жизни, созерцаніе котораго даетъ другіе результаты, чъмъ простое соприкосновеніе съ жизнью.

Воть отчего говорять, что искусство есть подражание природи, что оно украшаеть природу, что оно выще природы, что оно есть творчество, что цъль его наслажедение прекраснымь, что оно имъеть примиряющую силу, и т. д. Всъ эти формулы имъють свою справедливую сторону въ томъ, что стремятся выразить нъкоторую разнородность искусства съ дъйствительностю.

Отсюда-же объясняются тѣ уклоненія, въ которыя впадаеть искусство. Стремясь, по самой своей природѣ, подняться надъ дѣйствительностію, оно легко обращается въ ложь, пренебрегаетъ жизнью и ея правдой, пріучаетъ людей жить и довольствоваться воображеніемъ, раздвояетъ ихъ существованіе, обращаетъ ихъ въ существа, которыя вѣчно умиляются, восхищаются, ищутъ прекраснаго и возвышеннаго, слѣдовательно повидимому живутъ очень высокою душевною жизнью, на самомъ-же дѣлѣ часто не обладаютъ никакою дѣйствительною красотою чувствъ.

Изъ той-же существенной черты проистекаетъ наконецъ непониманіе искусства и вражда противъ него.

Въ самомъ дѣлѣ, причину отрицанія искусства составляють не одни его ложныя и дурныя явленія; самая сущность его інедоступна и враждебна многимъ людямъ. Кто весь поглощенъ жизненными интересами, тоть естественнымъ образомъ смотритъ враждебно на это созерцаніе, при которомъ человѣкъ видитъ въ жизни не предметь личной своей дѣятельности, а какое-то зрѣлище, смотритъ на нее почти такъ, какъ смотрѣлъ-бы житель иной планеты, случайно залетѣвшій на землю. Для многихъ-же, никогда не подымавшихся мыслью выше насущныхъ интересовъ, искусство не имѣетъ и этого смысла; оно для нихъ глупая, скучная забава, возможная только для людей ничего не дѣлающихъ.

Все это доказываеть только идеальную природу искусства, которая отъ него неотъемлема, и безъ пониманія которой въ немъ нельзя ничего понять.

Припомнимъ нѣкоторыя слова Пушкина объ искусствѣ. Въ предисловіи къ одной изъ его поэмъ сказано: "твореніе пскусства—обманъ". (Бахчисарайскій Фонманъ, Москва, 1824. Стр. XVII). Такъ выразилъ тогдашній взглядь на дѣло кн. П. Вяземскій. Самъ Пушкинъ обыкновенно называетъ произведенія искусства—вымыслами, напримѣръ:

Надъ вымысломъ слезами обольюсь.

Воть съ какою поразительною наивностію онъ выражаль ту мысль, что область искусства есть нѣчто отдѣльное отъ жизни. Но эти вымыслы и обманы онъ конечно считаль чѣмъ-то очень высокимъ и важнымъ, такъ какъ посвятилъ имъ свою жизнь *). Въ такомъ смыслѣ чего-то высокаго и важнаго употреблено слово обманъ и въ знаменитыхъ стихахъ:

Тымы низкихъ истинъ мнѣ дороже Насъ возвышающій обманг.

Обманъ тутъ не значить мошеничество или ложь, а только нѣкоторый *образъ*, который, хотя бы быль вымысломъ, возвышаеть насъ, давая намъ понимать, въчемъ состоитъ истинная красота человѣческой души. Выше находится стихъ еще болѣе парадоксальный:

Да будеть проклять правды свъть!

Но тотчасъ-же слъдуеть многознаменательное пояснение:

^{*)} Вотъ Пушкинское представленіе настоящаго поэта: "поэзія бываетъ исключительною страстію немногихъ, родившихся поэтами: она объемлетъ и поглощаетъ всв наблюденія, всв усилія, всв впечатлвнія ихъ жизни" (Т. V, стр. 541).

Да будеть проклять правды свёть, Когда посредственности хладной, Завистливой, къ соблазну жадной, Онъ угождаеть праздно!

Вотъ чудесное указаніе на свойства поэзіи. Она, положимъ, есть вымыселъ, обманъ, но такой, который не возбуждаетъ, или, по крайней мѣрѣ, не долженъ возбуждать въ насъ ни зависти, ни соблазна, никакихъ заднихъ мыслей, никакого своекорыстнаго, низкаго желанія. Между тѣмъ, правда, то есть жизнь, дѣйствительность, постоянно не даютъ намъ смотрѣтъ на дѣло безпристрастно и съ высоты; онѣ затрогиваютъ насъ лично, нашъ эгоизмъ, онѣ часто угождаютъ нашимъ низкимъ страстямъ. Нужна поэзія для того, чтобы оторвать насъ отъ своекорыстныхъ помысловъ. Къ несчастію, поэзія недоступна посредственности хладной, а всегда найдется такая правда, которая угодитъ этой посредственности.

Но мы знаемъ, что Пушкинъ былъ правдивъйшій и искреннъйшій изъ поэтовъ. Значитъ, онъ только дурно выражался, называя поэзію вымысломъ и обманомъ, тогда какъ самъ всею душею стремился къ правдъ. Собственнымъ примъромъ онъ показываетъ, что правда есть неизмънное требованіе истиннаго искусства, та внутренняя правда, о которой Аристотель говорилъ, что она истиннъе самой дъйствительности. Дурна та поэзія, которая, подымаясь надъ міромъ, теряетъ чувство правды; не хорошъ и тотъ поэть, кто бережно хранитъ это чувство, но, сознавая свое безсиліе, робко держится за дъйствительность. Пушкинъ въ этомъ отношеніи образецъ поэтовъ; онъ свободно восходилъ на всякія высоты поэзіи, никогда не измъняя правдъ.

29 Янв. 1874.

Къ портрету Пушкина*).

(Husa, 1877, № 18).

Живой души благодаренье За мигъ восторга золотой.

Великую любовь и великую жалость должны мы чувствовать при взглядъ на эти черты. Изъ писателей своихъ и чужихъ русскій человъкъ никого не можетъ любить такъ, какъ Пушкина. Другимъ историческимъ дъятелямъ онъ можетъ удивляться больше, чъмъ ему, признавать за ними больше силы, больше заслугъ; но никого нельзя признать болъе достойнымъ любви, чъмъ Пушкина. И въ этомъ заключается, конечно, заслуга несравненная, въ этомъ самая дорогая, самая лучшая слава нашего поэта. Пушкинъ былъ по размъру своихъ силъ и дъятельности довольно обыкновеннымъ человъ

^{*)} Въ виду состоявшагося утвержденія проекта на памятникъ А. С. Пушкина, имъющій быть воздвигнутымъ въ Москвъ, помъщаемъ рисунокъ этого памятника и портреть нашего великаго поэта.

Обращая вниманіе нашихъ читателей на этотъ портретъ, смѣемъ думать, что, по художественному своему выполненію, онъ стоитъ неизмѣримо выше всѣхъ до сихъ поръ изданныхъ портретовъ А. С. Пушкина: исполненъ онъ спеціально для "Нивы" извѣстнымъ художникомъ Нейманомъ.

комъ; онъ не обнаружилъ преждевременной зрѣлости, не питалъ какихъ-нибудь необычайныхъ идей и плановъ, не шелъ въ разрѣзъ съ окружающими людьми и не совершилъ въ области мысли подвиговъ, которые поставили-бы его выше его современниковъ. Но у него былъ даръ, превосходящій своею цѣнностію всякіе подвиги и усилія, именно—красота душевныхъ чувствъ, та самая красота, которую онъ выражалъ въ своей поэзіи и отъ которой зависѣло и зависитъ все обаяніе этой поэзіи. Ибо Пушкинъ былъ человѣкъ очень простой и очень искренній, и то, что онъ писалъ, было прямымъ выраженіемъ его души.

Эту красоту мало и ръдко понимають, потому что она хоть и чаруеть, но не бросается ръзко въ глаза. Чтобы насъ поразить, обыкновенно нужно что-нибудь рѣзкое, блестящее, шумное; мы скорѣе готовы засмотръться на уродливое и отталкивающее, чъмъ на простое и чистое. Красоту души, выражающуюся въ произведеніяхъ Пушкина, можно всего лучше сравнить съ красотою его языка. На первый взглядъ, пушкинскій языкъ ничего особеннаго не представляеть; только вчитавшись и вдумавшись, можно оценить его несравненную простоту, свободу и безконечно-гибкую силу. Такъ и душевныя чувства Пушкина повидимому не имъють блеска и особенной высоты; но вникая и углубляясь, мы увидимъ въ нихъ такую чистоту, здравую силу, безграничную преданность сердечной святынъ, что будемъ готовы поставить нашего поэта выше всёхъ другихъ "властителей нашихъ думъ". На Пушкинъ не лежитъ ни единаго упрека въ этомъ отношеніи; онъ не воспъль ни единаго злаго и извращеннаго движенія человъческой души, и каждое чувство, имъ воспътое, имъетъ безподобную мъру

красоты и здоровья. Поэтому Пушкина следуеть считать великимъ воспитателемъ своего народа; онъ заставлялъ звучать въ душахъ читателей наилучшія струны, какія въ нихъ только могли отзываться.

Возьмите какія-нибудь существенныя чувства людей: любовь, дружбу, патріотизмъ, религіозное умиленіе, и вы найдете у Пушкина самую правильную форму, самый чистый образъ этихъ чувствъ.

Любовь, вѣчный предметь поэтическихъ пѣсенъ, есть чувство сложное, обнимающее всѣ стороны человѣческой природы и потому способное подниматься до духовной высоты и спускаться до скотской грязи. Въ Пушкинѣ это чувство имѣетъ такую глубину, серьезность и чистоту, какъ ни въ какомъ другомъ поэтѣ. У насъ въ Россіи онъ первый поставилъ женщину на ея мѣсто, первый заговорилъ о любви безъ шутливой веселости, безъ фальшивой восторженности, безъ грубой чувственности, заговорилъ какъ о существенномъ дѣлѣ человѣческой жизни. Свой идеалъ женщины онъ воплотилъ въ Татьянѣ и заставилъ Онѣгина преклониться передъ нею съ уваженіемъ и раскаяніемъ.

Нѣтъ, поминутно видѣтъ васъ, Повсюду слѣдоватъ за вами, Улыбку устъ, движенъе глазъ Ловитъ влюбленными глазами, Вниматъ вамъ домо, пониматъ Душой все ваше совершенство, Предъ вами въ мукахъ изнывать, Блѣднѣтъ и гаснуть —вотъ блаженство!

Воть выражение страсти со всею ея силою и безъ всякаго преувеличения, воть любовь, наполняющая тѣло и душу и потому соединяющая пламенное влечение съ уваженіемъ, даже страхомъ. Въ такой любви не теряются между мущиной и женщиной чисто-человъческія отношенія, а напротивъ, достигаютъ особенно-тонкаго и яснаго развитія.

Я васъ любилъ безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью томимъ; Я васъ любилъ такъ искренно, такъ нѣжно, Какъ дай вамъ Богъ любимой быть другимъ.

Всѣ стихотворенія Пушкина, посвященныя любви, заслуживають въ этомъ смыслѣ внимательнаго изученія. Отъ грубой и веселой чувственности, которую онъ засталь въ ходу и которая лишь отчасти изгладилась отъ моды на приторную сантиментальность и на мечтательность, онъ перешелъ къ сильнымъ, правильнымъ и чистымъ чувствамъ.

Даже въ шутливыхъ непристойностяхъ, которыми онъ заплатилъ довольно большую дань своему времени, нельзя не изумляться тому, что грубое содержаніе вполнѣ закрывается остротою, шалостью, грацією, чѣмъ-нибудь стоящимъ выше грязнаго предмета. Могучая чувственность, которою былъ надѣленъ Пушкинъ отъ природы, была въ немъ вполнѣ покорена духовными чувствами.

Дружба играетъ въ жизни и въ поэзіи Пушкина такую роль, какъ ни у какого другого поэта. Пушкина много любили, но не друзья его прославились своею необычайною преданностью, а онъ знаменитъ тою нѣжностью, которую питалъ къ нимъ. Его Лицейскія годовщины и множество другихъ стихотвореній исполнены необыкновенной задушевности и показываютъ, какъ онъ быль жаденъ до этихъ теплыхъ отношеній, и какъ въ то же время быль въ нихъ искрененъ и простъ.

Изъ края въ край преслѣдуемъ грозой, Запутанный въ сѣтяхъ судьбы суровой, Н съ трепетомъ на лоно дружбы новой, Уставъ, приникъ ласкающей главой... Съ мольбой моей, печальной и мятежной, Съ довърчивой надеждой первыхъ лѣтъ, Друзьямъ инымъ душой предался нѣжной; Но горекъ былъ не-братскій ихъ привѣтъ.

Такъ онъ жаловался и разсказываль тъмъ, кого называль *братьями*, *друзьями своей души*, своими милыми, безцинными.

И какое бы мы жизненное отношеніе ни взяли, мы везд'в найдемъ у Пушкина живой, глубокій отзывъ, всегда найдемъ движенія сердца, поражающія несравненной красотой, несравненною правдою и силою. Кто ясн'ве Пушкина чувствовалъ свое призваніе? Кто жив'ве и правдив'ве выразилъ положеніе поэта?

Не для житейскаго волненья, Не для корысти, не для битвъ, Мы рождены для вдохновенья, Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Но будучи вполнѣ поэтомъ, Пушкинъ былъ въ то же время вполнѣ человѣкомъ, въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Его отношенія къ общественнымъ дѣламъ, къ отечеству, заслуживаютъ тщательнаго изученія. Они очень сложны, но живая правда прорывается въ нихъ широкими молніями. Покойный М. П. Погодинъ указывалъ на то, что Пушкинъ предсказалъ не только освобожденіе крестьянъ, но и самую форму, въ которой произойдеть это событіе. Когда Пушкину было двадцать лѣть (1819), онъ былъ пламеннымъ поклонникомъ свободы и ненавидѣлъ наше крѣпостное право; и воть,

изображая картину этого рабства, онъ съ негодованіемъ и надеждой воскликнулъ:

Увижу-ль я, друзья, народъ неугнетенный, И рабство падшее по манію царя, И надъ отечествомъ свободы просвъщенной Взойдеть-ли наконецъ прекрасная заря?

Мы дождались совершенія этого пророчества; рабство пало на нашихъ глазахъ именно по манію царя.

Другіе два стиха Пушкина часто были повторяемы, какъ формула, въ которой ясно и просто выражается историческое положеніе Россіи:

Славянскіе-ль ручьи сольются въ Русскомъ морѣ, Оно-ль изсякнетъ,—воть вопросъ!

Эти стихи, можеть быть, возникли не безъ вліянія Погодина, бывшаго хорошимъ пріятелемъ Пушкина. Но вообще, у Пушкина нужно учиться политическому взгляду на Россію. Онъ первый понялъ сердцемъ, что Европа для насъ чужой міръ, и сказалъ ей, какъ до него никто не рѣшился-бы сказать:

Оставьте: это споръ славянъ между собою....

Оставьте насъ: вы не читали, Сіи кровавыя скрижали...

Онъ сердцемъ почувствовалъ, что наша сила въ томъ единодушіи и самоотверженіи, которое воплощается для насъ въ повиновеніи нашему царю. Хотя была минута, выраженная имъ стихомъ:

Въ Москвъ не Царь, въ Москвъ Россія! но единодушіе царя и народа воспъто Пушкинымъ въ лучшемъ его смыслъ и во всемъ его могуществъ. Когда поэть грозиль врагамъ Россіи, онъ, какъ одну изъ самыхъ страшныхъ угрозъ, говорилъ имъ:

Иль русскаго царя уже безсильно слово?

Всѣ русскіе люди, конечно, знають этоть вопросъ и повторяють его. Въ минуты унынія, когда надвигаются великія внѣшнія опасности, или когда внутреннее разстройство раздираеть государство, мы говоримъ:

Иль русскаго царя уже безсильно слово?

И въ минуты гордости, когда мы предаемся великимъ надеждамъ и хотимъ внущить страхъ недругамъ, мы говоримъ точно такъ же:

Иль русскаго царя уже безсильно слово?

Патріотизмъ есть чувство очень сложное; онъ является часто въ видъ грубыхъ, слъпыхъ пристрастій къ своему, въ видѣ закоснѣлости въ привычкахъ и нравахъ; но онъ можеть восходить и до самой чуткой и возвышенной преданности лучшимъ началамъ своего народа. Таковъ быль патріотизмъ Пушкина; слепаго пристрастія въ немъ не было. Чтобы убъдиться въ этомъ, стоить прочесть сужденія поэта о нашей литературь, то есть о той области, къ которой онъ былъ наиболье пристрастень, въ которой Дельвига и Баратынскаго готовъ былъ ставить выше себя. Но еще лучше-прочесть его отрывокъ "Рославлевъ", начало повъсти, въ которой онъ хотѣлъ въ поэтической формѣ противопоставить свой настоящій патріотизмъ неправильному патріотизму Загоскина и его поклонниковъ. Тамъ есть описаніе московскаго общества въ 1812 году, описаніе даже чуть-ли не болье рызкое, чымь картины Л. Н. Толстого вь "Войни и мири"; эти картины, какъ извъстно, возбуждали и возбуждають негодование узкихъ патріотовъ! но мы думаемъ, что именно у Пушкина и Л. Н. Толстого слъдуетъ учиться истинному патріотизму.

Религіозность Пушкина, сказавшаяся въ послѣдніе его годы, имѣетъ тотъ-же характеръ чистоты и силы, какъ и другія движенія его души. Что прекраснѣе и проще его любимой молитвы?

Владыко дней моихъ! Духъ праздности унылой, Любоначалія, змъи сокрытой сей, И празднословія не дай душъ моей; Но дай мои мнъ зръть, о Боже, прегръщенья, Да братъ мой отъ меня не приметъ осужденья, И духъ смиренія, терпънія любви И цъломудрія мнъ въ сердцъ оживи.

И такъ, это была душа необычайной красоты, отзывавшаяся на все высокое, что встръчалось ей въ жизни, и предававшаяся ему искренно и живо, безъ напускной восторженности, безъ сантиментальности и мечтательности, безъ всякой фальши. Въ этой душъ не было неизлъчимыхъ язвъ, не было дурныхъ чувствъ, облекающихся въ поэтическій и грандіозный видъ.

И потому понятно, какъ онъ долженъ былъ страдать, какъ на него должны были обрушиваться несчастіе за несчастіемъ, пока наконецъ не случилось то несчастіе, которое вырвало его изъ ряда живыхъ. Пушкина часто упрекаютъ въ увлеченіяхъ и непостоянствъ; но въдь никто изъ насъ не родится зрълымъ человъкомъ, и если можно указать на людей, подлежащихъ упреку гораздо меньше Пушкина, то можетъ быть ихъ спасла вовсе не твердость души, а только слабость ея стремденій. Пушкинъ же такъ былъ полонъ жизни, что долженъ былъ подпасть соблазнамъ; и гораздо большее достоинство нужно полагать не въ томь, что онъ отъ

нихъ уклонился, а въ томъ, что онъ поборолъ и отъ отъ нихъ очистился. Когда онъ выступиль въ жизнь, его окружили соблазны необыкновенно сильные и увлекающіе. Во-первыхъ—свободомысліе, тогдашній нашъ революціонаризмъ, подготовлявшій декабрьскій мятежъ и бывшій въ полномъ цвьту. Другой соблазнъ былъ— • большой свъть, тогдашнее избранное общество, открывшее къ себъ доступъ поэту за его талантъ и манившее молодаго человъка своимъ блескомъ и тщеславіемъ. Прибавьте сюда кутежъ, разгулъ неслыханныхъ размъровъ, который былъ въ модъ у тогдашней молодежи наравнъ со стихами, дуэлями и свободомысліемъ. Сама литература была не чужда соблазновъ; Пушкинъ выросъ на французской риторической и чувственной словесности, и его стремились покорить съ одной стороны сантиментальность Жуковскаго, съ другой — эгоистическое разочарованіе Байрона. Представимъ-же себъ двадцатипятилътняго юношу, одареннато душою подвижною и кипящею и тёломъ, въ которомъ еще было много африканской крови, и мы поймемъ, какъ естественно и неизбъжно онъ долженъ быль поддаться обступившимъ его соблазнамъ и какая великая сила обнаружилась въ его побъдъ надъ ними. Эти соблазны, которыхъ не онъ искалъ, а которые сами его искали, сами тянули его въ себя, были его несчастіемъ, бъдою, постигшею и перенесенною имъ. Когда онъ вышелъ изъ-подъ ихъ вліянія, онъ иногда горько жаловался на эту свою судьбу. Ему не было еще тридцати лътъ, когда онъ писалъ:

Я вижу—въ праздности, въ неистовыхъ пирахъ, Въ безумствъ гибельной свободы, Въ неволъ, въ бъдности, въ чужихъ степяхъ Мои утраченные годы; Я слышу вновь друзей предательскій привѣтъ На играхъ Вакха и Киприды, И сердцу вновь наноситъ хладный свѣтъ Неотразимыя обиды.

(Это писано 19 мая 1828 г.). Передъ концомъ жизни онъ повторилъ ту-же жалобу, и еще трогательнъе. Онъ писалъ:

Въ уныны часто Я помышлялъ о юности моей, Утраченной въ безплодныхъ испытаньяхъ, О строгости заслуженныхъ упрековъ, О дружбъ, заплатившей мнъ обидой За жаръ души довърчивой и нъжной— И горькія кипъли въ сердцъ чувства!

И этотъ отрывокъ (1835 года), и предъидущій — были тайными изліяніями Пушкина и не назначались имъ къ печати. Это его искреннія, свободно выраженныя чувства; и тутъ есть все, о чемъ мы говорили: и безумство гибельной свободы и хладный свить, и неистовые пиры и, наконецъ, обида и предательскій привить съ той стороны, съ которой они были всего больнъе для Пушкина, со стороны дружбы.

Дъ, съ такою душою, какая была у Пушкина, онъ долженъ былъ много страдать. Это была душа, какъ онъ самъ говоритъ, довърчивая и нъженая; вообразимъ же себъ обыкновенные недостатки нашего общества: русское недоброжелательство, русское злословіе, русское взаимное недовріе, наконецъ русское невѣжество и русскій цинизмъ, и мы поймемъ, что душевныя чувства Пушкина были непрерывно оскорбляемы. Не только свымъ наносилъ ему неотразимыя обиды, но и въ любви, въ дружбъ, въ патріотическихъ и религіозныхъ чувствахъ онъ стра-

далъ отъ противоръчія своихъ стремленій съ тьмъ, что находилъ вокругь себя. Онъ, напримъръ, возвель любовь къ женщинъ до ея чистой силы, даже до благоговпыя предъ святыней красоты; понятно, что онъ долженъ былъ натолкнуться на жестокія разочарованія; какъ онъ жалуется на друзей, такъ онъ еще раньше и открыто жаловался на женщинъ:

Нечисто въ нихъ воображенье, Не понимаетъ насъ оно, И признакъ Бога—вдохновенье Для нихъ и чуждо, и смѣшно. Когда на память мнѣ невольно Прійдетъ внушенный ими стихъ, Я содрогаюсь, сердцу больно, Мнѣ стыдно идоловъ моихъ. Къ чему, несчастный, я стремился? Предъ кѣмъ унизилъ гордый умъ? Кого восторгомъ чистыхъ думъ Боготворить не устыдился?

Если мы сведемъ все это вмъстъ, если вспомнимъ, какъ бурно текла жизнь поэта среди этихъ безпрерывныхъ обидъ и какъ доведена была до своего безвременнаго конца, то безконе чная жалость овладъетъ нами Дорого поплатился Пушкинъ за тонкость своихъ чувствъ, за безподобную красоту своихъ душевныхъ движеній. Истинной чувствительности въ немъ было во сто разъ больше, чъмъ въ Карамзинъ и Жуковскомъ и только неистощимая бодрость и сила духа залечивала безпрерывныя раны и сохраняла ясность мысли. И все-таки, стихотворенія послъдняго года его жизни (1836) дышатъ глубокою, суровою грустью. На лицейскомъ праздникъ этого года онъ началь читать одно изъ нихъ:

Была пора: нашъ праздникъ молодой Сіялъ, шумѣлъ и розами вѣнчался...

и вдругъ залился слезами и не могъ продолжать чтенія. И нѣтъ ничего родостнаго въ тѣхъ стихахъ, которые обыкновенно стоятъ въ самомъ концѣ драгоцѣнной книги его лирическихъ произведеній:

Велѣнью Божію, о муза, будь послушна! Обиды не страшись, не требуй и вѣнца: Хвалу и клевету пріемли равнодушно И не оспаривай глупца.

3 апр.

Борисъ Годуновъ на сценъ.

(Гражданинъ, 1874).

Письма къ редактору (Ө. М. Достоевскому).

Письмо первое.

(По поводу новой оперы "Борисъ Годуповъ").

Вы нѣсколько разъ выражали желаніе, чтобы я писалъ о современныхъ явленіяхъ нашей литературы, о ея последнихъ, текущихъ новостяхъ. Я отклонялъ отъ себя это занятіе, потому что находиль его необыкновенно труднымъ. Если писать, думалъ я, то нужно писать ясно и доказательно; я всегда (открою вамъ по секрету) старался такъ писать. Но что вы прикажете дёлать съ такъ-называемыми новостями текущей литературы? Какъ писать ясно и доказательно о такихъ расплывающихся, туманныхъ, спутанныхъ, несложившихся, недостигшихъ никакого смысла и значенія явленіяхъ? Я чувствую себя въ величайшемъ смущеніи среди этихъ полумыслей, полуобразовъ, какихъ-то попытокъ и потугъ сказать неизвъстно что. Да и какая нужда подвергать все это строгому анализу? Да и какъ это сдълать, когда нъть къ такому дълу никакой охоты?

Однакожь, такъ какъ я не отстаю слишкомъ далеко отъ русской литературы и даже вообще отъ русскаго художества, читаю журналы, смотрю новыя картины, слушаю новыя оперы, то я имъю возможность сдълать вамъ угодное, т. е. писать отзывы о нашихъ новостяхъ. Но я не могу дълать этого такъ, какъ слъдовало-бы, т. е. точно, ясно, доказательно. Если вы меня освободите отъ этихъ стъснительныхъ условій, если позволите не соблюдать ни порядка, ни полноты, ни связи, то я готовъ писать вамъ всякія замътки, какія придутъ мнѣ на мысль. Я буду стараться объ одномъ,—чтобы вы меня поняли, чтобы вы не считали этихъ замътокъ недостойными вниманія. Это будутъ не искусственныя и поддъльныя, а почти настоящія письма къ вамъ. Хотите—печатайте, хотите нътъ; это уже ваше дъло.

Одно явленіе сильно занимаетъ меня въ послѣднее время; оно показалось мнъ чрезвычайно интереснымъ, такъ сказать, знаменательнымъ. Это новая опера-"Борисъ Годуновъ". Въ настоящую минуту идетъ объ ней ожесточенная полемика въ газетахъ; успъхъ оперы былъ необыкновенный, композитора усердно вызывали много разъ въ каждомъ изъ четырехъ представленій, бывшихъ передъ самымъ постомъ; но въ тоже время опера возбудила горячую вражду и негодованіе въ людяхъ самыхъ мирныхъ и, такъ сказать, постороннихъ делу. Я слушаль оперу, изучаль либретто, разговариваль съ врагами и приверженцами, читалъ рецензіи музыкальныхъ критиковъ, — и до сихъ поръ еще не пришелъ въ себя оть изумленія. Представьте себъ, что въ этой оперъ самымъ непонятнымъ образомъ сочетались всевозможные элементы, которые у насъ бродять на Руси, что они явились въ ней въ самыхъ грубыхъ своихъ формахъ и образовали цёлое, безпримёрное по своей чудовищности. Возьмите что хотите, —вы все здёсь найдете. Наше невѣжество, наша безграмотность—есть; наша музыкальность, пѣвучесть—есть. Отрицаніе искусства—есть; незаглушимая художественная жилка—есть. Любовь къ народу, къ его пѣснѣ—есть; презрѣніе къ народу—есть. Уваженіе къ Пушкину—есть; непониманіе Пушкина—есть. Дерзкое стремленіе къ оригинальности, къ самобытности—есть; рабство передъ самою узкою теорією—есть. Талантъ—есть; совершенная безплодность, отсутствіе художественной мысли—есть.

Такимъ образомъ получился въ результатъ хаосъ невообразимый. Представьте притомъ, что это—опера. Вообразите огромную залу, оркестръ, чудесныя декораціи (оставшіяся отъ постановки Пушкинскаго "Бориса"), почти всъхъ нашихъ пъвцэвъ и пъвицъ, и публику, занявшую всъ мъста и рукоплещущую съ восторгомъ. Каково зрълище!

Не знаю, съ чего и начать. Я употребиль одно грубое слово—невъжество, безграмотность; но увъряю—это слово точное. Авторъ передълалъ Пушкинскую драму; онъ измѣнилъ сцены и рѣчи, передѣлалъ стихи и прибавилъ много своихъ. И тутъ обнаружилось, что онъ не имѣетъ понятія не только о драматизмѣ, не только о томъ, что такое хорошіе стихи, но и о томъ, что такое стихъ, что значитъ стихотворный размѣръ. Онъ просто думаетъ, что стихъ— коротенькая строчка, въ началѣ которой, вмѣсто маленькой, стоитъ большая буква. Соображенія, которыя руководили автора при его передѣлкахъ и сочиненіяхъ, странны до высшей степени. Вы помните начало сцены между Мариною и Самозванцемъ:

Марина.

Самозванецъ.

Волшебный, сладкій голосъ!
Ты-ль наконецъ? Тебя-ли вижу я
Одну со мной, подъ сънью тихой ночи?
Какъ медленно катился скучный день,
Какъ медленно заря вечерняя гасла,
Какъ долго ждалъ во мракъ я ночномъ!

Эти божественные стихи сами по себѣ музыка, и всякій понимающій это композиторъ схватился бы за нихъ съ восхищеніемъ, какъ, напримѣръ, Глинка схватился за лучшіе стихи Руслана и Людмилы: "Дѣла давно минувшихъ дней", "Ложится въ полѣ мракъ ночной", "О поле, поле, кто тебя", "Она мнѣ жизнь, она мнѣ радость", и. т. д.

Но нашъ авторъ недоволенъ Пушкинскими стихами и замѣнилъ ихъ своими. Не угодно-ли послушать?

Марина.

Царевичъ!.. Димитрій!.. Царевичъ!..

Самозванецъ.

Она!.. Марина...
Здёсь, моя голубка, красавица моя!
Какъ томительно, какъ долго
Длились минуты ожиданія,
Сколько мучительныхъ сомнёній,
Сердце терзая, свётлыя думы мои омрачали,
Любовь мою и счастье проклинать заставляя!

Вы видите, что это не стихи, а чистая проза, притомъ проза плохая, безъ звука и связи, что, напримъръ, послъдніе два стиха есть наборъ словъ, ничего опредъленнаго не выражающій, реторика самаго низкаго раз-

бора. Къ чему тутъ свытлыя думы? Зачъмъ проклинать свое счастье?

Изумителенъ тотъ музыкантъ, который предпочитаетъ писать музыку на прозу, а не на стихи, который даже не различаетъ прозы отъ стиховъ (а вѣдь музыка всегда имѣетъ размъръ, и ей слѣдовало бы знать въ этомъ толкъ); но увѣряю васъ, тутъ есть вещи еще болѣе изумительныя. По всему видно, что композитору стихи Пушкина показались слабыми, невыразительными, и онъ усилилъ ихъ, точно такъ, какъ и вообще онъ усилилъ всю драму. Композитору казалось, что у Пушкина мало нѣжности, и вотъ онъ поставилъ:

Здъсь, моя голубка, красавица моя!

Вышло гораздо больше чувства.

Композитору казались неумѣстными и негодными для музыки слова о съни тихой ночи, о томъ, какъ катился день, какъ заря вечерняя гасла. Онъ вѣдь реалисть въ музыкѣ; онъ сейчасъ подумалъ, что ему пришлось бы изображать звуками и тихую ночь, и теченіе дня, и погасаніе зари. Кстати ли это? И вотъ онъ выкидываеть все это и ставитъ свои слова: томительно, мучительныя сомнюнія, терзаніе сердца и даже проклинаніе своего счастья! Вотъ это хорошія слова, на которыя можно написать сильную музыку.

Вотъ вамъ примъръ реализма и нынъшняго художественнаго пониманія. Мы уже не знаемъ сами, что и для чего дѣлаемъ; мы забыли, что музыка, стихи, слова, краски, составляютъ только выраженіе, внишнюю срорму чувства или мысли, а не самое чувство, не самую мысль. Самозванецъ говоритъ о зарѣ, о тихой ночи, о томъ, какъ катился день, но онъ не это хочетъ выразить, онъ вы-

ражаеть томленіе и нѣжность, которыя его наполняють. Въ прежнія времена это понимали и подъ буквой, подъ словомъ умъли видъть ихъ внутреннее значение: но нынче всякое не-прямое выражение кажется страннымъ, неестественнымъ, наконецъ непонятнымъ и безсмысленнымъ. И такимъ образомъ пришли многіе къ убъжденію, что вообще искусство есть безсмыслица. Ибо, если мы понимаемъ только сотую долю того, что выражаетъ искусство, то остальныя девяносто девять долей намъ покажутся лишними. Нынче часто разсуждають такъ: зачёмъ писать картину, если тоже самое можно выразить въ небольшой журнальной стать В: И наобороть: въ картинъ должно находиться только то, что можеть быть изложено въ хорошей журнальной статьъ; все остальное вздоръ. Между тъмъ, каждое искусство имъетъ свои задачи, имъеть предметы, которые только одно оно можеть изображать. Живописецъ не можеть словами сказать того, что онь выражаеть красками, музыканть не можеть нарисовать того, что онъ выражаеть звуками. Окруженные толпою людей, которые настойчиво требують отчета, а понимать не хотять, бъдные художники, недостаточно сильные своимъ талантомъ, теряются, стыдятся самыхъ лучшихъ своихъ вдохновеній и уродують свои пріемы и свои произведенія.

Что такое музыка? Она основана на чудесномъ соотношени, въ которомъ находятся звуки съ настроеніями цуши. Звуки имѣють выразительность сами по себѣ, безъ словъ, безъ обстановки, безъ всякой связи съ другими предметами. Такъ точно и краски имѣють свой характеръ, свою силу, независимо отъ предметовъ, на которыхъ онѣ лежатъ. Но краски требують для своего проявленія пространства и слѣдовательно неизбѣжно связываются съ предметами, объективируются; звуки же требують для себя одного времени, и потому, изъ всѣхъ выраженій человѣческой души, музыка есть самое субъективное, наиболѣе близкое къ самой душѣ. Вотъ почему музыкой можно выразить съ удивительною ясностію самыя глубокія, самыя тонкія душевныя движенія, не поддающіяся другимъ способамъ выраженія. Вотъ почему, съ другой стороны, музыка, можно сказать, естественнѣе другихъ искусствъ и, въ видѣ пѣнія, явилась раньше всѣхъ ихъ— и больше всѣхъ распространена. Даже птицы поютъ, не имѣя ни словъ, ни понятій, никакихъ зачатковъ воплощенія своихъ чувствъ инымъ способомъ.

Но являются реалисты и начинають недоумъвать, что значать и что доказывають всъ эти звуки, раздающіеся постоянно на всъхъ мъстахъ земнаго шара. Они говорять, что это владычество музыки неестественно и безсмысленно; что оно основано на идеализаціи, фальши; что музыка должна выражать что-нибудь опредъленное, ясное, что сама по себъ она, очевидно, ничего не значить, а годится только для уясненія и усиленія чего-нибудь другаго, имъющаго дъйствительный смысль. И такъ, музыка должна обратиться въ средство, пойти, напримъръ, на службу другаго искусства, всего ближе, разумъется, поэзіи. А поэзія тоже должна быть на службъ, именно проводить пдеи; а идеи тоже сами по себъ ничто, а должны служить жизни. Жизнь же уже сама по себъ хороша, даже безъ музыки, безъ поэзіи и безъ идей.

Вотъ нѣкоторыя черты этой новой теоріи. Мнѣ хотѣлось особенно обратить ваше вниманіе на ея противоестественность. Музыка вещь такая натуральная, что какъ скоро надъ нею начинають мудрить, выходить очевидное насиліе природѣ. Отрицать музыку гораздо

труднее, чемъ, напримеръ, отрицать естественность стиховъ, фигуральныхъ и метафорическихъ выраженій. Стихъ можно (повидимому) замѣнить прозою, и метафору точнымъ выраженіемъ. Но музыку не на что переводить,она неразложима. Наши новаторы въ своихъ усиліяхъ создать музыку болбе естественную, чемъ какъ она есть, дошли до удивительной уродливости. Говорить и пъть-два дъла одинаково естественныя, одинаково понятныя, но притомъ и совершенно различныя. Говоритъ человікь, такъ онъ говорить, а не поеть; поеть-такъ поеть, а не говорить. Между тёмъ, любимою формою нашихъ музыкантовъ сделался речитативъ, то есть-ни то ни се, ни говоръ ни пѣніе, а нѣчто среднее. Речитативъ всегда употреблялся въ операхъ, но всегда считался самымъ искусственнымъ пріемомъ; онъ хорошъ былъ только для комических сцень. Между тёмъ, новаторы обратили всю оперу въ речитативъ, на томъ основаніи, что онъ болье подходить къ обыкновенной рычи, и потому-де есть самая естественная музыка. Естественность музыки они измъряють не мърою взятою въ самой музыкъ, а мърою ей чужою (т. е. разговоромъ), -- понятно, что они пришли къ величайшей неестественности. Они похожи на поэта, который усиливался бы, чтобы его стихи походили на прозу (сравнение для васъ понятное, но для нашего композитора, да и для многихъ, —увы! совершенно недоступное), или на того архитектора, который ради натуральности раскрашиваль мёдныя колонны подъ дубъ. Чувствую, что эти сравненія слабы; ихъ нужно увеличить въ тысячу разъ, чтобы приблизиться къ тому, что делается въ музыкъ.

Я не думаю сказать, чтобы речитативы новыхъ оперъбыли дурны; напротивъ, они часто превосходны, и при-

выкнувъ, ихъ можно слушать съ удовольствіемъ; но это все-же не пѣніе, не полная музыка. Бѣдные композиторы это чувствуютъ сами; гдѣ только можно, они вставляють хоры и пъсни. И въ этомъ, какъ и во многомъ другомъ, просто жалко видѣть, какъ люди стараются сами себя обмануть!

Такъ-то изъ стремленія къ $npae \partial n$ можеть выйти самая уродливая ложь и неестественность.

Но набралось такъ много говорить, что приходится отложить до следующаго письма.

Письмо второв.

Обращаюсь къ нашей оперъ. Я хотъль бы разсказать вамъ ея содержаніе, чтобы вы могли судить, какая музыка можеть быть написана на такой удивительный сюжеть.

Композиторъ, какъ я уже сказалъ, усилилъ драму Пушкина; онъ очевидно находилъ, что у Пушкина все блѣдно, слабо, неясно,—и постарался раскрасить, поднять тонъ, поставить сильнѣйшія ударенія. Вышла большая суматоха на сценѣ. Публика смотритъ и находитъ, что опера очень занимательна.

И вотъ куда насъ завелъ Шекспиръ! Да, настоящая опера есть очень хорошій образчикъ того, какъ мы понимаемъ искусство вообще и Шекспира въ особенности. Драмы Шекспира, какъ извѣстно, представляютъ постоянную, почти правильную смѣсь сценъ трагическихъ и торжественныхъ съ вульгарными и комическими. Поэтъ употреблялъ этотъ пріемъ очевидно для контраста, для того, чтобы оттѣнить одно другимъ, чтобы трагизмъ выступалъ

ярче рядомъ съ пошлостію, и пошлость выдавалась сильнѣе на трагическомъ фонѣ. Пушкинъ подражалъ въ этомъ случаѣ Шекспиру и въ "Борисѣ Годуновѣ" перемежилъ серьезныя сцены комическими. Но композиторъ понялъ дѣло по своему; онъ комическія сцены принялъ за главныя; онъ ихъ развилъ, разработалъ и сдѣлалъ изъ нихъ главное содержаніе оперы. Первое и послѣднее дѣйствіе у него—сплошь комическія; сцена въ корчмѣ—главный перлъ его оперы; судите-же—какое цѣлое изъ этого выходитъ!

Первыя три сцены Пушкинскаго "Бориса" изображають возведение Бориса на царство, изображають въ торжественныхъ и величавыхъ чертахъ.

Москва пуста; во слѣдъ за патріархомъ Къ монастырю пошелъ и весь народъ.

Не внемлеть онъ ни слезнымъ увѣщаньямъ, Ни ихъ мольбамъ, ни воплю всей Москвы, Ни голосу Великаго Собора.

Вся Москва Сперлася здѣсь. Смотри: ограда, кровли, Всѣ ярусы соборной колокольни, Главы церквей и самые кресты Унизаны народомъ.

Что за шумъ? Народъ завылъ: тамъ падаютъ, что волны, За рядомъ рядъ... еще... еще!

Казалось бы, что за раздолье для композитора! Какая картина, какіе звуки могли бы выйти!

Но Пушкинъ, слъдуя Шекспиру, примъшалъ къ этой картинъ комическія черты. Въ третьей сценъ (Дъвичье

поле. Новодъвичій монастырь. Народъ.) предполагается, что вся глубина сцены залита народомъ, и тамъ, вдали отъ зрителей, у воротъ монастыря происходитъ главное дъйствіе. Впереди же, передъ самыми зрителями, находится край толпы, и тутъ баба возится съ своимъ ребенкомъ и происходятъ такіе разговоры:

Одинь (*muxo*). О чемъ тамъ плачутъ?

Другой.

А какъ намъ знать? То въдаютъ бояре, Не намъ чета.

Одинъ. Всѣ плачутъ, Заплачемъ, братъ, и мы.

Другой.

Да слезъ-то нѣть. Что тамъ еще?

Вотъ эти-то комическія вставки композиторъ приняль за главное содержаніе сцены; онъ ихъ развиль, усилиль и составиль изъ нихъ прологь. Опера открывается тѣмъ, что на сценѣ толпа народу. Выходить приставъ съ дубиною въ рукахъ и, махая ею, кричить (т. е. поеть):

"Ну, что-жъ вы? что-жъ вы идолами стали? Живо на колъни! Ну-же! Да ну! Эко чертово отродье!..."

Народъ становится на колѣни и начинаетъ хоромъ пѣть, прося Бориса смиловаться и принять царство.

Ho только-что приставъ отходить, народъ замолкаеть и начинаетъ переговариваться.

Митюхъ, а Митюхъ, чего оремъ?

Митюха.

Во-на! почемъ я знаю.

Приставъ снова является, и опять заставляетъ народъ пъть тотъ же хоръ:

> На кого ты насъ покидаешь, Отецъ нашъ! и пр.

Ахъ, какъ это натурально и безподобно! Должно быть это такъ именно и происходило. Въроятно бабъ и мужиковъ тогда предварительно выучивали пъть хоромъ эти стихи, потомъ гнали ихъ дубинами къ монастырю, и тамъ, по приказу приставовъ, они повторяли этотъ хоръ сколько угодно. И эти пъвчіе все-таки были такъ глупы, что не знали, о чемъ и зачъмъ они поютъ. Вотъ она—художественная правда! Это не то, что арія, которую поетъ одинъ человъкъ,—дъло неестественное и невозможное.

Г-нъ Кюи, написавшій на оперу г. Мусоргскаго критику и совершенно дружелюбную, и въ тоже время безпристрастную, приходить въ восторгъ отъ начала оперы. "Первая сцена", говоритъ онъ, "превосходна. Основная тема чрезвычайно удачна, чисто въ народномъ характерѣ и прекрасно выражаетъ насильственно внушенную мольбу народа изъ-подъ палки пристава. Эта насильственность еще явственнъе при повтореніи темы полу-тономъ выше, при упорномъ сопровожденіи одной назойливой фразы въ басахъ. Фразы, которыми перебрасывается народъ между собою, также неукоризненны, живы, мѣтки, правдивы, характерны, музыкальны ("И вздохнуть не дастъ проклятый!"), съ типической, превосходной декламаціей ("Ой, лихонько, совсѣмъ охрипла!"). Каждая изъ этихъ

фразъ—плодъ свѣжаго и сильнаго вдохновенія. И вся музыка этой сцены льется такъ естественно, такъ плавно..." (С.-Петерб. Вѣдом. 6 февр.).

Вполнѣ полагаюсь въ этомъ случаѣ на музыкальное пониманіе г. Кюи; осмѣлюсь даже подтвердить его отзывы на основаніи собственнаго впечатлѣнія; замѣчу только, что эта выразительная музыка не была мнѣ пріятна, а возбудила лишь самое раздражающее и безпокойное ощущеніе. Вѣдь вся эта сцена верхъ неестественности и нелѣпости; вѣдь это нескладица, неимѣющая тѣни смысла. Какимъ же образомъ вы хотите, чтобы мы наслаждались музыкой отдѣльныхъ фразъ и хоровъ, когда эти фразы и хоры, взятые въ связи, не представляють никакого общаго смысла, не имѣють никакой удобопонятной связи съ декораціями, костюмами и содержаніемъ, взятымъ для оперы?

За сценою, которую мы описали, тотчасъ слъдуетъ выходъ избраннаго царя Бориса къ народу. Народъ славитъ царя торжественнымъ хоромъ и раздается радостный звонъ колоколовъ. Такъ какъ, чтобы выиграть время и не мънять декораціи, эта сцена въ представленіи ничъмъ не отдълена отъ предыдущей, то г. Кюи справедливо замъчаетъ, что она "поражаетъ нелипостью связи съ предыдущей сценой". (Тамъ же, столбецъ 5). "Желаніе не мънять здъсь декорацію очень понятно, но, чтобъ коть сколько-нибудь сгладить этотъ абсурдъ, слъдовало бы минуты хоть на двъ опустить занавъсъ между этими сценами" (столб. 1).

Въ этомъ случав я рвшаюсь противорчить г. Кюн. Конечно, нелвпость внишней связи двухъ сценъ была бы уничтожена предлагаемымъ имъ средствомъ; но я нахожу, что нелвпость внутренней связи нисколько не уничто-

жилась бы, даже еслибы декорація была другая, и если бы занавѣсь быль спущень на четверть часа. Какую осмысленную связь можно найти между двумя сценами, изъ которыхъ въ первой народъ изъ-подъ палки проситъ Бориса и самъ не понимаетъ, что онъ говоритъ и дѣлаетъ, а во второй встрѣчаетъ новаго царя радостно и торжественно? Вѣдь это тотъ же народъ, и сколько ни мѣняйте декорацій, сколько ни опускайте занавѣса, внутреннее противорѣчіе останется. Нѣтъ возможности слушать равнодушно подобную нескладицу.

Вы поймете послѣ этого, сколько вѣрнаго заключаетъ въ себѣ слѣдующій общій отзывъ г. Кюн объ оперѣ г. Мусоргскаго:

"Въ цъломъ, либретто не выдерживаетъ критики. Въ немъ нътъ сюжета, нътъ развитія характеровъ, обусловленнаго ходомъ событій, нётъ цёльнаго драматическаго интереса. Это рядъ сценъ, имѣющихъ, правда, нѣкоторое прикосновение къ извъстному факту, но рядъ сценъ расшитыхъ, разрозненныхъ, ничемъ органически не связанныхъ. Вы смотрите каждую сцену съ интересомъ, но каждая изъ нихъ составляетъ отдёльное цёлое, безъ связи съ предыдущимъ и съ последующимъ, такъ что васъ вовсе не занимаетъ, что будетъ дальше. Можно эти сцены перем'вшать, переставить: можно любыя изъ нихъ выкинуть, вставить новыя, и опера отъ этого не измънится, потому что "Борисъ Годуновъ" не опера, а только рядъ сценъ, пожалуй музыкальная хроника. Конечно, отчего не писать музыку и на отдёльныя сцены; въдь и либретто "Руслана" представляеть тоже самое, что однако не мѣшало Глинкѣ написать на него геніальную музыку; но все же, жалко, что въ этомъ случав авторъ добровольно и сознательно лишаетъ себя силы,

происходящей отъ *циьлости впечатльнія*. Что же касается до отдѣльныхъ сценъ, то всѣ онѣ представляютъ очень интересныя музыкальныя задачи. Жаль только, что г. Мусоргскій не придерживался строже Пушкина: омелодраматизировалъ Бориса съ его чураньемъ, ввелъ новое ходульное лицо, іезуита, и многіе превсходнѣйшіе стихи Пушкина замѣнилъ другими, весьма посредственными, подчасъ безвкусными. Послѣднее—просто непростительно". (Столб. 3).

Въ этомъ отзывѣ не только нѣтъ ничего преувеличеннаго, но напротивъ, это самый снисходительный и дружелюбный отзывъ, какой только можно сдёлать. Г. Кюи слишкомъ много уступаеть г. Мусоргскому. Онъ говорить, что только въ цълой оперъ нъть связи, нътъ цъльности впечатленія, а объ отдельныхъ сценахъ говоритъ такъ, какъ будто въ нихъ есть связь и цёльность; между тьмъ о каждой сцень нужно сказать тоже, что сказано о цълой оперъ; каждая сцена, отдъльно взятая, несвязна, противоръчива, полна несообразностей. Не даромъ г. Кюи жалуется, что г. Мусоргскій не держался ближе Пушкина; жалость состоить именно въ томъ, что каждое отступленіе отъ Пушкина у г. Мусоргскаго есть прямая порча дъла, присочинение несообразнъйшихъ и нескладнъйшихъ вещей. Стихи г. Мусоргскаго нельзя назвать посредственными и безвкусными стихами, какъ называеть ихъ г. Кюи; это вовсе не стихи и даже не проза, а какой-то уродливый наборъ словъ.

Доказать всю эту безпримѣрную нескладицу можно бы было разборомъ какой угодно сцены, напримѣръ, сцены у фонтана, сцены между Борисомъ и Шуйскимъ, сцены въ Думѣ,—мы назвали самыя безобразныя передълки и вмѣстѣ самыя важныя сцены оперы.

Но если такъ, то спрашивается, какую же музыку можно написать на подобное содержаніе? Не ясно ли для всякаго, кто и не слыхалъ этой оперы, что композиторъ и въ музыкѣ не могъ создать ничего цѣльнаго и послѣдовательнаго, что онъ объ этомъ даже и не заботился? Уродливость и чудовищность—вотъ удивительный результатъ стремленія къ правдѣ и реальности!

И возможно ли въ видѣ оправданія сравнивать "Бориса Годунова" съ "Русланомъ?" Въ "Русланѣ", хоть онъ и состоить изъ отдѣльныхъ сценъ, все идеть одно къ другому, нѣть никакихъ противорѣчій и васъ обнимаеть собою цѣлый своеобразный міръ, фантастическій, но стройный и живой. А "Борисъ Годуновъ" весь такъ и расползается по клочкамъ. Въ немъ нѣть ни одного мѣста, которое не было бы испорчено и могло бы производить цѣльное впечатлѣніе. Исключеніе составляеть только сцена въ корчмѣ. Туть все стройно и согласно; кабакъ—кабакомъ; но вѣдь и этому кабаку не придано никакого смысла, никакой связи съ оперой, и нельзя удовольствоваться однимъ отлично положеннымъ на музыку кабакомъ, когда опера называется "Борисъ Годуновъ по Пушкину и Карамзину".

"Главныхъ недостатковъ въ "Борисъ" два", пишетъ г. Кюи: "рубленый речитативъ и разрозненность музыкальныхъ мыслей, дълающая мъстами оперу попуриобразной". (Столб. 10).

Видите, какъ онъ нѣжно выражается. Разрозненность музыкальныхъ мыслей! Это значить—отсутствіе связи въ музыкѣ; это значить—куски, отрывочныя фразы, головки и хвостики музыкальныхъ мыслей, набросанныя и перепутанныя въ безобразномъ хаосѣ. Такъ развѣ это опера? Какой же смыслъ писать оперу въ видѣ попурри?

Неужели этого требують ваша музыкальная правда, вашь музыкальный реализмъ? Въ самомъ дѣлѣ, г. Кюн говорить: "Въ созданіи "Бориса" такъ почтенно желаніе автора идти по новой, правдивой дорогѣ"... (Тамъ же). Что же это такое, наконецъ?

Хотите—я вамъ скажу. Это—затѣи музыкантовъ, которые хлопочутъ не объ идеѣ, не о цѣльномъ творческомъ созданіи, а о подробностяхъ своей техники. Они безъ конца возятся съ этой техникой, мудрятъ надъ нею, усовершаютъ ее и дальше ничего не видятъ. И вотъ, чтобы удивить міръ, они пишутъ наконецъ оперу, состоящую изъ разрозненныхъ кусковъ, нескладное и огромное попурри, въ которомъ за то каждый кусочекъ представляетъ интересныя музыкальныя задачи, разныя усилія и хитрости техники. Музыканты любуются, а пубълика, видя прекрасныя декораціи и жестикулирующихъ и кричащихъ пѣвцовъ, радуется и хлопаетъ.

Объ этой музыкѣ, можетъ быть, я еще напишу вамъ. 26 февр.

Письмо третье.

Года два или три тому назадъ я былъ на очень замъчательномъ представленіи. Давали "Бориса Годунова" Пушкина. Его дали, кажется, всего два раза и потомъ перестали давать, не знаю почему. На первомъ представленіи зала была биткомъ набита и смотръть было очень интересно. Костюмы и декораціи были чудесныя, и нъкоторыя сцены,—напримъръ, выходъ Бориса изъ собора, смерть Бориса, производили сильное впечатлъніе просто какъ картины, независимо отъ того, что и какъ говорили актеры.

Разумъется, исполнение драмы актерами было ниже всякой критики. Тутъ нътъ ничего удивительнаго, такъ какъ плохой актеръ, или актеръ порядочный, но дурно исполняющій изв'єстную роль—діло самое обыкновенное и удобопонятное. Но меня поразило то, что исполненіе было не просто плохо, а сбивалось въ изв'єстную сторону, имѣло опредѣленный, яркій характеръ. Это быль характеръ грубости, простонародности, пошлости. Лучше всего была исполнена корчма, точно такъ же, какъ она всего лучше удалась и г. Мусоргскому; но всь остальныя сцены, за исключеніемъ развѣ нѣсколькихъ стиховъ, прекрасно сказанныхъ Самойловымъ (Самозванецъ), были сплошь такъ испорчены, что жалко было слушать. Искаженіе было особенно явственно на ніжоторыхъ выдающихся лицахъ, напримъръ, на Шуйскомъ. Припомните Шуйскаго; это одна изъ превосходнъйшихъ фигуръ трагедін; это-"лукавый царедворецъ" въ полномъ блескъ: тонкій, ловкій, безподобный мастеръ говорить. Дъйствительно, онъ говорить у Пушкина щегольскими стихами, замътно отличающимися своею гибкостью и бойкостью. Шуйскаго исполняль - Зубровъ, актеръ очень дъльный, очень умълый. Но что же онъ тутъ сдълалъ? Во первыхъ, онъ, какъ и многіе другіе, произносилъ рѣчи своей роли такъ, что мелодія стиха совершенно исчезала-этого требуеть, говорять, натуральность. Но мало того-онъ придаль своей рѣчи грубость, рѣзкость, словомъ-говорилъ такъ, какъ будто исполнялъ роль не знатнаго барина, а какого-нибудь купца въ комедіяхъ Островскаго. Другіе актеры не отставали въ подобномъ стремленіи къ правді, и такимъ образомъ, вся красота, которая такъ ярко лежитъ на трагедіи Пушкина, была съ нее стерта. Чтобы изобразить бояръ, актеры, по извъстному выраженію, поддѣлывались подъ тонъ и манеры кучеровъ. Когда открылось засѣданіе царской думы, то стыдно было смотрѣть и слушать. Бояре такъ, что называется, галдюли, такъ махали руками, головами, туловищами, что похожи были на толпу грубѣйшихъ мужиковъ, собравшихся гдѣ-нибудь въ кабакѣ.

Боже мой! думаль я, -- какимъ это образомъ всъ позабыли и никто уже не знаеть, что сановитость, важность, величавая учтивость-совершенно въ натурт русскаго человѣка? Нѣтъ въ мірѣ народа—я совершенно въ этомъ увъренъ-который бы представлялъ такіе безчисленные оттънки въ обращеніи людей между собою, который быль бы способень такъ легко и чутко переходить по всевозможнымъ степенямъ обращенія, начиная оть тончайшей почтительности и вѣжливости, и кончая величайшей грубостію, наглайшимъ цинизмомъ. Гоголь въ "Мертвыхъ душахъ" замъчаеть, что русскій человъкъ однимъ голосомъ говоритъ съ помѣщикомъ, имѣющимъ 300 душъ, другимъ съ тъмъ, у кого ихъ 500, еще другимъ съ тѣмъ, у кого 1,000, и т. д. Вообще русская чуткость и подвижность безпримърны, безпредъльныговорю это не въ похвалу нашему народу, а скорже съ истиннымъ сокрушеніемъ, ибо эта чуткость и подвижность большею частію безплодны и заставляють завидовать тяжелой неповоротливости, наивной грубости-хоть бы нёмцевъ. Я хотёль только сказать, что если русскій человькь захочеть быть учтивымь, важнымь, величавымь, то онъ заткнетъ за поясъ всякаго германца или романца, -- точно такъ же, какъ заткнетъ его за поясъ и въ грубости, въ наглости, въ цинизмѣ. Въ нашемъ простомъ народъ и въ купечествъ, вы безпрестанно можете встретить примеры удивительной деликатности,

удивительной величавости. На иного старика просто не налюбуещься: важность, спокойствіе, строгость и ясностьвъ каждомъ словъ, въ каждомъ движеніи; передъ вами какой-то ветхозавѣтный патріархъ, самъ Іаковъ, который, будучи представленъ весьма могущественному монарху, египетскому Фараону, не поклонился ему рабски, подобно своимъ сыновьямъ, а напротивъ-какъ сказано въ Писаніи — благословил вего. Я не говорю здісь о внутреннихъ свойствахъ, а только о внѣшнемъ видѣ; я знаю, что наши старики, имъющіе видъ библейскихъ патріарховъ, часто скрываютъ подъ этою наружностью большой цинизмъ и одни лишь безобразные осадки перегорѣвшихъ страстей. Но я не объ этомъ говорю. Хоть я и увъренъ, что на сотню или полторы такихъ людей найдется и д'яйствительный патріархъ, челов'якъ д'яйствительно полный величія и святости; но я не объ этомъ говорю и не это хочу доказывать; я говорю только о наружномъ видъ.

Воображаю себѣ нашихъ бояръ XVII вѣка! Сколько тутъ было сановитости, щекотливаго чванства, горделивой учтивости! Москва издавна отличалась тонкостію обращенія, изысканнымъ умѣньемъ говорить и держать себя. Если подъ этою внѣшностью скрывались часто грубыя понятія и чувства, если низкая и дикая натура иногда проглядывала сквозь эту оболочку и даже вовсе ее сбрасывала, то все-таки постоянный и общій видъ долженъ былъ представлять большую величавость. Не забудемъ притомъ, что собраніе этихъ бояръ, безъ сомнѣнія, хранило въ себѣ преданія своихъ дѣдовъ и прадѣдовъ, то есть тѣхъ людей, которыхъ великій государственный смыслъ привелъ русскую землю къ единству, освободилъ ее отъ татаръ, и вообще заложилъ и укрѣпилъ силу

этого удивительнаго государства, до сихъ поръ выдерживающаго всякіе напоры и побѣждающаго всякія препятствія. "Не все же счастье", какъ говаривалъ Суворовъ: "надобенъ и умъ". Поэтому можно предположить, что бояре временъ Бориса, если и не были высокаго ума *), то, по крайней мѣрѣ, видъ имѣли и очень сановитый и очень умный. Такъ, мы видимъ немало монаховъ, которые вовсе не отличаются высокими качествами, но, въ силу преданія, въ силу давно выработаннаго и строго сохраняющагося тона и склада всей жизни, имѣютъ наружность вполнѣ монашескую; во всѣхъ словахъ и движеніяхъ они представляютъ совершенную простоту, глубокое изящество, кротость и смиреніе, которыхъ можетъ быть вовсе нѣтъ у нихъ въ душѣ.

И такъ, ни въ какомъ случав бояре не были похожи на какихъ-нибудь грубыхъ и глупыхъ мужиковъ. Между тъмъ, на представленіи Пушкинскаго "Бориса Годунова" имъ была придана величайшая неотесанность, а г. Мусоргскій пошелъ еще дальше: онъ изобразилъ ихъ глупыми, онъ сдълалъ изъ засъданія Царской Думы комическую сцену. Эта Дума, по предположеніямъ историковъ, была преступна, замышляла смуту и ждала ея, но комическою она уже никакъ не была.

Вообще, если сообразить всѣ частности оперы г. Мусоргскаго, то получается нѣкоторый очень странный общій смысль. Направленіе всей оперы обличительное, очень давнишнее и извѣстное направленіе: старая Русь выставляется здѣсь въ тѣхъ темныхъ краскахъ, въ которыхъ видять ее и многіе наши ученые. Фонъ оперы соста-

^{*)} Но почему же изъ нихъ не могли быть и высокаго ума? Странно. $Pe \partial$.

вляеть народъ; этотъ народъ выставленъ грубымъ, пьянымъ, угнетеннымъ и озлобленнымъ. На такомъ фонъ можно было бы еще построить какое-нибудь правильное движеніе. Но народъ выставленъ вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно глупымъ, суевърнымъ, безсмысленнымъ, ни къ чему не способнымъ. Что же изъ этого можно построить? На темномъ фонъ этого безсмысленнаго народа являются фигуры лицъ, которыя почему-то имъ двигають и владъють: Борись, Самозванець, Марина, Іезуить, Бояре и проч. Столкновенія, страсти, д'єйствія этихъ лицъ не им'вють никакого отношенія къ народу, никакихъ связей съ нимъ (да и не съ чъмъ связаться имъ, потому что въ народъ не положено никакого содержанія). Въ силу этого, всѣ душевныя движенія этихъ лицъ теряютъ всякій смыслъ по отношенію къ главному фону оперы. Все это ихъ личныя дъла, имъющія частное, эгоистическое значеніе; надъ моремъ народа носятся фигуры, увлекаемыя страхомъ, честолюбіемъ, любовью, религіозностію, жаждой денегь, и такъ далье. Эти стремленія не имьють никакой связи между собою, никакого интереса для автора, никакого общаго смысла. Невозможно найти въ оперъ той центральной точки или того основнаго контраста, который бы составляль ея руководящую нить, ея главный интересъ. Народъ-воть единственный общій пункть. Но, такъ какъ народъ выставленъ совершенно безсодержательнымъ, то опера сама собою расползается на клочки.

Это вовсе не отдѣльныя картины, какъ въ "Русланъ" Глинки и въ "Борисъ" Пушкина. У Глинки и Пушкина есть общій фонъ, очень широкій и незыблемо твердый. У Глинки, положимъ, это будетъ красота жизни, красота страстей, молодость, любовь, удальство, роскошь

силы и чувственности въ ихъ первобытной свѣжести. На такомъ фонѣ можно рисовать отдѣльныя картины. У Пушкина общій фонъ—наша старая Русь и всѣ тѣ основы, на которыхъ она держалась,— глубокая религіозность, семейная и монашеская жизнь, преданность государству, идеалъ царя, вѣрность династіи, смута, возникшая отъ колебанія и столкновенія этихъ элементовъ,—на такомъ фонѣ можно было писать отдѣльныя картины. Но на какомъ фонѣ пишетъ г. Мусоргскій? Изъ всѣхъ явленій, взятыхъ имъ для оперы, къ какому онъ питаетъ сочувствіе? Чѣмъ онъ воодушевленъ? Что онъ воспѣваетъ? На это вы напрасно будете искать отвѣта.

Но я, кажется, взяль уже слишкомъ высокую точку зрѣнія; я не могу предположить, чтобы соображенія композитора поднимались на эту высоту, чтобы онъ считалъ нужнымъ задумываться объ общемъ тонв оперы, чтобы онъ имълъ въ виду цъльность, однородность музыкальнаго вдохновенія. Онъ просто взяль знаменитую драму знаменитаго поэта и сталъ класть ее на музыку. Духомъ драмы онъ не только не вдохновился, но даже вооружился противъ этого духа и передълалъ драму, обративъ ея серьезныя сцены въ комическія, а комическія въ грязныя. Больше всего онъ искалъ комическаго и мрачнаго и ставилъ его на ряду съ серьознымъ и торжественнымъ, ни мало не замъчая, что выходить вопіющее противорѣчіе. Онъ вовсе не думаль о томъ, чтобы создать образъ цълой жизни, а заботился только объ реализмъ, то есть о томъ, чтобы все выходило какъ можно комичне и грубе.

Ибо реализмъ, по мнѣнію многихъ нашихъ художниковъ, въ томъ и состоитъ, чтобы изображать низшую

сторону всякаго предмета, -- если возможно, то даже его грязную и отвратительную сторону. Упускать изъ виду дущу вещей и рисовать лишь ихъ тъло-вотъ къ чему стремится нашъ реализмъ. Эта падкость на все темное и низкое поразительна и, нужно отдать справедливость нашимъ художникамъ, доходитъ у нихъ до мастерства, до истинной художественности. Она проявляется во всёхъ областяхъ искусства, но ни въ чемъ не удивляла меня до такой степени, какъ въ нѣкоторыхъ портретахъ, явившихся въ послъдніе два-три года. Смотришь на фигуру хорошо знакомаго человъка и не въришь глазамъ: такъ похоже и такъ гадко! Все, чъмъ свътилось и свътится это лице, вся жизнь ума и сердца, оживлявшая эти черты, стерта съ нихъ до последняго следа, до малейшаго признака; остался на полотнъ только тоть звърь, который есть въ каждомъ человѣкъ только животное со вевми его животными поползновеніями. Туть ужь художникъ ничего не опустилъ; тутъ онъ оказался тонкимъ цёнителемъ, чудеснымъ знатокомъ дѣла. Смотришь и изумляешься этой дивной проницательности, и думаешь: какъ-же я сколько леть знаю этого человека, но и въ самыя дурныя его минуты не видалъ у него всей этой гадости, которую изобразилъ художникъ? Вотъ мастерство! Непонятно только, какъ могли согласиться оригиналы этихъ портретовъ, чтобы выставлялись на показъ такія безподобныя карикатуры на ихъ лица?

У Аполлона Григорьева есть много глубоких словь, и одно изъ нихъ приходитъ мнѣ теперь на память. Разбирая одного романиста, онъ сказаль: "Этотъ писатель изображаетъ пошлость такъ, какъ будто одна она импьетъ право на существованіе". Такъ и многіе наши современные художники: они въ сущности отрицаютъ

право на существование всего, что не пошло, они въ не-пошлое не върять. Это называется реализмомъ, хотя въ сущности это есть совершенная мечта, глубочайшая односторонность и отвлеченность.

Такой реализмъ въ самомъ существъ противенъ искусству, и доказательства уже у насъ на лицо. Конечно портреть можно нарисовать съ такимъ пониманіемъ діла, можно сочинить пожалуй и пьяную пісню, или грязную сценку; но написать оперу, романъ, поэмуневозможно. Ибо, въ такомъ случав потребуется непремѣнно мысль, душа, жизнь; именно-потребуется живая связь и гармонія между частями и подробностями, такъ называемое творчество, то есть непостижимо-тонкое проникновеніе въ чужую жизнь, въ жизнь опредъленной среды, опредъленной эпохи, опредъленнаго народа; следовательно, непременно потребуется понимание того духа, безъ котораго невозможна никакая жизнь. Вотъ отчего наши реалисты и неспособны къ созданію чего нибудь цёлаго, къ увлеченію какою-нибудь полною художественною идеей; воть отчего ихъ романы похожи на собранія анекдотовъ, ихъ картины ничего не выражають, ихъ оперы состоять изъ неидущихъ другь къ другу кусочковъ. Они иногда мастерски разсказывають, рисують, сочиняють пъсенки, но имъ нечего разсказывать, нечего рисовать, нечего класть на музыку. Они усильно хватаются за литературу, ищуть въ ней идей, хотять быть прогрессивными не хуже другихъ, делають обличенія посредствомъ живописи и скульптуры, готовы класть на музыку не только драмы, а и комедін; но одного они не могуть-истинно чемъ-нибудь воодушевиться, найти въ собственномъ искусствъ идею, которой могли-бы отдаться всею душею. По всему видно,

что нашъ реализмъ ведетъ къ порабощенію художества и не только не вносить въ него новыхъ силъ, но ослабляеть и тѣ, которыя въ немъ есть. Талантливые люди не направляются на твердую дорогу, а только путаются и впадаютъ въ жалкія ошибки.

Пушкинскій праздникъ.

(Открытіе памятника Пушкину въ Москвъ).

(Составлено по Воспоминаніямь о Ө. М. Достоевскомь, 1883).

Я быль на этомъ великомъ праздникъ, продолжавшемся три дня, 6-го, 7-го и 8-го іюня (1880 г.); начиная съ объдни и панихиды въ Страстномъ монастыръ, я присутствовалъ на всъхъ торжествахъ этого праздника: шель въ процессіи, клавшей вінки къ подножію статуи, быль на трехъ засъданіяхъ, одномъ ученомъ въ Университеть и двухъ литературныхъ въ Обществъ Любителей Россійской Словесности; быль на двухъ объдахъ, на объдъ Думы, данномъ депутаціямъ, и на объдъ Общества Любителей; быль на двухъ музыкально-литературныхъ вечерахъ; я слышалъ всѣ рѣчи, стихи и чтенія, говорилъ почти со всвми двятельными участниками праздника, съ знакомыми и незнакомыми зрителями, и москвичами, и прівзжими, — и потому я задумаль написать разсказъ объ этомъ событіи, надіясь, что я довольно върно понимаю и духъ всего празднества, и внутренній ходъ той драмы, которая на немъ разыгралась, хотя и была для многихъ, можеть быть, совершенно незамѣтна.

Приготовиться къ празднику было довольно времени. Открытіе памятника было назначено на 26 мая, день рожденія Пушкина; но 23 мая скончалась Государыня, и торжество было отложено на двѣ недѣли глубокаго траура.

Собираясь на праздникъ, откровенно признаюсь, я не ожидалъ ничего особенно хорошаго. Мнъ живо представлялось, что долженъ произойти большой шумъ и восторгъ, то явленіе, которое Достоевскій такъ хорошо называль-, увизжаться оть восторга". Но легко могло случиться, что изъ этого воодушевленія ничего не выйдеть. Мы чрезвычайно легко приходимъ въ энтузіазмъ, и нельзя не любить всею душою этой благородной способности, въ основѣ которой, можетъ быть, у насъ лежать очень высокіе задатки. Но этоть энтузіазмъ, иногда вспыхивающій такимъ чистымъ пламенемъ, обыкновенно гаснеть безъ слъда; въ большинствъ случаевъ это энтузіазмъ безплодный, самъ собою питающійся и удовлетворяющійся, не пораждающій ни твердыхъ и опреділенныхъ убъжденій, ни усердной и опредъленной дъятельности. Я предполагаль, что, можеть быть, мнъ предстоить и теперь видъть подобное зрълище. Но на этоть разъ, къ счастью, я обманулся; можно прямо сказать, что именно ръчь Достоевскаго дала празднику нъкоторое существенное содержание, и осталась послъ него, какъ твердое и блестящее украшеніе, не улетъвшее виъстъ съ дымомъ и пламенемъ этого фейерверка.

6-го іюня всё мы сь 10 часовъ утра собрались въ Страстной монастырь слушать обедню и панихиду. Церковь наполнилась литераторами и вообще отборною интеллигенціею, которая сдержанно разговаривала подъ звуки сладкаго пёнія. Служилъ митрополитъ Макарій; въ концѣ службы онъ говорилъ проповѣдь на ту простую тему, что нужно благодарить Бога, пославшаго намъ Пушкина, и нужно молиться Богу, чтобы онъ даровалъ намъ и для всякихъ другихъ поприщъ подобныхъ спльныхъ дъятелей. Проповъдь показалась мнъ нъсколько холодною, и не было замътно, чтобы она произвела особенное впечатлѣніе. Первая минута восторга наступила, какъ мнѣ кажется, когда мы вышли на площадь, когда былъ сдернуть холсть со статуи и мы, при звукахъ музыки, пошли класть свои вънки къ подножію памятника. Церемонія у памятника им'єла совершенно свътскій характеръ и состояла изъ этого положенія вѣнковъ и изъ чтенія бумаги, которою коммисія, сооружавшая памятникъ, передавала его въ собственность городу Москвъ. Бумагу читалъ съ высокой эстрады Ө: П. Корниловъ. Почему-то нельзя было совершить окропленія памятника святою водою, какъ это принято при всякихъ сооруженіяхъ.

Начиная съ этой короткой церемоніи, всёми овладёло радостное, праздничное настроеніе, непрерывавшееся цёлыхъ три дня и ненарушенное никакимъ печальнымъ или досаднымъ случаемъ. Того, что называется скандаломъ, легко можно было ожидать; во первыхъ, легко могла обнаружиться вражда, которой всегда не мало бываетъ между литераторами; во вторыхъ, кто-нибудь могъ соблазниться случаемъ и сказать резкое словцо противъ дёлъ и лицъ, стоящихъ внё литературы. Литературныя несогласія, правда, успёли таки сказаться и на этомъ праздникъ. Въ самой Москвъ обнаружилось у нёкоторыхъ лицъ враждебное настроеніе къ "Московскимъ Вёдомостямъ" и заявило себя настолько, что редакція этой газеты положила не присутствовать на

праздникъ. Участіе ея, поэтому, ограничилось только рѣчью М. Н. Каткова на обѣдѣ, данномъ Думою, рѣчью, послѣ которой, какъ разсказываютъ, Тургеневъ тоже сдѣлалъ попытку заявить свою вражду къ говорившему (самъ я этого не видѣлъ и не слышалъ). Слѣдствіемъ такихъ отношеній было, что въ то время, какъ петербургскія газеты печатали множество телеграммъ и писемъ обо всемъ, что происходило на праздникъ, "Московскія Вѣдомости" не только не описывали его и не разсуждали объ немъ, но даже вовсе не помѣщали никакихъ объ немъ извѣстій.

Кром'в этого прискорбнаго факта, некоторыя другія разногласія заявили себя развѣ тѣмъ, что на общее торжество литературы не явились иные писатели (очень замѣчено было отсутствіе Л. Н. Толстаго); затѣмъ все остальное прошло совершенно благополучно. Могу свидътельствовать, что въ продолжение трехъ дней, когда я слушалъ съ утра до вечера, не было сказано ни одного слова дъйствительно враждебнаго; напротивъ были примъры дружелюбныхъ отношеній, завязавшихся между враждовавшими. Воть одно изъ чудесъ, которыя совершило воспоминаніе о Пушкинъ. Общее впечатльніе праздника было чрезвычайно увлекающее и радостное. Многіе говорили мнъ, что были минуты, когда они едва удерживали, или даже не успъвали удержать слезы. Эта радость все росла и росла, не возмущаемая ни единымъ печальнымъ или досаднымъ обстоятельствомъ, и только на третій день достигла наибольшаго напряженія, совершеннаго восторга.

"Ну, что-то будетъ сказано объ Пушкинъ?" думалъ я, когда ъхалъ на праздникъ; и праздникъ самъ собою все больше и больше направлялся на этотъ вопросъ, все сильнъе устремлялся къ единой мысли-воздать нашему великому поэту самую высокую и самую справедливую похвалу. Это была цъль мирнаго состязанія, и соперники, наконецъ, дъйствительно все забыли, кромъ этой цёли. Участниками были люди самыхъ различныхъ направленій и кружковъ; тутъ были не только ученые и писатели, но и депутаты отъ всякаго рода нашихъ государственныхъ и частныхъ учрежденій; прислань быль депутать отъ французскаго министерства просвъщенія; туть читались телеграммы и письма оть иностранныхъ учрежденій и писателей; особенно важны были телеграммы и привътствія отъ чеховъ, поляковъ и отъ другихъ славянскихъ земель, привътствія, искренность и теплота которыхъ была невольно замъчена. Но все это была только обстановка; главная роль, существенное значеніе, очевидно, принадлежали нашимъ ученымъ и литераторамъ; имъ предстояла трудная и важная задача-растолковать духъ и величіе Пушкина.

Первый день состоять изъ торжественнаго засѣданія вь университетѣ и изъ обѣда, который московская дума давала депутатамъ. Отъ памятника всѣ отправились въ университетъ. Здѣсь академики и профессора читали свои статьи; въ этихъ статьяхъ были интересные факты, точныя подробности и вѣрныя замѣчанія, но вопросъ о Пушкинѣ не былъ поднимаемъ во всемъ своемъ объемѣ. Самою оживленною минутою засѣданія, конечно, была та, когда ректоръ провозгласилъ, что Тургеневъ избранъ почетнымъ членомъ университета. Тутъ раздались потрясающія, восторженныя рукоплесканія, въ которыхъ всего больше усердствовали студенты. Сейчасъ-же почувствовалось, что большинство выбрало именно Тургенева тѣмъ пунктомъ, на который можно устремлять и

изливать весь накопляющійся энтузіазмъ. Каждый разъ, когда и потомъ въ чеченіе праздника произносилось это знаменитое имя, или даже названіе произведенія имъ подписаннаго, толпа откликалась рукоплесканіями. Тургенева вообще чествовали, какъ-бы признавая его главнымъ представителемъ нашей литературы, даже какъ-бы прямымъ и достойнымъ наслѣдникомъ Пушкина. И, такъ какъ Тургеневъ былъ на праздникъ самымъ виднымъ представителемъ западничества, то можно было думать, что этому литературному направленію достанется главная роль и побѣда въ предстоявшемъ умственномъ турниръ. Извѣстно было, что Тургеневъ приготовилъ рѣчь, и, какъ разсказывали, нарочно ѣздилъ въ свое помѣстье, чтобы на свободѣ обдумать и написать ее.

Представителемъ славянофильства былъ И. С. Аксаковъ; чрезвычайное уваженіе и расположеніе, которыми онъ пользовался, постоянно обнаруживалось въ продолженіе всего праздника. Около этихъ двухъ вождей группировались многія болье или менье извъстныя имена, которыхъ не перечисляю, боясь кого-нибудь пропустить и не имъя времени для справокъ. Вниманіе людей давно знакомыхъ съ литературою, въ томъ числъ и мое, было все направлено на указанныхъ мною представителей. На этотъ разъ, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, и прежде, и потомъ, было ясно, что въ нашей литературъ существуетъ одинъ существенный антагонизмъ, а потому и одно наиболъе важное подраздъленіе: прогрессистовъ - подражателей и консерва торовъ - самобытниковъ. Мы съ нетерпѣніемъ ждали, что-то скажуть два представителя этихъ направленій о такомъ великомъ предметъ, какъ Пушкинъ.

За университетскимъ засъданіемъ слъдоваль думскій

объдъ въ залахъ Дворянскаго Собранія, тъхъ залахъ, которыя, съ этой минуты и до конца, были мёстомъ праздника, такъ какъ въ нихъ происходили и публичныя засъданія Общества Любителей Русской Словесности (утромъ 7 и 8 іюня) и литературно-драматическіе вевера. Никакого уличнаго торжества нельзя было устроить вслъдствіе траура по императриць, и потому, среди будничной Москвы, празднование шло только въ этихъ залахъ, гдъ три дня съ утра до вечера толпился народъ и раздавались взрывы рукоплесканій. Думскій об'єдъ быль по всему истинно великольнень; а особенно пріятно вспомнить, что самъ Н. Г. Рубинштейнъ дирижироваль оркестромъ, такъ что увертюра изъ "Руслана" была исполнена вполнъ художественно (дъло ръдкое). За объдомъ были произнесены небольшія ръчи преосвященнымъ Амвросіемъ, М. Н. Катковымъ, И. С. Аксаковымъ и читалъ свои стихи А. Н. Майковъ. Все было къ мъсту и содержало прекрасныя мысли, но еще не захватывало всего предмета, т. е. значенія Пушкина. Больше всего мое внимание было поражено ръчью Аксакова. Онъ сказалъ, что настоящимъ торжествомъ, принявшимъ неожиданно огромные размъры, "всевластно объявилось д'ыйствительное, досель можеть быть многимъ сокрытое значеніе Пушкина для русской земли". "Пушкинъ", продолжалъ онъ, "это-народность и просвъщеніе; это залогь чаемаго примиренія прошлаго съ настоящимъ, это-звено, органически связующее, хотя-бы еще только въ области поэзіи, два періода нашей исторіи".

"Не случайно, поэтому, а глубокій историческій смысль сказался въ томъ, что именно въ Москвѣ воздвиглась мидная хвала первому истинно-русскому, истинно-великому народному поэту".

Слова эти, прекрасно произнесенныя и громко прозвучавшія во всѣхъ концахъ залы, заключали въ себѣ, какъ мнъ думалось, большую важность и новость. Мнъ припомнились знаки нѣкоторой холодности, обнаруженной къ Пушкину прежними славянофилами; извъстно, что они истинно-народнаго поэта готовы были видѣть лишь въ Гоголь, съ такою рызкостью показавшемъ полную оригинальность въ творчествъ. Теперь-же славянофилы какъ-бы торжественно усвояли себъ Пушкина. Эти мысли очень занимали меня, и я чувствоваль большое любопытство къ рѣчи, которую Аксаковъ долженъ былъ говорить на другой день. Не могу однако-же сказать, чтобы краткое заявленіе Аксакова многихъ поразило. Послъ объда толки шли больше объ выходкъ противъ Каткова, о ръчи преосвященнаго Амвросія, и т. д. Въ этой рѣчи было обращение къ Тургеневу и напоминаніе о томъ, что онъ первый указалъ на нигилизмъ: но понемногу дело такъ переиначили, что, наконецъ, кто-то разсказывалъ, будто преосвященный назвалъ Тургенева первыма нигилистома.

Прошу читателя извинить мнѣ эти подробности. Едвали удастся мнѣ, но очень хотѣлось-бы изобразить то необыкновенное возбужденіе, которое овладѣло всѣми дѣятельными участниками торжества. Они волновались и напрягались, какъ борцы, которымъ предстоитъ побѣда или пораженіе. Рукоплесканія публики, смотрѣвшей на нихъ съ уваженіемъ и постоянно готовой къ восторгу, поддерживали ихъ оживленіе и силы. Мнѣ встрѣтились двѣ дамы, пріѣхавшія изъ Петербурга, большія поклонницы просвѣщенія и литературы; онѣ горько жаловались, что просто не узнаютъ знакомыхъ имъ литера-

торовъ: такъ они стали надменны и заняты лишь собою, своимъ участіемъ въ праздникъ.

Настоящее состязаніе и дъйствительная литературная оцънка Пушкина должны были начаться 7 іюня, въ первомъ публичномъ засъданіи нашего "Общества". Въ этоть день, среди другихъ ръчей, долженъ былъ читать свою ръчь Тургеневъ, а потомъ Аксаковъ, т. е. оба представителя противоположныхъ направленій. Но, такъ какъ засъданіе затянулось за множествомъ ръчей, стиховъ, вызывовъ и т. д., то успѣлъ читать одинъ Тургеневъ. Его ръчь, разумъется, была встръчена и провожена громкими, восторженными рукоплесканіями. Но между литераторами поднялись оживленные толки о мысляхъ, высказанныхъ въ этой ръчи, и обнаружилось даже прямое желаніе какъ нибудь возразить на нее и дополнить ее. Иначе и не могло быть въ "Обществъ", заключавшемъ въ себъ такъ много славянофильствующихъ писателей. Главный пункть, на которомъ остановилось общее вниманіе, состояль въ опредѣленіи той ступени, на которую Тургеневъ ставилъ Пушкина. Онъ признаваль его вполнъ самостоятельнымъ поэтомъ, "великолъпнымъ русскимъ художникомъ". Но онъ ставилъ еще другой вопросъ: есть-ли Пушкинъ поэть національный? Національнымъ, по мнѣнію оратора, можетъ быть названъ только поэтъ великій и всемірный; потому что, если поэтъ вполнъ выражаетъ духъ своей націи, то онъ тымь самымь есть великій поэть, а потому вмысты и всемірный поэть, вносящій свой кладь въ сокровищницу человъчества. Такъ поставилъ ораторъ вопросъ, но поставилъ только затъмъ, чтобы отказаться отвъчать на него. "Мы не ръшаемся", сказаль онъ, "дать Пушкину название національно-всемірнаго поэта, хотя и

не дерзаемъ его отнять у него". Эти слова возбудили больше толки; нѣкоторые изъ сочленовъ собирались даже обратиться къ Тургеневу съ вопросомъ о причинахъ его нерѣшительности; потому что, въ своей рѣчи онъ ничего не сказалъ ни о томъ, почему не рѣшается утверждать, ни о томъ, почему не осмѣливается отрицать національное значеніе Пушкина. Много говорили также о тѣхъ разсужденіяхъ Тургенева, въ которыхъ онъ етарался показать историческую необходимость порицаній и глумленій надъ Пушкинымъ, долго происходившихъ въ нашей литературѣ, и едва недавно затихшихъ. Ораторъ упоминалъ также, что муза мести и печали имѣла свои права на вниманіе и естественно отвлекла умы отъ великаго поэта.

Все это, и другое подобное, было инымъ не совсъмъ по душъ. Въ группъ дъятельныхъ участниковъ торжества пронеслось чувство нъкоторой неудовлетворенности, даже прямой досады. Одни критически разбирали слова Тургенева; другіе, которымъ самимъ приходилось читать на слъдующій день, надъялись выразить мысли, ниспровергающія тургеневскія замізчанія; кто-то успіль написать даже насмъшливые стихи-конечно не для публичнаго чтенія. Но то, что случилось на другой день, превзошло всъ ожиданія и разсчеты. По порядку слъдовало-бы читать сперва Аксакову и потомъ Достоевскому; но, не знаю по какой причинъ, ръшено было, что Достоевскій будеть читать въ первую половину засъданія, а Аксаковъ во вторую (эти половины раздълялись маленькимъ антрактомъ); эта перемъна порядка оказалась важнъе, чъмъ сперва думали сами ораторы. Какъ только началъ говорить Достоевскій, зала встрепенулась и затихла. Хотя онъ читалъ по писанному, но это было не чтеніе,

а живая рѣчь, прямо, искренно выходящая изъ души. Всѣ стали слушать такъ, какъ будто до тѣхъ поръ никто и ничего не говорилъ о Пушкинѣ. То одушевленіе и естественность, которыми отличается слогъ Достоевскаго, вполнѣ передавались и его мастерскимъ чтеніемъ.

Разумѣется, главную силу этому чтенію давало содержаніе. До сихъ поръ слышу, какъ надъ огромною притихшею толпою раздается напряженный и полный чувства голосъ: "Смирись, гордый человъкъ, потрудись, праздный человъкъ!" Такое нравоучение вывелъ Достоевскій изъ Цыгань, съ которыхъ началь свою характеристику, какъ съ произведенія уже полнаго глубокой и вполнъ русской мысли. Потомъ, подъ тотъ же типъ скитальца, оторваннаго отъ родной жизни, онъ подвелъ лице Евгенія Онигина, превознесь удивительными похвалами Татьяну, съ большою яркостію изобразиль Пушкинское пониманіе чуждых в національностей (на Пирть во время чумы, на Каменномъ гость, на отрывкъ: "Однажды странствуя среди долины дикой") и заключиль той мыслыю, что въ Пушкинъ ясно сказалась русская всеобъемлющая душа, что, поэтому, его поэзія пророчить намъ великую будущность, предвъщаеть, что въ русскомъ народъ, можеть быть, найдуть себь любовь и примирение всь народы земли.

Здѣсь я хочу не разбирать или излагать эту рѣчь, хочу только напомнить ен содержаніе читателямъ, для связи, для порядка разсказа. Восторгь, который разразился въ залѣ по окончаніи рѣчи, былъ неизобразимый, непостижимый ни для кого, кто не былъ его свидѣтелемъ. Толпа, давно зарядившаяся энтузіазмомъ и изливавшая его на все, что казалось для того удобнымъ, на каждую громкую фразу, на каждый звонко

произнесенный стихъ, эта толпа вдругъ увидѣла человѣка, который самъ былъ весь полонъ энтузіазма, вдругъ услышала слово, уже несомнѣнно достойное восторга, и она захлебнулась отъ волненія, она ринулась всею душою въ восхищеніе и трепетъ. Мы тутъ же всѣ принялись цѣловать Федора Михайловича; нѣсколько человѣкъ зрителей, вопреки правиламъ и загородкамъ, стали пробираться изъ залы на эстраду; какой-то юноша, какъ говорятъ, когда добрался до Достоевскаго, упалъ въ обморокъ.

Восторгъ толны заразителенъ. И на эстрадъ и въ "комнатъ для артистовъ", куда мы ушли съ эстрады въ перерывъ засъданія, всъ были въ радостномъ волненіи и предавались похваламъ и восклицаніямъ. "Вы сказали ръчь", обратился Аксаковъ къ Достоевскому, "послъ которой И. С. Тургеневъ, представитель западниковъ, и я, котораго считаютъ представителемъ славянофиловъ, одинаково должны выразить вамъ величайшее сочувствіе и благодарность". Не помню другихъ подобныхъ заявленій; но живо осталось въ моей памяти, какъ П. В. Анненковъ, подошедши ко мнъ, съ одушевленіемъ сказалъ: "вотъ что значитъ геніальная, художественная характеристика! Она разомъ поръшила дъло!"

Кстати, замѣчу здѣсь одинъ маленькій случай, очень характерный. Въ первой половинѣ своей рѣчи, говоря о Пушкинской Татьянѣ, Достоевскій сказалъ: "такой красоты положительный типъ русской женщины почти уже и не повгорялся въ нашей художественной литературѣ—кромѣ развѣ образа Лизы въ "Дворянскомъ Гнѣздѣ" Тургенева..." При имени Тургенева, зала, какъ всегда, загрохотала отъ рукоплесканій и заглушила голосъ Достоевскаго. Мы слышали, какъ онъ продолжалъ:

"...и Наташи въ "Войнъ и Миръ" Толстаго". Но никто въ залѣ не могъ этого слышать, и онъ долженъ былъ остановиться, чтобъ переждать, пока утихнетъ вновь и вновь подымавшійся шумъ. Когда онъ сталъ продолжать рѣчь, онъ не повторилъ этихъ заглушенныхъ словъ, и потомъ выпустилъ ихъ въ печати, такъ какъ они дѣйствительно не были произнесены во всеуслышаніе. Такова была горячка этого засѣданія, и такъ горячо шла внутренняя борьба въ публикъ и въ представителяхъ литературы.

Приходилось затёмъ еще говорить передъ публикой И. С. Аксакову. Его ръчью должна была открыться вторая половина засъданія. Онъ вышель и, какъ давнишній любимець Москвы, быль встрічень жаркими и долгими рукоплесканіями. Но вмѣсто того, чтобы начать рѣчь, онъ вдругъ объявилъ съ каеедры, что не будетъ говорить. "Я не могу говорить", сказаль онъ, "послъ рѣчи Өедора Михайловича Достоевскаго; все, что я написаль, есть только слабая варіяція на нікоторыя темы этой геніальной ръчи". Слова эти вызвали громъ рукоплесканій. "Я считаю", продолжаль Аксаковь, "рвчь Өедора Михайловича Достоевскаго событіем въ нашей литературъ. Вчера еще можно было толковать о томъ, великій-ли всемірный поэть Пушкинь, или ніть; сегодня этотъ вопросъ упраздненъ; истинное значение Пушкина показано, и нечего больше толковать! " И Аксаковъ сошелъ съ канедры. Восторгъ опять овладъль залою, восторгъ, относившійся и къ благородной горячности Аксакова, и еще болье къ той рычи, которою была она вызвана и которую публику слышала часъ тому назадъ. Аксаковъ высказалъ приговоръ, составившійся въ массъ читавшихъ и слушавшихъ, объявилъ, что словесный турниръ кончился и что первый вѣнокъ принадлежитъ Достоевскому, что его состяватели явно превзойдены.

Когда шумъ затихъ, Аксакова стали, однако, просить и понуждать прочесть свою рѣчь. Онъ уступилъ и прочелъ большую часть того, что написалъ. Прекрасное чтеніе часто вызывало рукоплесканія. Напримѣръ, когда, прочитавъ стихи:

> Не для житейскаго волненья, Не для корысти, не для битвъ, Мы рождены для вдохновенья, Для звуковъ сладкихъ и молитвъ—

Аксаковъ воскликнулъ: "какой-же пользы еще нужно? Да въдь такіе стихи—благодияніе"!

Рѣчь его, по содержанію, конечно не повторяла рѣчи Достоевскаго, но вполнѣ согласовалась съ нею, содержала даже канву нѣкоторыхъ ея мыслей.

Въ концѣ засѣданія, на эстрадѣ вдругь появилась группа дамъ; онѣ принесли огромный вѣнокъ Достоевскому. Его упросили взойти на каеедру, сзади его, какъ рамку для головы, держали вѣнокъ, и долго не смолкали рукоплесканія всей залы.

Такимъ образомъ, Достоевскій быль чествуемъ какъ герой этого дня. Всѣ чувствовали себя довольнѣе, всѣ, очевидно, были благодарны ему за то, что онъ разрѣшилъ, наконецъ, томительныя ожиданія, далъ всему празднику содержаніе и цвѣтъ. Поэтому публика уже не упускала его изъ виду и осыпала его наиболѣе громкими знаками одобренія. День этотъ, послѣдній день торжества, кончился литературно-музыкальнымъ вечеромъ, на которомъ и Достоевскій читалъ нѣкоторыя стихотворенія Пушкина. Всего значительнѣе было чтеніе стихотворенія "Пророкъ". Достоевскій дважды читалъ его, и

каждый разъ съ такой напряженной восторженностію, что жутко было слушать. Зная его, я не могь безъ невольной жалости и умиленія видёть его истощенное маленькое тѣло, охваченное этимъ напряженіемъ. Правая рука, судорожно вытянутая внизъ, очевидно удерживалась отъ напрашивающагося жеста; голосъ былъ усиливаемъ до крика. Чтеніе выходило слишкомъ рѣзкимъ, хотя произношеніе стиховъ было прекрасное. Въ этомъ отношеніи я вполнѣ раздѣлялъ вкусъ Достоевскаго, любившаго напирать на музыкальность, на ритмъ стиховъ, —разумѣется, безъ нарушенія естественности. При концѣ жизни онъ достигъ въ такомъ чтеніи удивительнаго мастерства и любилъ читать и передъ публикою, и въ частныхъ кружкахъ.

Этотъ второй и послѣдній вечеръ заключился, какъ и первый, увѣнчаніемъ бюста Пушкина на сценѣ, на которую выходили для этого всѣ исполнители. Въ первый вечеръ вѣнокъ былъ возложенъ Тургеневымъ, въ послѣдній—Достоевскимъ, котораго при всѣхъ пригласилъ къ тому самъ-же Тургеневъ.

Этимъ и кончился весь праздникъ. Замолкли послъднія восторженныя рукоплесканія, и мы разошлись, утомленные и довольные.

И такъ, вотъ что случилось на Пушкинскомъ праздникъ. Когда на другой день я уже катился въ вагонъ, мнъ ясно представился весь ходъ этихъ событій. Очевидно, западники и славянофилы были тутъ равно побъждены; славянофилы должны были признать нашего поэта великимъ выразителемъ русскаго духа, а западники, хотя всегда превозносили Пушкина, тутъ должны были сознаться, что не видъли всъхъ его достоинствъ. И вотъ, на этомъ мирномъ состязаніи объ партіи радостно признали себя побъжденными.

Но кто-же побъдилъ? Къ какой партіи принадлежить Достоевскій? Какъ изв'єстно, онь любиль примыкать къ славянофиламъ; но для меня, какъ для давнишняго сотрудника журналовъ, было несомнънно, что онъ не есть прямой славянофиль, или, по крайней мъръ, что не изъ славянофильства онъ почерпнулъ то восторженное поклонение Пушкину, которое такъ блистательно выразиль и которое дало ему побъду. И я вспомниль съ большою живостію ту партію, къ которой онъ принадлежаль. Ее можно назвать чисто-литературною, или, пожалуй, Пушкинскою, наконецъ просто русскою. Она всегда сильно тяготъла къ славянофильству, но не выставляла ръзкихъ положеній и законченныхъ общественныхъ теорій, и потому никогда не успъвала добиться такого вниманія публики, какимъ пользовались западничество и славянофильство. Она постоянно проповъдывала величайшую любовь къ художественной литературь, придавала ей почти первенствующее значеніе въ духовной жизни народа, а потому, можно сказать, благоговъла передъ Пушкинымъ, какъ передъ главнымъ явленіемъ нашей литературы. Она, эта партія, уклонялась отъ подражательности западничества и всегда видъла въ современной русской жизни больше внутренняго содержанія, чёмъ его находило исключительно славянофильство, а также всегда менъе славянофильства чуждалась жизни иныхъ народовъ. Вотъ какая партія поб'єдила на Пушкинскомъ торжествъ. И я вспомнилъ моихъ покойныхъ знакомыхъ, Аполлона Григорьева, тоныше и глубже котораго у насъ никто не объясняль Пушкина, вспомнилъ восторженныя рѣчи и благородныя фигуры Е. Н. Эдельсона, Б. Н. Алмазова и другихъ. Отъ этой молодой редакціи Погодинскаго Москвитянина я перешель памятью къ другимъ покойнымъ журналамъ, къ первому году Русскаго Слова (1859), ко Времени и Эпохів (1861—1964), выходившимъ подъ главнымъ руководствомъ и при главномъ участіи Достоевскаго и помъстившимъ лучшія статьи Аполлона Григорьева, и наконецъ къ Зарів (1869—1872), старавшейся сохранить и поддержать преданія этой школы. Въ самой ръчи Достоевскаго и даже въ его чтеніи Пушкинскихъ стиховъ я невольно узналъ столь знакомые мнѣ духъ и пріемы школы, къ которой самъ принадлежалъ, духъ и пріемы только возведенные въ перлъ созданія.

И такъ то, что случилось, было естественно и неизбъжно. На Пушкинскомъ торжествъ должна была одержать верхъ та партія, которая во все продолженіе послъднихъ тридцати лътъ питала и исповъдывала поклоненіе Пушкину, и Достоевскій, самый важный и дъятельный представитель этой партіи, долженъ былъ получить вънокъ первенства, какъ то, что ему принадлежало по всъмъ правамъ и заслугамъ.

Надъюсь, я върно разсказалъ исторію, которой былъ свидѣтелемъ. Другое истолкованіе едва-ли возможно ей дать,—и изъ моего разсказа, можетъ быть, станетъ понятно читателямъ, почему я испытывалъ большую радость. Весь еще исполненный торжественнымъ волненіемъ праздника и мыслями о его значеніи, я повторялъ про себя милыя слова А. Н. Островскаго, сказанныя имъ на объдѣ 7-го Іюня: "будемъ веселиться,—сегодня на нашей улицѣ праздникъ!" Чѣмъ кто больше любилъ русскую литературу, и слѣдовательно Пушкина, тѣмъ больше ему и досталось радости на этомъ торжествѣ.

Но на рѣчь Достоевскаго и можно, и слѣдуетъ взглянуть еще съ другой стороны. Зажигающее дѣйствіе этой рѣчи много зависѣло отъ того, что на ней лежитъ печать особеннаго настроенія, свойственнаго Достоевскому. Именно, тутъ сказалась его широкая способность всему симпатизировать, его умѣнье примирять въ себѣ повидимому несогласимыя настроенія, его стремленіе ничего не отвергать, ничего не исключать безусловно и оставаться вѣрнымъ въ любви къ тому, что разъ онъ полюбилъ.

Можно вообще сказать, что съ него можно брать примѣръ въ двухъ отношеніяхъ: онъ не только можетъ быть образцомъ истиннаго консерватора, но и образцомъ того, какъ слѣдуетъ намъ держать себя въ отношени къ тому, съ чѣмъ мы враждуемъ, что считаемъ ложнымъ и гибельнымъ. По направленію, по духу, онъ самый широкій изъ современныхъ писателей, и потому естественна его любовь къ самому широкому изъ нашихъ геніевъ, къ Пупікину.

Консерватизмъ, патріотизмъ часто поднимаются, какъ нѣчто узкое, тупое, глупое. Такъ оно, конечно, нерѣдко и бываетъ, потому что это душевное настроеніе свойственно огромнымъ массамъ людей, а умы людскіе вообще слабы и ограничены. Но это не относится къ существу дѣла, точно такъ, какъ, напримѣръ, глупые ученые или глупыя книги, встрѣчающіяся такъ часто, не составляютъ возраженія противъ учености и книгъ вообще. По сущности-же, можетъ ли что быть естественнѣе и правильнѣе, чѣмъ любовь къ тому, что насъ окружаетъ, и желаніе сохранить то, что мы любимъ? Мы и любить учимся на людяхъ близкихъ къ намъ, и понимать на томъ умственномъ содержаніи, которое сообщается намъ сначала. Сердце чуткое, умъ чуткій постепенно откры-

ваеть и усвояеть положительную сторону окружающей жизни, то добро, тотъ свътъ ума, ту красоту, которыя составляють главный нервъ всякаго человъческаго существованія, безъ которыхъ это существованіе невозможно. А разъ что нибудь полюбивши, разъ что нибудь понявши, глубокая натура уже не забываеть этого потомъ, уже не можеть этого выкинуть изъ себя, какъ ненужный соръ. Такимъ образомъ, процессъ самый простой и обыкновенный можеть достигать въ одаренныхъ людяхъ самаго высокаго значенія. Люди мало способные къ консерватизму, легко и безъ слъда отвергающіе тъ чувства и мысли, которыя нъкогда въ нихъ жили, очевидно, свидътельствують этимъ о малой своей чуткости, о слабости своей сердечной памяти. Они обыкновенно увлекаются своею энергіею, и въ ней заключается ихъ оправданіе; но зло непониманія, презрѣнія, насилія неизбѣжно примѣшивается къ ихъ дѣятельности и часто искажаеть діла, совершаемыя во имя благородні вішихь цілей.

Достоевскій быль консерваторомъ по натурѣ. Въ немъ сильно, но быстро совершился тотъ процессъ, которымъ почти неизмѣнно характеризуется развитіе всѣхъ значительныхъ русскихъ писателей: сперва они увлекаются отвлеченными мыслями, идеалами, заимствованными съ Запада, потомъ возникаетъ внутренняя борьба и разочарованіе и, наконецъ, пробуждаются—лишь на время подавленныя чувства, любовь къ родной святынѣ, къ тому, чѣмъ жива и крѣпка русская земля. У какдаго бываетъ минута возрожденія, когда онъ говоритъ вмѣстѣ съ Пушкинымъ:

Такъ исчезають заблужденья Съ измученной души моей И возникають въ ней видънья Первоначальныхъ чистыхъ дней.

Но, отказавшись отъ исканія на Запад'в высшихъ руководительныхъ началъ, Достоевскій сохранилъ любовь и уваженіе къ духовной жизни Европы. Да и у насъ, среди разлива того крайняго западничества, которое называется нигилизмомъ, онъ умълъ видъть корень и этихъ извращенныхъ стремленій, умъль понимать и жальть и эти заблудшія души. Этоть взглядь, находящій возможность выхода и примиренія, эта тонкая и широкая симпатія, обнимающая оба полюса нашей умственной жизни и ищущая соединенія ихъ въ нъкоторомъ высшемъ началь и дъль, — есть прекрасная и характерная черта Достоевскаго. Его вражда, такая горячая и волнующаяся, никогда не была безусловнымъ отверженіемъ. Покаявшійся нигилисть, воть тема, которую онь любиль, на которую написано "Преступленіе и Наказаніе" и которая отзывается во всёхъ послёдующихъ его произведеніяхъ. Понятно, почему онъ имѣлъ такую привлекательность для молодыхъ людей, почему на многихъ изъ нихъ онъ успѣвалъ производить самое благотворное дѣйствіе. Та же самая, черта примиряющей симпатіи обнаружилась и на Пушкинскомъ праздникъ. Онъ нашелъ формулу, которая объединяла стремленія западниковъ и славянофиловъ, направляя ихъ къ общей высшей цѣли; естественно, что восторгъ овладълъ въ эту минуту давнишними противниками, и они искренно подали другъ другу руки.

Хорошій быль праздникь, и очень торжественный, и очень содержательный. Вернувшись съ него, я тогда смѣло написаль: "статуя и торжество конечно много будуть содѣйствовать увѣковѣченію имени Пушкина". Теперь, черезъ восемь лѣть, я бы этого никакъ не ска-

залъ. И монументъ, и праздникъ уже кажутся мнѣ очень незначительнымъ дѣломъ для имени, которому выпала на долю дѣйствительная слава,

> Могильный гуль, хвалебный глась, Изъ рода въ роды звукъ бъгущій.

Не мы Пушкину устроили памятникъ и праздникъ; скорѣе онъ ихъ для насъ устроилъ, онъ далъ намъ три дня чистаго воодушевленія, зажегъ въ насъ, хоть на время, искру лучшаго существованія.

И вообще, наши права и заслуги въ разсуждени памяти Пушкина, мнѣ кажется, еще очень не велики, и мы лучше сдѣлаемъ, если будемъ помнить о своихъ обязанностяхъ. Повторю слова, которыя я написалъ тотчасъ послѣ праздника:

"Можетъ быть, уже и теперь звукъ этого имени достаточно часто и громко повторялся, чтобы навсегда остаться въ памяти человъчества, какъ остаются въ ней неизгладимо на вѣки не только Гомеръ и Шекспиръ, но и Пиндаръ, Горацій, и множество именъ самаго различнаго значенія. Скоро должны наступить и со временемъ умножиться въ громадномъ числъ перепечатки произведеній поэта, комментаріи, біографіи, критическія оцѣнки, сравненія, толкованія, и конца этой верениць уже никогда не будетъ. Пожелаемъ же, чтобы какъ можно позже наступила для Пушкина судьба тъхъ безсмертныхъ писателей, которые перепечатываются каждый годъ, изучаются каждымъ подростающимъ ноколъніемъ, но духъ которыхъ уже улетель оть насъ, уже никого не занимаеть, ни на кого не дъйствуетъ. Правда, всегда найдутся люди, для которыхъ и до сихъ поръ слово Горація или Пиндара исполнено души и жизни, какъ будто оно только вчера

написано; но эти люди всегда рѣдкія исключенія. Пожелаемъ же, чтобы для Пушкина такое положеніе дѣлъ еще долго не наступало; чтобы и потомъ эти исключенія были какъ можно многочисленнѣе. Только въ пониманіи духа поэта заключается его истинная слава" *).

AND THE PERSON NAMED IN COLUMN

11 окт. 1888 г.

^{*)} Семейные вечера, 1880, № 6.

НЕКРАСОВЪ И ПОЛОНСКІЙ. *)

(Заря, 1870, сентябрь).

T.

Что такое извъстность?

Въ прошломъ году "Заря" оставила безъ отзыва новое, пятое уже изданіе стихотвореній г. Некрасова; въ нынѣшнемъ году нѣсколько запоздала дать отзывъ объ изданіи сочиненій г. Полонскаго, которое можетъ назваться почти полнымъ и даетъ возможность обозрѣть всю дѣятельность этого поэта.

Такая неисправность нашего журнала зависить отъ двойной причины. Во первыхъ — некуда торопиться. "Заря" не думаетъ каждый годъ измѣнять свои мнѣнія о существенныхъ предметахъ, она отказывается отъ слишкомъ быстраго прогресса, а еще больше отказывается въ дѣлѣ критики отъ поспѣшныхъ замѣтокъ и сужденій, вызываемыхъ не сущностью дѣла, а разными посторонними

Морозт красный пост. Поэма Н. Некрасова. Ціна 15 коп. Спб. 1870.

^{*)} Сочиненія Я. П. Полонскаго. Спб. т. І н ІІ, 1869; т. ІІІ, 1870. Стихотворенія Н. Некрасова. Изданіе пятов. Четыре части. Спб. 1869.

надобностями и соображеніями, въ силу которыхъ часто сегодня оказывается чернымъ то, что еще вчера было бълымъ. "Заря" желаетъ имъть опредпленныя мнънія, и хочетъ держаться этихъ мнъній. Еслиже такъ, то спъшить здѣсь нечего. Уже теперь наши читатели знаютъ наше мнъніе о многихъ писателяхъ современной или недавно минувшей эпохи, а черезъ годъ, или много черезъ два, мы значительно исчерпаемъ кругъ наиболѣе важныхъ явленій нашей литературы.

Это одна причина. А другая заключается въ самой трудности предмета, т. е. поэзіи. Мы уже не разъ высказывали уб'єжденіе, что русская литература, хотя о ней вс'є толкують въ запуски, хотя каждый считаеть себя въ прав'є судить и рядить о ней, есть предметъ въ высшей степени темный и трудный. Но всего трудніве и темн'є въ русской литератур'є—ея поэзія, всего загадочн'є т'є писатели, которые принадлежать къ чист'єйшей и спеціальн'єйшей поэтической области, т. е. лирики стихотворцы. Каждый разъ, когда мы хот'єли взяться за нашихъ поэтовъ, чтобы разбирать ихъ, насъ останавливала чрезвычайная запутанность и странность этихъ явленій, и мы принимались за что-нибудь другое.

Изложимъ дѣло со всею откровенностію. Сравнительно легко писать о такихъ крупныхъ и ясныхъ явленіяхъ, какъ Герценъ, гдѣ можно коснуться, по мѣрѣ силъ, важныхъ и разнообразныхъ вопросовъ, бывшихъ предметомъ общаго вниманія и долгихъ толковъ. Еще легче писать статьи о "женскомъ вопросъ" и о томъ, что человѣкъ имѣетъ душу. Твердить общія истины, писать трактаты въ опроверженіе дикихъ мнѣній или въ защиту ясныхъ какъ день положеній,—дѣло, которое легче многихъ другихъ, и еслибы насъ соблазняли лавры

Добролюбова и Писарева, то мы гораздо чаще предавались-бы этого рода литературнымъ упражненіямъ, которыя притомъ для многихъ вѣроятно весьма не безполезны. Но намъ все совъстино касаться общихъ и избитыхъ темъ, и мы сами добровольно запираемъ себѣ путь къ славѣ. Мы принимаемся за эти легкіе предметы не иначе, какъ съ большими предосторожностями, чтобы, поучая неразумныхъ читателей, не наскучить какъ-нибудь разумнымъ. Мы въ этомъ случаѣ держимся той мысли, которою оканчивается одно стихотвореніе г. Некрасова; вмѣстѣ съ поэтомъ мы часто говоримъ себѣ:

И погромче насъ были витіи, Да не сдѣлали пользы перомъ... Дураковъ не убавимъ въ Россіи, А на умныхъ тоску наведемъ. (Ч. І, стр. 170).

И такъ, есть не мало предметовъ, о которыхъ писать было бы легко, такъ какъ для этихъ предметовъ есть и публика, то есть существуютъ извъстные интересы и вопросы въ массъ читателей, есть и ясныя основанія, то есть существуютъ очень простыя и широкія точки опоры, на которыхъ мы можемъ установить свои сужденія. Но какъ писать о поэзіи? Гдѣ наша публика, читающая поэтовъ? Гдѣ взять мѣрки для сужденія о нашихъ лирикахъ?

Если мы вспомнимъ, что въ нынѣшнемъ году окончено новое, весьма полное изданіе сочиненій Полонскаго, въ прошломъ году вышло пятое изданіе стиховъ Некрасова, въ позапрошломъ вновь изданы и теперь уже, кажется, раскуплены стихотворенія Хомякова и Тютчева, что до сихъ поръ пишутъ Майковъ, Алексѣй Толстой, Алмазовъ и другіе, то окажется, что мы вовсе

не бълны лирическою поэзіею, и что есть-же для нея читатели, требующіе новыхъ изданій своихъ любимыхъ поэтовъ. Г. Некрасовъ, конечно, первенствуеть въ этомъ случав, онъ вышелъ уже пятымъ изданіемъ. Но, какъ ни старались журналы, руководимые г. Некрасовымъ, отбить у читателей охоту ко всякой поэзіи, кром'в той, которою занимается г. Некрасовъ, они очевидно въ этомъ не успѣли. Напримѣръ, успѣхъ Тютчева, поэта очень глубокомысленнаго, очень высокаго по строю своей лиры, ясно показываеть, что у насъ есть еще значительная публика для самыхъ высокихъ родовъ поэзіи. Мы были очень изумлены, прочитавши въ прошломъ году въ "Отечественныхъ Запискахъ" такое извъстіе: "г. Полонскій очень мало изв'єстень публикъ" (См. "От. Зап." 1869 г. сентябрь, стр. 47). Какъ? Полонскій, знаменитый Полонскій очень мало изв'єстенъ! В'єдь поворачивается-же у людей языкъ на подобныя выходки! Я думаю, наборщикъ, набиравшій эту страницу, и корректоръ, правившій ее въ типографіи г. Краевскаго, улыбнулись надъ развязностію этой фразы. Полонскій очень мало извъстенъ! Подобныя вещи можно писать только для гимназистовъ перваго класса, только въ явномъ расчеть на такую публику, которая понятія не имъетъ о русской литературъ и станетъ учиться ей по рецензіямъ "Отечественныхъ Записокъ", станетъ на этомъ журналѣ развивать свой умъ и воспитывать свои сердечныя чувства.

Такая публика конечно есть, и объ ней конечно очень хлопочуть такіе журналы, какъ "Отечественныя Записки". Они никогда не прочь привлечь эту публику на свою сторону и очень желали-бы увѣрить ее, что не стоитъ и обращать вниманія на всю остальную ли-

тературу. Всегда есть мальчики, только что принимающіеся за чтеніе книгь, всегда есть множество и зрѣлыхъ людей, которые, какъ выразился Гоголь, "нѣсколько беззаботны насчетъ литературы". Для нихъ можно смѣло печатать, что Полонскій есть писатель очень мало извѣстный, а что о Тютчевѣ никто даже никогда не слыхалъ.

Но есть другая публика — воть къ чему мы клонимъ свою рѣчь. Есть еще въ немаломъ числѣ такіе удивительные люди, которые любять поэзію и не считаютъ знакомство съ русскою литературою за дело лишнее и безполезное. Такіе люди всѣ до единаго знаютъ и любять Полонскаго, котораго впрочемъ мудрено не знать и тъмъ, которые его не любятъ. Полонскій пишеть около тридцати леть (знаменитыя стихотворенія: "Солнце и Мъсяцъ", "Пришли и стали тъни ночи", написаны-первое въ 1841, второе въ 1842 году); въ теченіе этого времени онъ написаль не мало произведеній первостепенных, то есть представляющихъ несомнънное, чистое золото поэзіи ("Бэда проповъдникъ", "У Аспазіи", "Статуя", "Кузнечикъ Музыкантъ", "Наяды", и пр.); въ силу этого онъ сталъ однимъ изъ образцовыхъ, классическихъ нашихъ поэтовъ, то есть такихъ, который всегда съ почетомъ поминается при перечисленіи сокровищь нашей литературы и безъ произведеній котораго не обходится ни одна хрестоматія. Притомъ, г. Полонскій пишеть до сихъ поръ и пишеть такъ, что ничто не обличаетъ ослабленія его таланта. Мы можемъ ждать отъ него такихъ-же великолъпныхъ произведеній, какими онъ отъ времени до времени дарилъ насъ и прежде. Въ доказательство укажемъ на "Царя Симеона", напечатаннаго въ майской книжкъ "Зари".

Вотъ положение г. Полонскаго въ литературъ. Онъ

такой *извъстиный* писатель, что извъстнъе и быть невозможно при маломъ количествъ нашей публики, при малой нашей любви къ родной литературъ.

Но-что такое Полонскій? Въ чемъ смыслъ его поэзіи? Какія ея отличительныя черты? На эти вопросы дъйствительно не существуеть отвъта. Мальчики въ школахъ учать наизусть его стихи; всѣ знають, други и недруги, что онъ отличный поэтъ; но что такое его поэзія—такъ же мало извъстно, какъ мало извъстно значеніе Пушкина, какъ мало ясень и понятенъ ходъ всего развитія нашей литературы. И въ этомъ отношеніи получаеть нікоторый смысль выходка "Отечественныхъ Записокъ", рѣшившихся провозгласить, что Полонскій очень мало изв'єстень читателямь. Подъ злостью, доходящею до такой наивности, скрывается следующая мысль: г. Полонскій есть явленіе неясное, непонятное; никто не знаеть, что онъ такое, и такимъ образомъ публика намъ повъритъ, если мы скажемъ, что онъ не имъетъ никакого значенія въ литературъ, что онъ не имфеть даже извъстности, такъ какъ ему нечъмъ было ее возбудить и заслужить.

Умные люди, такіе, напримъръ, какіе пишутъ въ "Отечественныхъ Запискахъ", не любять никакихъ неясныхъ, непонятныхъ явленій. Для умника всякое явленіе этого рода—обида, такъ какъ оно ясно свидѣтельствуетъ о несостоятельности его ума, о мелкости его понятій. Въ такихъ случаяхъ умные люди прибѣгаютъ нерѣдко къ очень глупому средству: для спасенія чести своего ума въ своихъ и чужихъ глазахъ, они отрицаютъ непонятное явленіе, стараются отнять у него всякое значеніе. Вотъ причина, по которой въ наши лни такъ ожесточенно нападали на Пушкина; для умниковъ нашъ ве-

ликій поэть—бѣльмо на глазу, камень преткновенія. Воть главная, существенная причина и нападеній на Полонскаго, поэта, который повидимому ничѣмъ не могь раздражить ни одной изъ литературныхъ партій. Онъ раздражаеть умничающихъ господъ самымъ своимъ существованіемъ, самою своею извѣстностію, и вотъ они утверждають, что онъ вовсе не извѣстенъ, что его имя отнюдь не числится въ числѣ именъ русскихъ поэтовъ, что настоящіе наши извъстивые поэты, это—г. Некрасовъ, г. Минаевъ и г. Курочкинъ.

Для поясненія и сравненія обратимся къ г. Некрасову. Г. Некрасовъ, дъйствительно, находится въ другомъ положеніи, чъмъ г. Полонскій; о г. Некрасовъ ни въ какомъ случать нельзя сказать, что онъ поэтъ неизвъстиный. Почему-же? Не потому, что онъ выдержалъ пять изданій, тогда какъ Полонскій выдержалъ только два; обиліе читающихъ можетъ быть только внъшнимъ успѣхомъ, только доказывать, что книга угодила толию, пришлась по вкусу людямъ грубымъ и посредственнымъ, составляющимъ большинство всякой публики. Г. Некрасова нельзя назвать неизвъстнымъ потому главнымъ образомъ, что онъ будтобы поэтъ совершенно опредъленный, что онъ явленіе вполнъ ясное и понятное.

Г. Некрасовъ есть первообразъ нашихъ обличительныхъ поэтовъ, —коихъ было и есть множество. Онъ всю жизнь обличалъ язвы нашего отечества, пороки и страданія чиновниковъ, пустую и развратную жизнь офицеровъ, гнусности Невскаго проспекта, а главное—страданія простаго народа во всѣхъ ихъ многоразличныхъ видахъ, начиная отъ бабы, которая

Завязавши подъ мышки передникъ, Перетянетъ уродливо грудъ (Ч. І, стр. 27),

и до мужика, у котораго

Губы безкровныя, вѣки упавиня, Язвы на тощихъ рукахъ, Вѣчно въ водѣ по колѣна стоявиня Ноги опухли, колтунъ въ волосахъ. (Ч. IV, стр. 130).

Въ силу этого, г. Некрасовъ самъ о себъ говоритъ такимъ образомъ:

Я призвань быль воспѣть твои страданья, Терпѣньемъ изумляющій народъ! И бросить хоть единый лучъ сознанья На путь, которымъ Богь тебя ведетъ (Ч. IV, стр. 225).

Въ силу всего этого, не только теперь, когда существуеть пять изданій стиховъ г. Некрасова, но и десять лѣтъ тому назадъ, когда ихъ существовало только два, уже нельзя было сказать, что г. Некрасовъ поэтъ мало извѣстный. Всякій не только слыхалъ о немъ, но и зналъ, что онъ такое; въ то время, какъ къ Полонскому обращались съ тѣми вѣчными вопросами, которые слышалъ Пушкинъ:

О чемъ бренчитъ? Чему насъ учитъ? Зачъмъ сердца волнуетъ, мучитъ, Какъ своенравный чародъй?

этихъ вопросовъ нельзя было предлагать г. Некрасову, такъ какъ направление его музы было совершенно ясно.

II.

Направленіе Некрасова и Полонскаго.

Вотъ мы и договорились до нѣкоторой точки зрѣнія, съ которой можно, повидимому, судить нашихъ поэтовъ, съ которой довольно ясно и прямо можно было-бы произвести имъ оцѣнку. Стоитъ только задать вопросъ: какого направленія поэтъ?—и расхвалить или разбранить его, смотря по тому, согласны-ли мы съ этимъ направленіемъ или нѣтъ. Написать можно очень много и даже очень занимательно, потому что можно было-бы вложить въ статью весь задоръ и всѣ тѣ мысли, какія возбуждены и выяснены долгою и упорною борьбою.

Особенно соблазнительно—написать такую *критику* на г. Некрасова. Статейку можно было-бы сдѣлать преядовитую, при томъ такую, которая была-бы и не безполезна и справедлива.

Можно было-бы съ избыткомъ отплатить г. Некрасову за всв обиды, которыя въ теченіе долгихъ льтъ были наносимы другимъ поэтамъ въ журналахъ, стоявшихъ и стоящихъ подъ его начальствомъ. Можно было-бы перебрать по пальцамъ и выставить на видъ всѣ тѣ пошлости и фальшивыя ноты, безъ которыхъ не обходится почти ни одна страница его стиховъ. Г. Некрасовъ есть поэтъ чисто петербургскій; онъ носить на себ' вс' характерныя черты нашей съверной Пальмиры, онъ ея духовное дътище. Это поэтъ Александринскаго театра, Невскаго проспекта, петербургскихъ чиновниковъ и петербургскихъ журналистовъ. Стихи его по тону и манеръ очень часто сбиваются на водевильные куплеты того особаго рода, который нъкогда процвъталъ въ нашей "александринкъ". Петербургская погода, картины и сцены петербургскихъ улицъ отразились въ стихахъ г. Некрасова, какъ предметы сильно и постоянно волновавшіе его музу. Что касается до народа, то поэтъ конечно глубоко сожалъетъ о немъ, но сожальеть именно такъ, какъ это свойственно петербургскимъ просвъщеннымъ чиновникамъ и либеральнымъ писателямъ. Народъ для него-страждущая масса, которую не только слѣдуетъ облегчить отъ несомыхъ ею тягостей, но еще болѣе слѣдуетъ просвѣтить, освободить отъ ея дикихъ понятій, облагородить, очистить, преобразовать. Г. Некрасовъ никогда не можетъ воздержаться отъ этой роли просвѣщеннаго, тонко развитаго петербургскаго чиновника и журналиста, и такъ или иначе, но всегда выкажетъ свое превосходство надъ темнымъ людомъ, которому сочувствуетъ. Цѣлый рядъ стихотвореній этого поэта посвященъ изображенію грубости и дикости русскаго народа. Какъ изящное чувство г. Некрасова оскорбляется передникомъ, завязаннымъ подъ мышки, такъ его гуманныя и просвѣщенныя идеи постоянно въ разладѣ съ грубымъ бытомъ, съ грубыми понятіями, съ грубой душою и рѣчью простыхъ людей. Онъ пишетъ особыя стихотворенія на такія будто-бы глубоко народныя темы:

Милаго побои не долго болять!

(Катерина, Ч. IV, стр. 175);

или

Намъ съ лица не воду пить, И съ корявой можно жить, и т. д. (Сватъ и женихъ, Ч. IV, стр. 178).

Онъ всегда не прочь грустно подсмѣяться или тоскливо поглумиться надъ народомъ.

И вотъ истинная причина успѣха г. Некрасова; онъ какъ разъ пришелся по вкусу тому обществу, которое гордится своею образованностію, весьма жалѣетъ мужика, но въ тоже время чуждается народнаго духа. Почитатели г. Некрасова, твердя его стихи, могутъ вполнѣ сохранять свой презрительный взглядъ на народъ, могутъ по прежнему не имѣтъ ничего общаго съ народомъ; и самая любовь къ нему у нихъ является не какъ простой долгъ, не какъ благоговѣйное подчиненіе его духу, а какъ за-

слуга ихъ гуманныхъ понятій, какъ просвъщенное сожалъніе о дикихъ и грубыхъ людяхъ. Таково настроеніе г. Некрасова; онъ думалъ, какъ мы видѣли, что небеса его призвали бросить нѣкоторый лучъ сознанія на путь, которымъ Богъ ведеть русскій народъ. Всв эти обличители суть вмъстъ и просвътители; они не хотять учиться у народа, а сами хотять его учить. Дъйствительно, мы не видимъ, чтобы народныя понятія и идеалы составляли предметь мыслей и пъснопъній г. Некрасова; толкуя безпрестанно о народъ, онъ ни разу не воспълъ намъ того, чъмъ собственно живет народъ, ни единаго чувства, ни единой думы, въ которыхъ-бы отразилось внутреннее развитіе народа, оказалась-бы его великая духовная сила. Нъть ни единаго событія во всей русской исторіи, которое внушило-бы что-нибудь г. Некрасову, котораго смыслъ отразился-бы въ его стихахъ хотя слабымъ отраженіемъ.

> Въ насъ подъ кровлею отеческой Не запало ни одно Жизни чистой, человъческой Плодотворное зерно. (Ч. I, стр. 173).

Вотъ настоящій взглядь г. Некрасова на Россію и русскій народь; при такомъ взглядѣ мудрено быть народнымъ поэтомъ и бросать лучи сознанія на пути провидѣнія, выразившіеся въ нашей исторіи.

И такъ, приговоръ *направленской* критики относительно г. Некрасова могъ-бы быть очень строгъ; этотъ поэтъ есть выразитель и покровитель направленія, которое давно ославило себя крайностями и нелѣпостями, которое составляетъ истинную *болтьзнъ* русскаго общества; г. Некрасовъ есть одинъ изъ писателей наиболѣе страдающихъ этою болѣзнью.

Если теперь обратимся къ г. Полонскому, то, какъ мы замѣтили, мы не найдемъ въ немъ рѣзкаго и узкаго направленія, какъ у г. Некрасова. Это отсутствіе одностороннихъ, кидающихся въ глаза тенденцій "Отечественныя Записки" считаютъ главнымъ недостаткомъ г. Полонскаго; въ направленіи для нихъ главное дѣло, и потому писатель безъ направленія долженъ быть объявленъ не только плохимъ, но, если можно, даже вовсе не существующимъ и никому неизвѣстнымъ.

"Г. Полонскій" (говорить статейка, на которую мы ссылались) "очень мало изв'єстень публикі, и это, какъ "намъ кажется, совсівмь не потому, что онъ писатель толь"ко второстепенный, а потому, что онъ, благодаря своей "скромности, записалъ себя въ число литературныхъ "эклектиковъ. Съ именемъ каждаго писателя (или почти "каждаго) соединяется въ глазахъ публики представленіе "о какой-нибудь физіономіи, хорошей или плохой; съ именемъ г. Полонскаго не сопрягается ничего опредъленнаго".

Вотъ главное нападеніе на г. Полонскаго. Но вовсе не трудно однако-же уб'єдиться, что это нападеніе еще бол'є отличается тупостію, ч'ємъ коварствомъ.

Направленіе у г. Полонскаго есть. Это направленіе, дъйствительно, не имъєть въ себъ ничего ръзкаго, узкаго, бросающагося въ глаза, но, тъмъ не менъе, оно есть направленіе вполнъ ясное и опредъленное. Это—знаменитое направленіе, котораго лучшимъ представителемъ былъ Грановскій. Это—поклоненіе всему прекрасному и высокому, служеніе истинъ, добру и красоть, любовь къ просвъщенію и свободъ, ненависть ко всякому насилію и мраку. По мъсту духовнаго развитія г. Полонскій принадлежить Москвъ и Московскому университету со-

роковыхъ годовъ, и онъ до конца остается въренъ лучшимъ стремленіямъ тогдашней блестящей эпохи. Въ его стихахъ вы безпрестанно встрътите теплое слово, обращенное къ свътлымъ идеаламъ, которыми тогда жила литература и которые въ сущности никогда не должны въ ней умирать. Любовь къ человъчеству, стремленіе къ свъту науки, благоговъніе предъ искусствомъ и предъ всъми родами духовнаго величія—вотъ постоянныя черты поэзіи г. Полонскаго. Если г. Полонскій не былъ провозвъстникомъ этихъ идей, то онъ всегда былъ ихъ върнымъ поклонникомъ.

Совершенно справедливо, что такое направленіе, которое мы называемъ *чистымъ западничествомъ*, не имѣетъ рѣзкаго обособленія, что оно составляетъ нѣкоторый анахронизмъ въ настоящее время, когда мнѣнія раздробились и дошли до своихъ крайнихъ выводовъ; но, тѣмъ не менѣе, это—весьма ясное и, главное, очень хорошее направленіе, не только не хуже, а гораздо лучше того, котораго держится г. Некрасовъ.

Для примъра, приведемъ одно стихотвореніе г. Полонскаго изъ тъхъ, которыя въ первый разъ напечатаны въ его собраніи сочиненій. Мы увърены, наши читатели будутъ намъ весьма благодарны. Поэть обращается къ Россіи.

Бранятъ.

По всёмъ землямъ, на всёхъ моряхъ Ты слышишь гулъ извётовъ ложныхъ И бранный крикъ на всевозможныхъ Тебё знакомыхъ языкахъ. Бранитъ тебя иноплеменникъ, Бранитъ тебя родной твой сынъ, Бранитъ свободный твой измённикъ

И братъ твой, пленный славянинъ. Бранитъ хохолъ великорусскій, Бранитъ малороссійскій ляхъ, Великоруссъ въ уздѣ французской И нъмецъ въ русскихъ орденахъ. Бранять тебя (какъ будто знають!), Бранятъ, когда воображаютъ, Что ты наукой растлена И что измѣны сѣмена Въ тебѣ посѣялъ врагъ лукавый. Бранять за то, что ты върна, Гордишься суетною славой И чтишь орлы да знамена. Бранять за то, что ты богата, Не деньги любишь, а почеть, И потеряла всякій счеть Тобой разбросаннаго злата. Бранятъ за то, что ты бъдна, Раззорена, истомлена-Громада слабости примфрной. Бранять за то, что ты страшна Своею силой непомърной И можешь маніемъ руки Поднять Европу на штыки. Бранять за то, что лицем фришь, Таишь подъ маской простоты Честолюбивыя мечты: За то, что слишкомъ въришь ты, За то, что ничему не въришь И ничего не признаешь. Бранять за правду и за ложь, Бранять за раннюю свободу, Бранятъ за то, что не даютъ Свободы твоему народу. И если я, поэтъ твой бѣдный, Свою надсаживая грудь, Спою тебѣ какой-нибудь Хвалебный стихъ иль гимнъ побъдный, О!-закричать-кого надуть Онъ хочетъ?-человъкъ онъ вредный, Позоръ народа своего! И ежели не лобъ онъ мъдный, То-льстенъ, наплюемъ на него... Но этихъ криковъ и клеветъ Не струсить никакой поэть-Гордиться будеть нареканьемъ, Когда твой умъ или твой духъ Ему послужить оправданьемъ.... 1865 (Т. II, стр. 309).

Воть стихотвореніе, въ которомъ съ удивительною правдивостію изображается настроеніе поэта. Брань, сыплющаяся на Россію, задъваеть его за живое; онъ чувствуетъ расположение сложить своей родинъ какойнибудь побъдный гимнъ, или хоть хвалебный стихъ, но онъ боится, что на него закричать, точно такъ же, какъ нѣкогда кричали на Пушкина:

> Глупцы кричать: куда, куда? Дорога здѣсь!

Этихъ криковъ однако-же не побоялся-бы поэтъ, если-бы умъ или духъ Россіи представляль ясное оправданіе его стиховъ. Но-туть-то и бѣда! Поэть хотя вѣрить, что это оправдание найдется, но еще не видить его, еще ждеть, еще требуеть, чтобы родина принесла и показала это оправданіе. Это искренняя любовь, которая жалуется, что не можеть перейти въ сознательное поклонение своему предмету.

Таково распутіе, на которое постоянно приходять думы поэта. На этомъ распутіи стояли Грановскій, Герценъ, Тургеневъ и главная масса ихъ поколѣнія. Съ этого распутія уже давно сошла русская литература; но мы должны признать это распутье мёстомъ очень чистымъ и сухимъ сравнительно съ тѣми болотами и кочками, въ которые забрались многіе дѣятели послѣдовавшаго поколѣнія. Бѣдный поэть! Оставаясь вѣренъ идеямъ, нѣкогда такъ ярко озарившимъ его юность, онъ подвергается теперь высокомѣрнымъ отзывамъ людей, сузившихъ и доведшихъ до крайности эти самыя идеи. Крайніе западники съ презрѣніемъ смотрятъ на его общіе и широкіе взгляды и стараются увѣрить невѣжественную и несмыслящую публику, что даже у него вовсе нѣтъ никакихъ взглядовъ. Крайніе славянофилы точно также осудили-бы г. Полонскаго за недостатокъ вѣры и проницательности, за то, что его сердце и поэтическое прозрѣніе не были настолько чутки и сильны, чтобы побѣдить колебанія его ума.

III.

Объективная критика.

Не ясно-ли, однако-же, что этотъ судъ, судъ чисто направленской критики, не можетъ быть окончательнымъ, что онъ несправедливъ по своей односторонности и явнымъ образомъ не исчерпываетъ предмета?

Повидимому, мы будемъ ближе къ цѣли, если прибѣгнемъ къ объективной критикѣ, то есть къ такой, которая судить о произведеніяхъ писателя по отношенію къ его личности, измѣряеть ихъ не посторонними мѣрками, а ихъ происхожденіемъ изъ обстоятельствъ жизни, изъ эпохи и развитія писателя. Мы тотчасъ перестанемъ браниться съ г. Некрасовымъ или съ г. Полонскимъ за несходство нашихъ взглядовъ, если примемъ во вниманіе среду, въ которой они жили и воспитались, ихъ личныя особенности, литературныя направленія, въ которыя ихъ толкнула судьба.

Критика направленская, въ сущности, — весьма жестокая критика; ея правило такое: слѣдуетъ порицать писателя за каждое, за самое малѣйшее отступленіе отъ нашихъ мнѣній. Мы только изъ вѣжливости и ради плавности рѣчи назвали ее критикой: въ сущности, это полемика, то есть безпощадное обличеніе всего того, что мы находимъ въ писателѣ вреднымъ, нелѣпымъ, смѣшнымъ съ нашей точки зрънія. Это строгій судъ, который не допускаетъ никакихъ смягчающихъ вину обстоятельствъ и передъ которымъ самые простые и невинные люди неожиданно оказываются развратителями нравовъ и гасителями просвѣщенія.

Критика объективная гораздо милостивъе. Она, напротивъ, все объясняетъ, все оправдываетъ. Если писатель заблуждался, она извиняетъ его свойствомъ образованія, которое ему было дано; дурные вкусы, дурныя стремленія ставятся въ вину не ему лично, а той средъ, въ которой онъ жилъ; ложное направленіе объясняется частными обстоятельствами его жизни, литературной школой, въ которую онъ попалъ, и пр.

Въ нашихъ предъидущихъ замѣткахъ о гг. Полонскомъ и Некрасовѣ уже есть нѣкоторыя черты, относящіяся къ объективной критикѣ, но, для поясненія нашей мысли, мы сдѣлаемъ еще нѣкоторыя замѣчанія.

Съ объективной точки зрѣнія можно-бы не мало сказать о г. Некрасовѣ уже на основаніи того, что содержится въ его стихахъ. О своемъ воспитаніи онъ самъ говоритъ:

Подъ гнетомъ роковымъ провелъ я дѣтство, И молодость—въ мучительной борьбъ (Ч. IV, стр. 224). Сравнивая съ этимъ другія мѣста его стихотвореній, въ которыхъ онъ говорить о своемъ отцѣ, матери и пр., легко вывести, что тяжелыя впечатлѣнія его молодости породили въ немъ скорбное настроеніе, такъ сказать надорвали его душу. Вотъ причина мрачнаго тона его стиховъ, причина, почему его муза стала музой мести и печали.

Дальше—относительно образованія легко вид'єть, что г. Некрасовъ не получиль университетскаго образованія, тогда какъ въ г. Полонскомъ тотчасъ виденъ студентъ Московскаго университета изв'єстной эпохи. Темы историческія, темы изъ древняго міра, общіе научные или эстетическіе взгляды никогда не встр'єчаются у г. Некрасова и, напротивъ, очень обыкновенны у г. Полонскаго. Настоящей школой, университетомъ г. Некрасова былъ Александринскій театръ, откуда онъ заимствовалъ и сюжеты своихъ стиховъ и тотъ водевильный складъ, который сохранился у него до посл'єднихъ дней.

Здѣсь кстати будеть маленькое отступленіе.—Въ нынѣшнемъ пятомъ изданіи своихъ стихотвореній г. Некрасовъ рѣшился на поступокъ, который весьма любопытенъ; именно, напечатавъ въ этомъ изданіи все, что онъ самъ считаетъ достойнымъ вниманія читателей, онъ затѣмъ говоритъ: "Адресую теперь-же къ моимъ роднымъ и гг. библіографамъ мою покорнѣйшую просьбу: не перепечатывать ничего остальнаго послъ моей смерти". (Стих. Некрасова, ч. ІІІ, стр. 132).

Напрасны слезы и моленья!—сказали-бы мы, еслибы писали стихами. Можетъ быть, родные г. Некрасова, если они его любятъ, послушаются его просьбы; но библіографы навѣрное не послушаются, и хорошо сдѣлаютъ. Г. Некрасовъ очевидно желаетъ, чтобы они измѣнили своему священному долгу, своей прямой и непремѣнной обязанности. Какой историкъ не найдеть нелѣпою просьбу—пропустить тѣ или другіе факты? Какой изслѣдователь послушается не только предисловія, а хотьбы и духовнаго завѣщанія, запрещающаго изслѣдовать извѣстные предметы?

Въ настоящую минуту мы ничего такъ не желали бы, какъ имъть передъ глазами совершенно полное изданіе произведеній г. Некрасова; чтобы не было пропущено ни одной строки, чтобы были приведены всѣ варіанты, чтобы были помъщены вещи, являвшіяся безъ имени или подъ псевдонимами, чтобы напечатны были всв письма и записочки г. Некрасова, всѣ стихи неоконченные и никогда не бывшіе въ печати, даже перевранные, но несомнънно ему принадлежащіе, даже сомнительные, но любопытные уже потому, что молва ихъ приписала г. Некрасову. Словомъ, мы очень-бы желали имъть такое изданіе, которое со временемъ конечно приготовять гг. библіографы, люди иногда весьма немудрые, но весьма почтенные въ томъ отношеніи, что для нихъ ніть большей ереси, большаго гръха, какъ искажение или утаивание фактовъ.

Такое изданіе намъ хотѣлось-бы имѣть именно для того, о чемъ мы теперь говоримъ: для объективной критики нашего поэта, для того, чтобы ясно видѣть рожденіе и развитіе его произведеній, чтобы глубже заглянуть въ его душу, прослѣдить, какія вліянія на нее дѣйствовали и какія перемѣны въ ней происходили.

Если-же г. Некрасовъ умоляеть гг. библіографовъ не дѣлать такого изданія, то существенная причина этой просьбы можеть быть только одна: онъ бонтся объективной критики, онъ хотѣль-бы являться передъ публи-

кой только съ лицевой стороны, онъ не хочеть, чтобы видѣли изнанку его дѣятельности.

Постыдный и напрасный страхъ! Очень жаль видѣть, что поэтъ старается уйти отъ критики, что нѣтъ въ немъ вѣры въ достоинство собственныхъ произведеній, что судъ исторіи для него страшенъ, и онъ желалъ-бы скрыть отъ него многіе факты.

Мы сказали, что это страхъ напрасный, и г. Некрасовъ увидить дальше, гдв ему следовало-бы искать прибъжища и утъщенія въ этомъ страхъ. Теперь-же мы хотъли указать именно на то, что объективная критика, хотя она все объясняетъ, извиняетъ и оправдываетъ, очевидно пугаеть писателей не менъе полемической критики. И въ самомъ дълъ, кому можетъ быть пріятно, когда васъ объясняють исторически? Уступка времени всегда есть некоторая слабость; подчинение вліяніямъ жизни, эпохи, случайнымъ обстоятельствамъ всегда указываетъ на нетвердость, неустойчивость души и ума, отклоняемыхъ внѣшними ударами отъ прямаго собственнаго пути развитія. Особенно поэты, люди впечатлительные и отзывчивые, часто грѣшатъ излишнею податливостію, и потому всегда должны ожидать отъ объективной критики непріятныхъ напоминаній и сближеній.

Обращаясь къ г. Полонскому, мы могли-бы тоже указать въ немъ многія личныя, случайныя черты. Много есть у него стихотвореній, вызванныхъ его литературнымъ положеніемъ, которое мы выше опредѣлили. Несмотря на красоту иныхъ стиховъ, ясно, что въ этихъ случаяхъ поэтъ тревожимъ былъ вещами, которыя не стоили его волненій и которыхъ онъ очевидно не успѣлъ возвести въ перлъ созданія. Можно-бы замѣтить пристрастіе г. Полонскаго къ такъ называемому свъту, къ описанію, ба-

ронессъ и иныхъ прелестей свътскаго міра. Этотъ міръ занимаетъ много мъста въ произведеніяхъ поэта, но едвали онъ что-нибудь прибавилъ къ истинному въсу его поэзіи. Можно-бы замътить также, что, тогда какъ душа г. Некрасова была надорвана вынесенными имъ несчастіями, г. Полонскій легко переносилъ испытанія и никогда не падалъ подъ ихъ бременемъ. Для доказательства приведемъ одно стихотвореніе, выпущенное авторомъ въ новомъ изданіи и дъйствительно слабое, но въ этомъ отношеніи замъчательное. Г. Полонскій самъ говоритъ въ этомъ стихотвореніи:

Въ моей душъ проклятій нътъ,

и еще:

Когда судьба меня карала,— Увы! всёмъ общая судьба,— Моя душа не уставала, По силамъ ей была борьба.*)

Такія и подобныя черты имѣють свою важность при изложеніи того образа мыслей и чувствь, когорый выразился въ поэзіи г. Полонскаго; онѣ необходимы для полной характеристики его музы.

IV

Approved to a contract of the contract of the

Поэтъ и его муза.

Но не въ нихъ главное.

Многіе видять въ объективной критикъ верхъ критической мудрости. Но мы уже замѣтили, что она обык-

The sold is the source of the sold of the

^{*)} Кузнечикъ-Музыкантъ, Шутка въ видъ поэмы. Съ добавленіемъ нъкоторыхъ стихотвореній за послъдніе годы. Я. П. Полонскаго. Спб. 1863. Стр. 49 и 50.

новенно весьма непріятна поэтамъ, а теперь прибавимъ, что она не можетъ вполнъ удовлетворить и читателей.

Поэты должны чувствовать себя очень неловко, когда къ нимъ приступають съ этимъ анатомическимъ ножомъ и разсматриваютъ ихъ объективно, какъ будто они жили тысячу лѣтъ назадъ. Да и критикъ, любящій вѣжливость и благопристойность, чувствуетъ себя въ немаломъ затрудненіи. Толковать о сердечныхъ чувствахъ г. Некрасова, объ умѣ и воспитаніи г. Полонскаго, объ ихъ жизни и связяхъ литературныхъ и не литературныхъ—все это предметы щекотливые, говоря о которыхъ, чувствуешь, что ходишь около самой границы вещей, допускаемыхъ публичнымъ словомъ.

Частная жизнь должна быть неприкосновенна для печати; это правило, вообще говоря, мудреное и сложное, имъетъ въ обыкновенныхъ случаяхъ очень простой и ясный смысль. Въ такомъ смыслъ мы готовы сказать, что и критика не должна касаться частных в мыслей и чувство писателя. Напримъръ, поэта критикъ долженъ разсматривать какъ поэта, а отнюдь не какъ простаго человъка, котораго развитие и образъ мыслей требуется опредълить и объяснить исторически. Очевидно, было-бы величайшею нелъпостію, если-бы стихи гг. Полонскаго и Некрасова послужили намъ только для изображенія ихъ фигуры какъ частныхъ людей. Людей, подобныхъ г. Некрасову или Полонскому по ходу развитія, по эпох'ь, по испытаннымъ вліяніямъ со стороны общества, литературы, семейства и пр., конечно существуетъ великое множество, и одна изъ задачъ критики и исторіи состоить въ томъ, чтобы написать характеристику этой толны. Но остановиться на этомъ значить буквально втолкнуть гг. Полонскаго и Некрасова въ толну, изъ

которой они вышли. На насъ лежить дѣло болѣе трудное и болѣе благородное; отъ насъ требуется понять ту силу, которая поставила ихъ выше толпы, тотъ ихъ особенный даръ, который принесъ толпѣ то, чего у нея не было,—поэзію.

объективная критика очень легко обращается въ то, что извъстно подъ именемъ "критики камердинера". Для лакея нътъ великаго человъка; такъ точно иной объективный критикъ въ самомъ великолъпномъ поэтъ пропускаетъ главное, —его поэзію, и видить въ немъ только обыкновеннаго человъка, —порожденіе извъстной эпохи, извъстныхъ обстоятельствъ, литературной школы, и такъ далъе, и такъ далъе.

Но, если мы отвергнемъ и направленскую критику, и критику объективную, то мы должны будемъ признать, что есть у каждаго творческаго писателя нѣчто стоящее выше его направленія и его личности. Что-же это такое?

Такъ какъ дѣло касается факта стариннаго и неотразимо бросающагося въ глаза, то припомнимъ давнишнія обозначенія этого факта. Издавна говорять, что поэты получають вдохновеніе, что они обладають творческимъ даромъ, который дѣйствуеть безсознательно. Справедливость этихъ указаній несомнѣнна. Есть поэтъ котораго нельзя упрекнуть ни въ какой фальши, ни въ какомъ напряженномъ и преувеличенномъ изображеніи своихъ чувствъ, и онъ разсказываеть объ этомъ фактѣ такъ:

Пока не требуеть поэта
Къ священной жертвъ Аполлонъ,
Въ заботахъ суетнаго свъта
Онъ малодушно погруженъ.
Молчитъ его святая лира,
Душа вкушаетъ хладный сонъ.

И межг дътей ничтожных міра
Быть можеть всьхъ ничтожный онъ.
Но лишь божественный глаголъ
До слуха чуткаго коснется,
Душа поэта встрепенется,
Какъ пробудившійся орелъ, и пр.

Сила неуловимая, независимая оть воли, нисходящая свыше и превосходящая своимъ достоинствомъ обыкновенныя силы людей, въ которыхъ она обнаруживается—таково давнишнее понятіе о поэтическомъ вдохновеніи.

Сдёлаемъ нёкоторыя предварительныя замёчанія. Ничего нътъ мудренаго въ томъ, что для поэтической дъятельности требуется вдохновеніе, то есть особенное одушевленіе, и что эта д'ятельность совершается отчасти безсознательно. Тоже требуется и тоже происходить и при всякой другой діятельности. "Вдохновеніе нужно въ геометріи, какъ и въ поэзіи", говорить Пушкинъ. Точно также, мы ничего не дълаемъ вполнъ сознательно, кром'в разв'в самыхъ простыхъ и ясныхъ д'вйствій, при которыхъ не бываеть ни напряженія, ни волненія. Вполнъ оцѣнить свои дѣйствія, вполнѣ сообразить ихъ смысль и причины человъкъ можеть обыкновенно только спустя нъкоторое время послъ того, какъ совершилъ эти дъйствія. Часто-же онъ и вовсе не можеть этого сділать, часто понимаеть человъка только другой человъкъ, а не онъ самъ.

И такъ, немудрено, что поэты не въдають сами, что творять; но интересно и замъчательно, что ни въ какой другой человъческой дъятельности эта безотчетность не простирается до такой степени, какъ у поэтовъ. Они—какъ пророки; въ нихъ какъ будто говоритъ чужой духъ, чужая воля.

Выведемъ нѣкоторыя слѣдствія, и дѣло будеть яснѣе. Мы, разумѣется, не думаемъ, что поэты суть только орудія какихъ-нибудь другихъ существъ, Музъ и Аполлона; нѣтъ, ихъ вдохновеніе и творчество есть произведеніе ихъ собственной души. Но эту душу мы должны представлять себѣ въ томъ странномъ раздвоеніи, которое составляеть ихъ силу и слабость, ихъ счастіе и отчаяніе, и такъ часто обнаруживается рѣзкимъ образомъ во всей ихъ фигурѣ, во всей ихъ судьбѣ.

Много есть на свътъ людей, въ которыхъ содержатся самые чудесные задатки, самыя великол виныя возможности. Кому удалось видъть такихъ людей въ благопріятныя минуты, когда ихъ силы только-что раскрывались, только еще объщали свое развитіе, или когда они вдругь развертывались во всю свою глубину и ширину, тоть, конечно, останавливался въ изумленіи передъ этимъ зрълищемъ. Какой блескъ, какая красота! И что-же? Никакая сила не можетъ быть передана или пріобрѣтена, но всякая можеть быть подавлена, остановлена, задушена. Люди много объщавшіе, явно носившіе въ своей душъ богатство самыхъ прекрасныхъ силъ, обыкновенно не выполняють своихъ объщаній, понижаются, тускнуть и дълаются часто весьма пошлыми людьми, если только не погибають вовсе. Они теряють иногда даже пониманіе того, что ніжогда такъ громко говорило въ ихъ душъ, они съ презръніемъ и насмъшкою отзываются о тёхъ великолённыхъ сокровищахъ, которыми когда-то владели, но смыслъ которыхъ для нихъ потомъ утратился. Не знаетъ иногда человъкъ цъны самому себъ, не бережеть того, что въ немъ всего драгоценне, и меняеть эти драгоцънности на всякія житейскія побрякушки. Да и жизнь, вообще говоря, не мать, а мачиха.

Такова обыкновеннная исторія; въ той или другой степени она совершается съ каждымъ человѣкомъ; въ каждомъ человѣкъ гибнуть зародыши многихъ силъ и лишь немногое вполнѣ развивается.

Совершенно подобное явленіе происходить въ душів поэтовъ, но только не въ теченіи долгаго времени, а ежеминутно, по крайней мірів пока они остаются поэтами. Процессъ развитія силъ и ихъ погасанія дівлается хроническимъ, и поэть носить въ себів постоянно два міра, двів душевныхъ области, одну світлую, а другую темную. Противорічніе, существующее между пламеннымъ юношей и опошлівшимъ старикомъ, какъ-будто является въ душів поэтовъ не послівдовательно, а единовременно. Можно сказать, что иной поэть бываеть въ одно время и юнь и старъ, и умень и тупъ, и возвышень и пошль.

Это странное явленіе ничуть однако-же не страннъе того, что человъкъ быль когда-то уменъ, но не сохранилъ своего ума и отупълъ. Мы съ изумленіемъ спрашиваемъ: куда-же дъвался этотъ умъ? какъ это возможно? Такъ точно поэтъ, только что создавшій превосходное произведеніе, оказывается тутъ-же обыкновеннымъ и даже тупымъ человъкомъ, и мы съ изумленіемъ спрашиваемъ: куда-же дъвался божественный огонь, который мы видъли?

Для многихъ поэтическій даръ составляеть тоже, что воспоминаніе о быломъ счастьи или о блестящей роли, которую когда-то удалось играть человіну: это и радость и музыка; это источникъ борьбы и всякаго разлада.

Но нужно брать вещи такъ, какъ онѣ есть. Нелѣпъ быль-бы тотъ критикъ, который, находя въ поэтѣ обыкновеннаго человѣка или дюжиннаго мыслителя, порѣшилъбы на этомъ основаніи, что его читать и хвалить не

стоить. Принимаясь за изученіе поэта, нелѣпо ставить на первое мѣсто его направленіе или личныя особенности. Прежде всего и больше всего нужно имѣть въ виду ту преображенную личность, которую носить въ своей душѣ всякій истинный поэть и которая иногда далеко не совпадаеть съ его будничною и такъ сказать внѣшнею личностію. А иначе мы ничего не поймемъ, мы упустимъ самую суть дѣла, гоняясь за вещами второстепенными.

Направленіе поэта можеть быть для него мало характеристично. Созданное другими, вытекающее изъ ложныхъ или правдивыхъ, но во всякомъ случат сильныхъ потребностей умственной жизни цълаго народа, направленіе можеть захватить съ собой поэта точно такъ же, какъ оно захватываеть тысячи другихъ людей. Конечно, есть высшія натуры, которыя не поддаются общему потоку. Пушкины или Львы Толстые-безопасны отъ всякихъ направленій и твердо идуть своею дорогою, которая оказывается прямъе, новъе и шире всъхъ современныхъ имъ направленій. Но люди меньшей силы бывають увлекаемы общимъ потокомъ. Тогда всего важнъе слъдить не за потокомъ, а за тою борьбою съ нимъ, которан всегда обнаруживается у самостоятельнаго таланта; настоящій поэть все-таки останется самимь собою, выскажеть свою душу. Мы были-бы чрезвычайно несправедливы къ г. Некрасову, если бы сморъли на него, какъ на нъкотораго Минаева большихъ размъровъ, хотя такъ смотрить на себя самъ г. Некрасовъ, хотя въ минаевщинъ онъ поставляетъ всю свою славу. Въ г. Некрасовъ есть нъчто большее, чего нъть въ г. Минаевъ и во всемъ направленіи, которому они оба служать.

Точно такъ, поэты способны нѣкоторымъ таинственнымъ процессомъ подниматься выше случайныхъ и чисто

личныхъ своихъ обязанностей. Въ поэтъ два человъка—
онъ самъ и его муза, то есть его преображенная личность, и между этими двумя существами часто идетъ тяжелая борьба. Есть натуры столь высокія и свътлыя, что въ нихъ муза и человъкъ одно,—и тогда судьба человъка сливается съ судьбами его музы. "Пушкина погубила стихія Алеко, жившая въ немъ и внезапно вышедшая изъ-подъ власти его заклинаній». (Слова Ап. Григорьева). Но обыкновенно поэты живутъ въ нъкоторомъ хроническомъ разладъ между музою и человъкомъ. Великое чудо здъсь состоитъ въ томъ, что муза сохраняется и развивается иногда при самыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ.

Таковы эти удивительные люди, которыхъ мы называемъ поэтами. Среди вліяній самыхъ разнородныхъ, среди упорныхъ умственныхъ теченій, среди всякой борьбы и всякаго хаоса, они растутъ питаемые внутреннею, независимою силою. Впечатлительные, отзывчивые, они часто откликаются на все, что имъ встрѣтится въ жизни, они похожи на эхо, съ которымъ и сравнилъ себя величайшій изъ нашихъ поэтовъ:

Ты внемлень грохоту громовъ И гласу бури и валовъ, И крику сельскихъ пътуховъ И шлешь отвыва... Таковъ И ты поэтъ!

Поэтъ то грустенъ, то радостенъ, то нѣженъ, то суровъ, то любитъ, то ненавидитъ людей; каждый день онъ повидимому увлеченъ новыми предметами. Вотъ почему люди прозы, люди опредѣленныхъ занятій, узкаго дѣла, такъ часто негодуютъ на поэтовъ; "Что за флюгеры! Чего они хотять? Чему учать? Ничего не разберешь! Только попусту смущають народъ!"

А между тёмъ совершается дивное дёло, которое потому и не можетъ быть легко понято и опредёлено, что оно дёло дивное и глубокое. Вспомнимъ Пушкина. Какъ долго недоумёвала русская литература надъ его поэзіей; прочтите Бёлинскаго, Гоголя—они не умёли сказать ничего больше сказаннаго самимъ Пушкинымъ: моя поэзія есть эхо. Между тёмъ, благодаря Ап. Григорьеву, мы знаемъ теперь отчасти смыслъ совершившихся чудесь: побёда надъ чужими типами, пробужденіе русскаго идеала, положеніе основъ самобытной литературы,—вотъ что случилось, вотъ что совершиль человёкъ, родившійся

Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Онъ сдълалъ больше, чъмъ онъ самъ ожидалъ; въ его поэзіи отозвались всъ струны русской души, даны были всъ элементы, которые потомъ разработывала наша литература; самъ Левъ Толстой можетъ быть причисленъ къ продолжателямъ пушкинскаго дъла.

V.

Характеристика Полонскаго.

И такъ, мы вступаемъ наконецъ въ область *чистой*, настоящей критики. Требуется опредълить въ поэтъ то, что составляеть его существенную силу, характеризовать его музу, его преображенную личность, его дъйствительное дъло.

Какая трудная задача! На первый разъ мы вздумали ограничиться однимъ г. Полонскимъ, но, кажется, выбрали

себѣ для начала самаго труднаго изъ нашихъ поэтовъ. Когда мы стали перебирать его произведенія съ точки зрѣнія поэзіи, мы заблудились въ нихъ, какъ въ лѣсу безъ дороги. Какое разнообразіе, какіе странные арабески! Воть яркая картина природы, переходящая въ свътлую, неопредъленную думу, воть голая и узкая мысль, на которой, какъ на сухой и безлиственной вътви, вдругъ распустилась пышнымъ цвъткомъ поэтическая картина. Вотъ аллегорія, въ которой аллегорическій образъ сталъ несравненно шире и живописнъе того, что онъ долженъ былъ изображать; вотъ серьезная мысль, переходящая въ шутку, которая поражаеть своей дерзкой легкостію и въ этой легкости глубиною живого, поэтическаго пониманія. Заманчиво, прихотливо сочетаются краски, образы, звуки, свидътельствуя о какомъ-то неистощимомъ родникъ поэзіи, о чародъйской способности г. Полонскаго обращать въ свою поэзію все, до чего онъ не коснется.

Настоящій, прирожденный поэть.

Но мы пришли въ великое затрудненіе, когда вздумали опредѣлить духовный образъ этой прелестной музы. Г. Полонскій имѣетъ полное право смѣяться надъ своими критиками, и особенно надъ тѣми, которые надъ нимъ смѣются или его поучаютъ. Эти критики доказываютъ, что поэтъ задалъ имъ задачу не по силамъ.

Въ нашемъ затрудненіи мы обратились за помощію къ г. Тургеневу. Г. Тургеневъ написалъ о г. Полонскомъ небольшое письмо въ редакцію Спб. Вѣдомостей. Это письмо такъ хорошо и многосодержательно, что мы приведемъ его здѣсь вполнѣ и только подчеркнемъ тѣ мѣста, на которыя желаемъ обратить вниманіе читателей.

"Милостивый государь! Я не раздѣляю мнѣнія, кото-"рое, какъ вамъ извѣстно, въ большомъ ходу между ху"дожнической и литературной братіей—между артистами "вообще—мнѣнія, что критика—безполезное дѣло, и что "гг. критики злобствують вслѣдствіе собственнаго без"силія; я, напротивъ, полагаю, что особенно у насъ, въ "Россіи, критикѣ предстояла и предстоитъ великая и важная "задача, которую она не разъ уже разришала блестя"шимъ образомъ въ лицъ Бълинскаго, Добролюбова "и нѣкоторыхъ другихъ, и которая не потеряетъ своего пер"востепеннаго значенія до тѣхъ поръ, пока будутъ не"обходимы у насъ педагогическія отношенія сознательно "мыслящихъ умовъ къ остальной массѣ общества. При "подобномъ возърѣніи на критику, мнѣ тѣмъ больнѣе ви"дѣть это могущественное орудіе въ рукахъ неискусныхъ
"и недобросовѣстныхъ—и вотъ причина, побудившая "меня обратиться къ вамъ съ настоящимъ письмомъ".

"Нечего и говорить, что рѣчь идеть не обо мнѣ. Ни-"кто въ своемъ дѣлѣ не судья; да и въ концѣ концовъ "мнѣ на критику слишкомъ жаловаться нечего. Правда, "въ послѣднее время я самъ себѣ напоминалъ тѣ турецкія "головы, о которыя посѣтители народныхъ гуляній про-"буютъ свои силы ударомъ кулака: не было ни одного "начинавшаго критика, который не попыталъ-бы надо "мною своего размаха... И то не былъ "размахъ безъ "удара", по выраженію Бѣлинскаго; напротивъ, иной билъ "очень ловко и мѣтко*). Но, повторяю, рѣчь не обо мнѣ. "Я хочу сказать нѣсколько словъ о статъѣ, появившейся "въ сентябрской книжкѣ "Отечественныхъ Записокъ", "и посвященной разбору сочиненій Я. П. Полонскаго,

^{*)} Именно теперь, по поводу моихъ "Литературныхъ Воспоминаній", кажется, снова поднимается знатная травля... На здоровье, господа.

"правильнъе говоря—первыхъ двухъ томовъ новаго изда-"нія его сочиненій".

"Статья эта попалась мнѣ въ руки въ то самое время, "когда я оканчивалъ чтеніе появившихся въ покойной ""Литературной Библіотекъ" "Признаній Сергья Чалы-"гина". Публика наша, кажется, не обратила никакого "вниманія на это зам'вчательное произведеніе Полонскаго. "Недостатокъ-ли симпатіи къ журналу, въ которомъ оно "появилось, недовъріе-ли ко всякому стихотворцу, пишу-"щему прозой, причиною этого равнодушія—не знаю; но "знаю несомнѣнно, что оно незаслуженное, и что нашей "публикъ не часто предстоитъ читать вещи, болъе достой-"ныя ея вниманія. "Признанія" эти, которыхъ вышла "только первая часть, принадлежать къ роду литературы, "довольно тщательно воздёланному у насъ въ послёднее "время, а именно-къ "воспоминаніямъ д'єтства". Усту-"пая извъстнымъ "Воспоминаніямъ" графа Л. Н. Тол-"стаго въ изящной отдёлкё деталей, въ тонкости психо-"логическаго анализа, "Признанія Чалыгина" едва-ли не "превосходять ихъ правдивой наивностью и върностью "тона-и, во всякомъ случав, достойны занять место , непосредственно вслъдъ за ними. Интересъ разсказа не "ослабъваетъ ни на минуту; выведенныя личности очер-"чены немногими, но сильными штрихами (особенно хо-"рошъ декабристъ, другъ матери Чалыгина), и самый "колорить эпохи (дъйствіе происходить около двадцатыхъ "годовъ текущаго столѣтія) схваченъ и переданъ живо "и точно. Вполнъ удалось автору описаніе извъстнаго "наводненія 1824 г., такъ, какъ оно отразилось въ се-"мейной жизни; читатель присутствуеть при внезапномъ "вторженіи великаго общественнаго бъдствія въ замкну-"тый кругь частнаго быта; каждая подробность дышеть

"правдой. Выраженія счастливыя, картинныя попадаются "на каждой страниць и съ избыткомъ вы купаютъ нько-"торый излишекъ вводныхъ разсужденій — единственный и "въ сущности маловажный недостатокъ произведенія г. "Полонскаго. Впрочемъ, онъ уже до "Признаній Чалы-"гина" показалъ, что умъетъ такъ же хорошо писать "прозой, какъ и стихами. Стоитъ вспомнить его "Тифлис-"скія сакли", его "Груню" и т. п. Нельзя не пожелать, "чтобы онъ довелъ до конца эти интересныя "Признанія".

"Г. критикъ "Отечественныхъ Записокъ", авторъ выше"упомянутой статьи въ сентябрьскомъ №, совершенно про"тивуположнаго мнѣнія о талантѣ г. Поло нскаго. Онъ
"находитъ въ его сочиненіяхъ одну "безконе чную кани"тель словъ, связь между которыми обусловливается лишь
"знаками препинанія, безсодержательное сотрясеніе воз"духа, несносную пугливость мысли, немогущей вызвать
"ни одного опредѣленнаго образа, формулировать ни
"одного яснаго понятія; туманную расплывчивость вы"раженія, заставляющую въ каждомъ словѣ предпола"гать какую-то непріятную загадку" *), и все это по"тому, что г. Полонскій, по понятію критика, не что
"иное, какъ писатель безо всякой оригинальности, без"личный, второстепенный писатель-эклектикъ".

"Не могу не протестовать противъ подобнаго при-"говора; не могу не заявить, что критикъ, его произ-"нестій, тѣмъ самымъ наглядно показалъ, что лишенъ "главнаго качества всякаго критика, лишенъ *чутья*— "понимать, лишенъ умѣнія проникнуть въ чужую лич-"ность, въ ея особенность и значеніе. Оставляю въ сто-"ронѣ всѣ эти "канители", "сотрясенія воздуха"—всѣ

^{*)} См. "Отеч. зап." за сентябрь 1869 г. "Новыя книги", стр. 49.

"эти "жестокія" слова, пущенныя въ ходъ для уснащи-"ванія рѣчи; но самое опредѣленіе Полонскаго, какъ писа-"теля несамобытнаго, эклектика, невърно въ высшей степе-"ни. Если про кого должно сказать, что онъ не эклектикъ, "не поетъ съ чужаго голоса, что онъ, по выраженію А. де-Мюссе, пьетъ хотя изъ маленькаго, но изъ своего стакана *), такъ это именно про Полонскаго. Худо-ли, хо-"рошо-ли онъ поетъ, но поетъ уже точно по своему. "Да и скажите, прошу васъ, кому подражалъ Полонскій въ "своемъ "Кузнечикъ-Музыкантів", этой прелестной, "исполненной граціознаго юмора, идилліи, которая "переживетъ и уже пережила многое множество со-"временныхъ ей произведеній, выступивтихъ въ "свътъ съ гораздо большими претензіями? Г. критикъ "не признаеть оригинальности въ Полонскомъ; но стоить "обладать лишь некоторою тонкостію слуха, чтобъ тот-"часъ признать его стихъ, его манеру **). Стихотворе-"ніе, которое г. критикъ-не безъ коварнаго умысла-"(постыдная, въ нашей журналистикъ часто употребляе-"мая уловка)—приводить "какъ одно изъ лучшихъ" ***),

или:

Прихвачу летучій локонъ Я вънкомъ изъ бълыхъ розъ, Что роститъ по стекламъ оконъ Утренній морозъ—

^{*) &}quot;Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre".

**) Кто не чувствуеть особаго оригинальнаго оборота, особаго лада стиховъ въ родъ слъдующихъ:

Уже надъ ельникомъ, изъ-за вершинъ колючихъ Сіяло золото вечернихъ облаковъ, Когда я рвалъ весломъ густую съть пловучихъ Болотныхъ травъ и водяныхъ цвътовъ—

тому, конечно, этого растолковать нельзя. Это не по его части ***) Стихотвореніе "Царство науки не знаеть предёла".

"и надъ которымъ онъ потомъ глумится—вовсе не можетъ "служить примѣромъ того, чѣмъ собственно отличается поэ-"зія Полонскаго. Въ этомъ стихотвореніи выражается скорѣе "слабая сторона его таланта, а именно: его нъ-"сколько наивное подчиненіе тому, что называется "высшими срилософскими взглядами, послъднимъ сло-"вомъ общечеловъческаго прогресса и т. п. Искреннее ува-"женіе, даже удивленіе, которымъ онъ проникается пе-"редъ лицомъ этихъ "вопросовъ", внушаеть ему стихо-"творенія, то торжествующія, то печальныя, въ которыхъ "благонамъренность и чистота убъжденія не всегда со-"провождается глубиною мысли, силой и блескомъ "выраженія. Не въ подобных в произведеніях в слёдуеть "искать насгоящаго Полонскаго; зато тамъ, гдв онъ го-"ворить о дъйствительно пережитыхъ имъ ощущеніяхъ и "чувствахъ, тамъ, гдъ онъ рисуетъ образы, навъянные "ему то ежедневною, почти будничною жизнью, то свое-"образною, часто до странности смѣлою фантазіей (укажу, "напр., на стихотвореніе "Тишь и Мракъ") — тамъ онъ, "если не всякій разъ заявляеть себя мастеромъ, то уже "навърное всякій разъ привлекаетъ симпатію читателя, "возбуждаетъ его вниманіе, а иногда, въ счастливыя ми-"нуты, достигаеть полной красоты, трогаеть и потрясаеть "сердце. Талантъ его представляетъ особенную, ему лишь "одному свойственную, смысь простодушной граціи, "свободной образности языка, на которомъ еще ле-"жить отблескь пушкинскаго изящества, и какой-"то иногда неловкой, но всегда любезной, честно-"сти и правдивости впечатльній. Временами, и какъ-"бы безсознательно для него самого, онъ изумляеть про-"зорливостью поэтическаго взгляда... (см. стихотвореніе: ""Жалобы Музы" въ "Оттискахъ"). Древній міръ так"же не чуждъ его духу; нѣкоторыя его "античныя" "стихотворенія прекрасны (напр. "Аспазія", "Наяды").

"Позволю себѣ привести въ подтвержденіе словъ "моихъ стихотвореніе "Чайка". Я не много знаю сти-"хотвореній на русскомъ языкѣ, которыя по теплотѣ "чувствъ, по унылой гармоніи тона стояли бы выше этой ""Чайки". Весь Полонскій высказался въ немъ".

Yažra.

Подняль корабль паруса; Въ море спѣшить онъ, родной покидая заливъ... Буря его догнала—и швырнула на каменный рифъ.

Бьется онъ грудью объ грудь

Скалъ, опрокинутыхъ вѣчнымъ прибоемъ морскимъ... А бѣлогрудая чайка летаетъ и стонетъ надъ нимъ.

Съ бурей обломки его

Въ даль унеслись; чайка сѣла на волны—и вотъ Тихо волна, покачавъ ее, новой волнѣ отдаетъ.

Вонъ-отдѣлились опять

Крылья отъ скачущей пѣны—и вѣтра быстрѣй Мчится она, упадая въ объятья вечернихъ тѣней.

Счастье мое-ты корабль.

Море житейское быеты вы тебя бурной волной. Если погибнены ты, буду какы чайка стонаты нады тобой.

Буря обломки твои

Пусть унесеть! Но пока будеть пѣна блестѣть, Дамъ я волнамъ покачать себя, прежде чѣмъ въ ночь улетѣть.

"Всякій, даже поверхностный читатель легко замів-"тить струю тайной грусти, разлитую во всихи про-"изведеніяхь Полонскаго; она свойственна многимь рус-"кимь, но у нашего поэта она иміветь особое значеніе. Вь "ней чувствуется нікоторое недовиріе къ себи, къ своимь "силамь, къ жизни вообще; въ ней слышится отзвучіе "горькихь опытовь, тяжелыхь воспоминаній... Отно"сительная холодность публики, -- особенно нын шней, "къ его литературной деятельности, вероятно также при-"бавила каплю своей полыни... И воть, послъ свыше "двадцати - пяти - лътней, честно пройденной карьеры, "является критика, которая развязно и самоув вренно, "словно это само собою разумвется, кругить, вертить, "рѣшаеть-и, не подозрѣвая даже въ своемъ самодоволь-"ствъ, на сколько ложно, и не въ ту сторону, не по слиду "она сама выступаеть и движется, произносить свой ни-"чъмъ неоправданный судъ! Г. Полонскому конечно не-"чего вмѣшиваться въ эти дрязги; но да извинитъ меня "его скромность, если я ръшаюсь печатно вступиться "за него, если я беру на себя смълость замолвить за "него слово! Я позволю себъ сказать публикъ, что, на "этот разъ, она неправа и что деятельность такого "поэта, каковъ Полонскій, заслуживаеть большаго сочув-"ствія; я позволю себѣ обратить ея вниманіе на то, что "трудно писателю, какъ бы сильно ни было въ немъ "чувство собственнаго призванія, трудно ему не усо-"мнится въ немъ, когда его произведенія встрѣчаются "однимъ лишь глухимъ молчаніемъ, или гаерскими за-"вываніями, свистомъ и кривляньями нашихъ псевдо-"сатириковъ! Что же касается до критика "Отечествен-"ныхъ Записокъ", то ограничусь тъмъ, что выражу ему "одно мое убъжденіе, надъ которымъ онъ, въроятно, вдо-"воль посмъется. Нъть никакого сомнънія, что, въ его "глазахъ, патронъ его, г. Некрасовъ, неизмѣримо выше "Полонскаго, что даже странно сопоставлять эти два »имени: а я уб'вжденъ, что любители русской словес-"ности будуть перечитывать лучшія стихотворенія По-"лонскаго, когда самое имя г. Некрасова покроется заб-"веніемъ. Почему-же это? А просто потому, что въ дили "поэзіи живуча только одна поэзія, и что въ бѣлыми "нитками спитыхъ, всякими приностями приправленныхъ, "мучительно высиженныхъ измышленіяхъ "скорбной" му-"зыки г. Некрасова—ея-то, поэзіи-то и нѣтъ на грошъ, "какъ нѣтъ ея, напримѣръ, въ стихотвореніяхъ всѣми "уважаемаго и почтеннаго А. С. Хомякова, съ которымъ, "спѣшу прибавить, г. Некрасовъ не имѣетъ ничего общаго".

"Dixi et animam meam salvavi". (С.-Петербургскія Вѣдомости, 1870, 8 янв. № 8)

Это письмо, конечно, заслуживаеть большаго вниманія и большей долговѣчности, чѣмъ простая газетная статейка, исчезающая изъ памяти почти такъ же скоро, какъ истребляются газетные листы. Мы представляемъ читателямъ въ этихъ страницахъ г. Тургенева прекрасный образчикъ того, что называется настоящею критикою. Г. Тургеневъ отлично знаетъ въ чемъ дѣло, и въ его словахъ нѣтъ никакого слѣда ни полемической, ни объективной критики. Онъ все вниманіе устремилъ на самое главное—на музу г. Полонскаго, а не на его частную жизнь и не на его направленіе.

Тѣмъ прискорбнѣе и страннѣе ошибка г. Тургенева во взглядѣ на нашу критику. Въ началѣ онъ хвалитъ, какъ образцовыхъ критиковъ, Бѣлинскаго и Добролюбова. Но если такъ, то зачѣмъ же самъ онъ не слѣдуетъ этимъ критикамъ и зачѣмъ вооружается противътѣхъ, которые имъ слѣдуютъ?

Развѣ не Бѣлинскій и Добролюбовъ завели у насъ полемическую критику? Бѣлинскій сбился на этотъ путь въ концѣ своей жизни, но онъ подалъ первый примѣръ, который потомъ былъ полхваченъ и разработанъ съ величайшимъ усердіемъ. Критика Добролюбова была уже

чисто полемическая. Авторъ статейки "Огечественныхъ Записокъ" есть одинъ изъ того полчища критиковъ, которые теперь идутъ по слѣдамъ Бѣлинскаго и Добролюбова. Какъ мы видѣли, въ словахъ этого автора есть нѣкоторый смыслъ; мысль его наставниковъ все-таки сквозитъ изъ за его ухорскихъ и не совсѣмъ толковыхъ порицаній.

И такъ, не слъдовало хвалить родоначальниковъ и осуждать послъдователей, не слъдовало ссылаться, какъ на образцы, на Бълинскаго и Добролюбова въ той самой критической статьъ, которая написана отнюдь не по началамъ Бълинскаго и Добролюбова.

Затъмъ, мы должны признать, что похвалы г. Тургенева г. Полонскому отличаются большою тонкостію, и что мъра ихъ чрезвычайно справедлива. Можетъ быть нъсколько преувеличено достоинство "Признаній Сергъя Чалыгина", но всъ остальные отзывы мы считаемъ безукоризненно-върными. "Кузнечикъ-Музыкантъ" есть конечно лучшее произведеніе г. Полонскаго и такъ хорошъ, что дъйствительно, пожалуй, переживетъ г. Некрасова.

Г. Тургеневъ, какъ мы видимъ, осуждаетъ то вредное вліяніе, которое имѣло на г. Полонскаго его направленіе; муза "Кузнечика-Музыканта" очевидно пострадала отъ борьбы, которую она вела съ этимъ направленіемъ. Г. Тургеневъ весьма справедливо замѣчаетъ, что нюсколько наивное подчиненіе такъ называемымъ философскимъ взглядамъ составляетъ слабую сторыу таланта г. Полонскаго, и что стихотворенія его, которыя сюда относятся, не всегда отличаются глубиною мысли, силою и блескомъ выраженія.

Однако-же есть и такія, которыя вполнѣ обладають

всѣми этими качествами. Муза г. Полонскаго успѣвала стать выше своей слабости и возвела въ перлъ созданія свое отношеніе къ направленію. Не надѣясь на память читателей, выпишемъ чудесное стихотвореніе *Нищій*, нераздѣльное съ именемъ г. Полонскаго.

Знавалъ я нищаго; какъ твнь, Съ утра, бывало, цѣлый день Старикъ подъ окнами бродилъ И подаянія просиль; Но все, что въ день ни собиралъ, Бывало къ ночи раздавалъ Больнымъ, калъкамъ и слъщамъ-Такимъ же нищимъ, какъ и самъ. Въ нашъ въкъ таковъ иной поэтъ: Утративъ въру юныхъ лътъ, Какъ нищій старецъ изнуренъ, Духовной пищи просить онъ; И все, что жизнь ему ни шлеть, Онъ съ благодарностью береть И душу дълите пополамъ Съ такими жъ нищими, какъ самъ. (Т. І, стр. 51).

Вотъ одно изъ лучшихъ и любимѣйшихъ стихотвореній русской литературы. Оно искренно, просто, смѣло и грандіозно—словомъ отличается всѣми достоинствами нашего поэта, и выражаетъ ту бѣдность духовной жизни, которая господствуетъ въ нашемъ обществѣ, которой часто не замѣчаютъ его нищіе члены, но которую глубоко почувствовалъ поэть, имѣющій чаяніе духовнаго богатства, стремящійся раздълить душу пополамъ съ своими ближними и не находящій чѣмъ дѣлиться.

Много есть и другихъ мѣсть въ произведеніяхъ г. Полонскаго, столь-же поучительныхъ, въ которыхъ муза беретъ свои права и побѣждаетъ наивное подчиненіе постороннимъ вліяніямъ.

Въ чемъ-же особенность, настоящая натура этой музы? Какой даръ получаемъ отъ нея мы, больные, калъки и слъпцы? Г. Тургеневъ говоритъ о тайной грусти, разлитой въ произведеніяхъ этой музы. Не можемъ согласиться съ нимъ вполнѣ и приведемъ противъ него свидѣтельство самого поэта. Вотъ какъ г. Полонскій характеризуетъ пѣніе своей музы:

Чтобы пѣсня моя разлилась какъ потокъ,— Ясной зорьки она дожидается; Пусть не темная ночь, пусть горящій востокъ Отражается въ ней, отливается; Пусть чиликають вольныя птицы вокругъ, Сонный лѣсъ пусть проснется, нарядится, И сова—пусть она не тревожить мой сдухъ И слѣпая—подальше усядется. (Т. І, стр. 11).

Конечно это стихотвореніе не доказываеть, что настроеніе поэта постоянно бываеть радостно. Грустные мотивы, которые можеть быть особенно по душѣ г. Тургеневу, дѣйствительно преобладають у г. Полонскаго; но намъ кажется, что въ приведенныхъ стихахъ содержится указаніе на характерную и сильно звучащую струну его музы. Настроеніе этой музы еще полнѣе выразилось въ прелестномъ стихотвореніи Утро.

Вверхъ по недоступнымъ
Крутизнамъ встающихъ
Горъ туманъ восходитъ
Изъ долинъ цвѣтущихъ.
Онъ какъ дымъ уходитъ
Въ небеса родныя,
Въ облака свиваясь
Ярко-золотыя
И разеѣяваясь.

Лучь зари съ лазурью На волнахъ трепещеть; На востокъ солнце Разгораясь блещетъ...

Разгораясь олещеть...
И сіяеть утро,
Утро молодое...
Ты-ли это небо
Хмурое ночное?
О, въ отвътъ природъ,
Улыбнись отъ въка
Обреченный скорби
Геній человъка! (Т. І, стр. 1 и 2).

Этотъ восторгъ въ высшей степени характеренъ для г. Полонскаго. Во множествъ его произведеній слышится этотъ самый любящій призывъ, чтобы обреченный скорби геній человъка улыбнулся въ отвътъ природъ. Смълое и граціозное выраженіе—улыбнуться—совершенно въ духъ поэта.

Природу нашъ поэтъ любитъ замѣчательно, какъ вполнѣ родную, вѣчно милую, всегда понятную область. Для него природа всегда полна красоты, гармоніи, разнообразной жизни, и его муза никогда не сомнѣвалась въ томъ, что созерцать эту жизнь и красоту составляетъ ея прямое призваніе. Какъ и другіе поэты, г. Полонскій одушевляеть, очеловѣчиваеть природу; но едва-ли у кого нибудь это одушевленіе совершается съ такою легкостію и наивностію. Все, на что онъ ни взглянеть, получаетъ смыслъ, принимаеть человѣческія чувства и отношенія. Отсюда такое обиліе аллегорій, безупречно поэтическихъ, не имѣющихъ и тѣни искусственности; отсюда чудесныя превращенія "Кузнечика-Музыканта", въ силу которыхъ насѣкомыя являются людьми и люди принимають образъ насѣкомыхъ

Это любовное отношеніе къ природѣ свидѣ тельствуетъ о способности поэта къ радостному и мирному настроенію. И вообще, всѣ его чувства, всѣ душевныя движенія не имѣютъ въ себѣ ничего слишкомъ тяжелаго, рѣзкаго и мрачнаго. И скорбъ, и боль, и гнѣвъ—на всемъ лежитъ печатъ свѣтлой, гармонической натуры. Одно изъ самыхъ характерныхъ стихотвореній г. Полонскаго, по нашему мнѣнію, слѣдующее:

Лунный свёть.

На скамьв, въ твни прозрачной Тихошенчущихъ листовъ, Слышу—ночь идеть и слышу Перекличку пътуховъ. Далеко мерцають звъзды, Облака озарены, И дрожа тихонько льется Свъть волшебный отъ луны. Жизни лучшія мгновенья, Сердца жаркія мечты, Роковыя впечатльнья Зла, добра и красоты; Все, что близко, что далеко, Все, что грустно и смѣшно, Все, что спить въ душт глубоко, Въ этотъ мигъ озарено. Отчего-жъ былаго счастья Мню теперь ничуть не жаль? Отчего былая радость Безотрадна, какъ печаль? Отчего печаль былая Такъ свъжа и такъ ярка? Непонятное блаженство! Непонятная тоска!

Вотъ удивительное изображеніе одной изъ спокойныхъ, свѣтлыхъ минутъ, которыя испытываетъ каждый и которыхъ несчастному человѣку нужно пожелать больше. Это созерцаніе въ лунномъ свѣтѣ, при которомъ теряютъ свою рѣзкую силу роковыя впечатлѣнія зла, добра и красоты, при которомъ не жаль былаго счастья, а былая печаль, свѣжая и яркая, переходить въ непонятное блаженство,— это созерцаніе принадлежитъ къ характернымъ настроніямъ поэта.

Прочтите еще чудесныя стихотворенія Колокольчикъ, Качка въ бурю (Т. 2, стр. 74, 75), чтобы убъдиться въ дътски нъжномъ и чуждомъ всякой тяжелой страстности настроеніи поэта. Въ особенности въ Качкю весь Полонскій: свътлыя мечты во время бури. Чайка, которую приводить г. Тургеневъ, намъ кажется, свидътельствуетъ о томъ-же; покачаться на волнахъ—вотъ отрада поэта, когда разбить въ обломки корабль его счастія.

Мы вовсе не хотимъ сказать, что г. Полонскому свойственны только радостныя чувства, или что онъ способенъ схватывать только легкія, мимолетныя впечатлѣнія, грусть, еще не лишенную сладости, радость еще смѣшанную съ уныніемъ. Напротивъ, мы должны прямо сказать, что этой музѣ доступны всѣ человѣческія чувства, во всю ихъ глубину, въ полномъ ихъ размѣрѣ. Но свойство этихъ чувствъ имѣетъ въ себѣ нѣчто—эвирное, лучшаго слова мы не придумаемъ. Душевныя движенія этой музы часто не радостны, но всегда свытлы; они не столько легки, какъ гармоничны и чисты. Все имѣетъ такой эвирный характеръ, какой мы воображаемъ у существъ чуждыхъ грубой земной дѣйствительности, у духовъ, у пери и ангеловъ (читайте Томаса Мура).

Любовъ и смерть знакомы г. Полонскому со всёми

ихъ тайнами. Но, если-бы пери умирала и какой-нибудь добрый духъ, ее любившій, сидѣлъ у ея изголовья, онъ не могъ бы выразить этого мгновенія лучше и сообразнѣе съ своей свѣтлой натурой, чѣмъ оно выражено въ стихотвореніи—

Последній вздохь.

"Поцѣлуй меня... Моя грудь въ огнъ... Я еще люблю... Наклонись ко мнв..." Такъ, въ прощальный часъ, Лепеталь и гасъ Тихій голось твой, Словне тающій, Въ глубинъ души Догарающей. Я дыщать не смѣлъ-Я въ лице твое Какъ мертвецъ глядѣлъ-Я склониль мой слухь, Но, увы! мой другь, Твой послёдній вздохъ Мнъ любви твоей Досказать не могъ. И не знаю я, Чемъ развяжется Эта жизнь моя, Гдъ доскажется Мню любовь твоя! (Т. I, стр. 37).

Какая музыка, какая невыразимая прелесть!

Есть на свътъ страшныя вещи: есть чувства подавляющаго душу ужаса, минуты, граничащія съ безуміемъ.

Музъ г. Полонскаго знакомы эти душевныя движенія: но самый ужасъ не имъеть у нея своего тяжкаго характера;

даже привидънія, которыя ей являются, не пугають ее до мрачнаго, убивающаго страха. Послушайте:

Я читаю книгу пѣсенъ: "Рай любви—змѣя любовь"— Ничего не понимаю, Перечитываю вновь.

Что со мной?—съ невольнымъ страхомъ Въ душу крадется тоска... Словно книгу злслонила Чъя-то мертвая рука,

Словно чья-то тънь поникла За плечомъ—и въ тишинъ Тихо плачетъ, тихо дышетъ И дышать мъшаетъ мнъ,

Словно эту книгу пъсенъ Прочитать хотятъ со мной Потухающія очи Съ накипъвшею слезой. (Т. I, стр. 38).

Это ласковое привидѣніе вмѣсто ужаса принесло какую-то отраду. Мертвая рука, заслонившая книгу, тѣнь, поникшая за плечомъ, внушаютъ не страхъ, а безконечно печальную, безконечно глубокую нѣжность.

Кто хочеть видѣть, какъ смѣло муза Полонскаго обращается съ призраками, міръ которыхъ ему какъ будто свой, пусть прочтеть еще Tuuuь u мракъ въ отдѣлѣ Cны (Т. 2, стр. 65).

И такъ, мы нѣсколько обозначили характеръ музы г. Полонскаго. Съ такою музыкою нашъ поэтъ долженъ былъ претерпѣть не мало затрудненій. Критика, наша суровая

критика, находящаяся подъ давленіемъ тяжелыхъ вопросовъ, неблагосклонно встрѣтила г. Полонскаго. Бѣлинскій отозвался о немъ съ пренебреженіемъ, и именно за легкость настроенія нѣкоторыхъ стихотвореній. Аполлонъ Григорьевъ нашелъ слишкомъ сладкимъ тонъ стиховъ г. Полонскаго.

Собственное развитіе поэта, направленіе, котораго онъ держался, мѣшали свободному проявленію его музы. Поэты вообще бывають смущаемы въ своей дѣятельности собстенными думами, разладомъ между попытками ихъ ума и внушеніями божественнаго дара. Г. Полонскій выразиль свои колебанія между прочимъ въ стихотвореніи "Двойникъ", отличающемся всѣми лучшими свойствами его музы и представляющемъ классическое отраженіе душевнаго состоянія, испытываемаго каждымъ поэтомъ.

Двойникъ.

Я шель и не слыхаль, какь пъли соловьи,
И не видаль, какь звъзды загорались.
И слушаль я шаги—шаги не знаю чьи
За мной въ лъсной глуши неясно повторялись.
Я думаль—эхо... звърь... колышется тростникъ...
Я върить не хотъль, дрожа и замирая,
Что по моимъ слъдамъ, на шагъ не отставая,
Идетъ не человъкъ, не звърь, а мой двойникъ.
То я бъжать хотъль, пугливо озираясь,
То самого себя какъ мальчика стыдилъ...
Вдругъ злость меня взяла—и страшно задыхаясь,
Я самъ пошелъ къ нему на встръчу и спросилъ:
— Что ты пророчишь мнъ, или зачъмъ пугаешь?
Ты призракъ, иль обманъ фантазіи больной?—
— Ахъ, отвъчалъ двойникъ:—ты видъть мнъ мъшаешь
И не даешь внимать гармоніи ночной;
Ты хочешь отравить меня своимъ сомнъньемъ,

Меня,—живой родникъ поэзіи твоей!..
И, не сводя съ меня испуганныхъ очей,
Двойникъ мой на меня глядѣлъ съ такимъ смятеньемъ,
Какъ будто бы не онъ среди ночныхъ тѣней,
Не онъ, а я къ нему явился привидѣньемъ!

(Т. II, стр. 80).

Воть до какой рѣзкости можеть доходить то раздвоеніе въ натурѣ поэтовъ, о которомъ мы говорили. Человѣкъ самъ себѣ является привидѣніемъ, приходить въ смятеніе отъ самаго себя. У нашего поэта этотъ разладъ очевидно имѣеть характеръ не долгаго томленія, а скоропреходящаго минутнаго испуга, и онъ выразиль тяжесть такого внутренняго раздвоенія со всею свойственною ему смѣлостію и образностію.

Но, когда муза вполнъ владъетъ собою, когда она свободно предается движеніямъ своей натуры (какъ и въ этомъ "двойникъ", представляющемъ собственно выходъ изъ борьбы, побъду надь раздоромъ), мы находимъ въ ея произведеніяхъ блистательныя качества, прямо вытекающія изъ той энирности, которую въ ней осуждала критика. У г. Полонскаго часто бываеть удивительная, дерзкая грандіозность, напоминающая Державина; у него очень обыкновенна смълая, граціозная шаловливость, похожая на шаловливость "Руслана и Людмилы", поэмы, съ которой не даромъ же начинается новый періодъ русской литературы. Стихъ г. Полонскаго часто необыкновенно музыкаленъ; его чистая и нъжная мелодія иногда можеть поспорить съ прелестью стиха "Бахчисарайскаго Фонтана". Все это какъ нельзя лучше идеть къ характеру этой чудесной музы.

Всего же больше насъ плъняеть при всемъ этомъ и во всемъ этомъ то простодущие, та честность и правди-

вость впечатльній, которыя такъ любовно замічены г. Тургеневымъ въ музъ г. Полонскаго. Едва-ли есть у насъ въ настоящую минуту поэтъ, котораго поэзія была-бы болъе естественна, который бы, при всъхъ своихъ недостаткахъ, такъ мало ныжился и топорщился, какъ г. Полонскій. Напримірь, г. Некрасовь можеть быть противопоставленъ г. Полонскому именно какъ образецъ напряженности, очевидно весьма противной г. Тургеневу. Нужды нъть, что правдивость Полонскаго бываеть иногда неловка, какъ справедливо замъчаетъ г. Тургеневъ. Все-таки намъ безконечно любезна эта муза, такъ вольно, такъ смѣло облекающая въ поэзію свои разнообразныя чувства, далекія оть тяжелой страстности и чрезмърнаго напряженія душевныхъ силъ. Въ музѣ Полонскаго есть правда, одно изъ лучшихъ качествъ нашей литературы. А нѣжный и свътлый характеръ ея пъсенъ есть отражение одной изъ несомнънныхъ сторонъ русской души, вообще говоря весьма сложной.

VI.

Свобода поэзіи.

Заключимъ нашу статью общимъ замѣчаніемъ: Свобода искусства, чистое искусство, искусство для искусства,—все это слова широкія, такъ что могуть имѣть или очень глупое значеніе, или же очень живой, очень глубокій смысль. Сохрани насъ Боже отъ той чисто нѣмецкой теоріи, по которой человѣкъ можетъ разбиваться на части, и въ немъ спокойно должны уживаться всякія противорѣчія, по которой религія сама по себѣ, государство само по себѣ, поэзія сама по себѣ, а жизнь сама по себѣ. Ничего не можеть быть противнѣе этого русскому духу.

Но въра въ искусство ни къ чему подобному и не ведетъ. Эта въра значитъ: искусство связано естественно, по самой своей сущности, со всъми высшими интересами человъческой души, и потому должно бытъ свободно, не должно быть искусственно подчиняемо этимъ интересамъ. Отрицаніе всего дъланнаго, фальшиваго, напускнаго, неискренняго, сочиненнаго, всякаго подслуживанія и прилаживанія—вотъ что слъдуетъ изъ въры въ искусство. Правда—вотъ высшій законъ, и мы знаемъ, что для праведниковъ не нужны правила и предписанія.

Поэты! слушайтесь вашего внутренняго голоса и пожалуста, не слушайтесь критиковъ. Это для васъ самый опасный и вредный народъ. Они всѣ лѣзутъ въ суды, тогда какъ должны бы быть только вашими толкователями. Но толковать поэзію трудно, а судить—легко удивительно. Требуй всего, что только вздумается, и будешь судьею на славу. Упрекай розу, зачѣмъ она не роститъ яблоковъ, осуждай картину за то, что ее нельзя съѣсть съ уксусомъ, утверждай, что этимъ нарушается гармонія мірозданія,—и всѣ тѣ, которые понимаютъ, какъ пріятно иногда бываетъ покушать, тебъ повѣрятъ.

Такъ, напримъръ, г. Коршъ требуетъ, чтобы г. Полонскій пересталъ быть лирикомъ. Г. Коршъ несогласенъ съ похвалами г. Тургенева (онъ вообще ни съ чѣмъ не согласенъ, но несмотря на то, а можетъ быть именно потому—его газета, какъ говорится, несетъ все, что въ нее положатъ) и вотъ въ чемъ находитъ главный недостатокъ г. Полонскаго: "Талантъ г. Полонскаго", говоритъ онъ, "самъ по себѣ не очень сильный, преимущественно почерпаетъ свое содержаніе въ сферѣ личныхъ, лирическихъ ощущеній, лучшее время которыхъ пережито обществомъ и прошло". (Спб. Вѣд. 1870, № 8). Вотъ судъ и по-

ученіе вамъ, г. Тургеневъ, и вамъ, г. Полонскій! Что вы все пустяками занимаетесь? Время лирическихъ ощущеній прошло. Г. Коршъ пресерьозно думаеть, что теперь не время быть поэтомъ, а конечно самое время—издавать такую газету какъ "Спб. Въдомости".

Пѣть съ чужаго голоса, толковать о предметахъ, въ которыхъ ничего не смыслишь, не имѣть за душею ни единаго искренняго слова, ни одного натуральнаго звука, но за то кричать во все горло—какъ только другіе закричали, негодовать и благородствовать хотя заднимъ числомъ, но пылко, объявить себя даже защитникомъ цѣлаго человѣчества и—размазывать, размазывать, размазывать,—подражать, подражать, подражать, путать, пу

Мы думаемъ иначе. Дъйствительную мысль, дъйствительное творчество мы считаемъ чистымъ золотомъ литературы, единственно цъннымъ среди той массы фальшивыхъ и блестящихъ побрякушекъ, которыми ежедневно заваливается нашъ литературный рынокъ. Мы нимало не радуемся, что у насъ издаются Спб. Въдомости, и напротивъ, считаемъ за великое счастіе, что у насъ есть еще Полонскіе.

Въ заключение и въ оправдание своей статъи приведемъ слова Ренана (иностранцамъ въ Россіи всегда больше въры), сказанныя имъ по поводу 1848 и 1849 годовъ:

"Если-бы философія, наука, искусство, литература бы-"ли только пріятнымъ препровожденіемъ времени, забавою "праздныхъ, предметомъ роскоши, фантазією любителей, "однимъ словомъ, "изъ суетныхъ дѣлъ наименѣе суетнымъ", "то могли бы быть времена, когда ученый долженъ бы "былъ сказать вмѣстѣ съ поэтомъ:

Honte à qui peut chanter, pendant que Rome brule! (Стыдъ тому, кто можетъ пъть, тогда какъ Римъ горить!) "Но, если трудъ мысли есть самая серьозная вещь "на свъть, если съ нимъ связаны судьбы человъчества и "усовершеніе недълимаго, то этоть трудь, подобно ди-"ламъ религіознымъ, импьетъ цпну во всякое время, во "всякую минуту. Посвящать наукъ и культуръ ума только "часы спокойствія и досуга значило бы оскорблять чело-"въческій умъ, значило бы предполагать, что есть вещи "болъе серьозныя, чъмъ изыскание истины. Но если бы "такъ, если бы философія составляла интересъ низшаго "разряда, то человъкъ, отдающій жизнь на служеніе выс-"шимъ целямъ, желающій иметь право сказать въ по-"слъднюю свою минуту: "я исполнилъ свое назначеніе", "могь ли бы такой человъкъ посвятить на философію "даже одинъ часъ, - зная, что на немъ лежатъ болъе "высокія обязанности"?

"Есть хорошія вещи, которыя всегда хороши, и если "для развитія науки и искусства мы станемъ ждать спо-"койствія, то можеть быть мы долго прождемъ. Еслибы "такъ разсуждали наши отцы, они сложили бы руки и "не оставили бы намъ своего наслѣдства. Да наконецъ, "что за дѣло—надеженъ или невѣренъ завтрашній день? "Что за дѣло, принадлежить намъ будущее или нѣтъ? "Развѣ истина отъ этого менѣе прекрасна и Богъ менѣе "великъ? Еслибы міръ разрушался, то все еще слѣдовало-"бы философствовать, и я увѣренъ, что если когда ни-"будь наша земля подвергнется катаклизму, то въ эту "страшную минуту найдутся люди, которые среди раз-"грома и хаоса будутъ питать чистую, безкорыстную мысль, "и, забывая о своей близкой смерти, будутъ созерцать "явленіе съ тѣмъ, чтобы вникнуть въ его высшій смысль". "Наука, искусство, философія им'єють ціну лишь "потому, что он'є суть вещи религіозныя, то есть, что "он'є дають челов'єку духовный хлібов. "Едино есть на "потребу". Нужно признать это предписаніе великаго "Учителя нравственности, какъ принципъ всякой бла-, городной жизни, какъ прямое правило обязанностей "челов'єческой природы".

"Глубокій упадокъ современнаго общества происхо-"дить отъ того, что умственная культура не разумѣется "какъ вещь религіозная, отъ того, что поэзія, наука, ли-"тература разсматриваются какъ предметы роскоши"...... (Questions Contemp. p. 311—316).

Мы ограничились въ этой статъв г. Полонскимъ и отлагаемъ г. Некрасова до другаго времени. Если читатели насъ поняли, то они видятъ, что, отказавшись отъ критики полемической и критики объективной, мы собственно собираемся хвалитъ нашего наиболве читаемаго поэта. И такъ, когда-нибудь мы будемъ хвалитъ г. Некрасова. Мы должны по справедливости отличить его отъ г. Минаева и иныхъ, которыхъ иногда бываетъ невозможно похвалить ни съ какой точки зрвнія.

ПРИБАВЛЕНІЕ.

Объ ироніи въ русской литературь.

(Русск. Въстникт, 1875, іюнь).

Исторію нашей литературы нынче вошло въ обыкновеніе разсматривать такъ, что будто-бы до Гоголя она имѣла фальшивый, сочиненный характеръ, содержала и распространяла лишь одинъ

"Насъ возвышающій обманъ",

и что будто-бы Гоголь разрушиль этоть обманъ, указаль путь къ правдѣ и обнажилъ передъ нами настоящую русскую дѣйствительность. Въ этой правдивости, въ этомъ стремленіи къ неприкрашенной дѣйствительности видятъ обыкновенно главную черту того движенія литературы, которое послѣдовало за Гоголемъ и продолжается до сихъ поръ.

Намъ кажется, тутъ есть значительное недоразумѣніе. Фактъ поставленъ невѣрно вслѣдствіе очень обыкновенной ошибки, вслѣдствіе того, что все вниманіе обращено на самый предметь изображенія, а не на то, какъ онъ изображается. Конечно, послѣ Пушкина наша литература почти исключительно сосредоточилась на русской жизни и стала чуть-ли не систематически перебирать всевозможныя ея сферы, всѣ ея сословія и вѣдомства, всѣ углы

и закоулки. Въ литературъ исчезли такія произведенія какъ *Каменный гость, Моцарть и Сальери*, драмы и новеллы изъ жизни италіянскихъ художниковъ, и тому подобное. Міръ древній и міръ европейскій понемногу совершенно ушли изъ кругозора нашей поэзіи и не существують для современныхъ читателей. Если поэть выходить за предѣлы русской жизни, то его произведеніе, хотя-бы оно касалось величайшаго событія въ исторіи и высшихъ интересовъ человѣчества, какъ напримѣръ *Два міра* А. Майкова, большинству читателей кажется чѣмъ-то чуждымъ, не возбуждающимъ живаго интереса.

Изъ того, однакоже, что нашъ интересъ, и наше вниманіе ограничились изв'єстнымъ предметомъ, не сл'єдуетъ еще, что наше пониманіе этого предмета сдълалось глубже и яснъе. Пониманіе Россіи! Возможно-ли утверждать, что мы обладаемъ имъ теперь въ значительно большей степени, чъмъ до Гоголя? Трудъ народнаго самосознанія есть дёло столь великое и сложное, что кто разум'веть важность этого вопроса, никогда не будеть самоувъреннымъ и посиъшнымъ въ сужденіяхъ о немъ. Конечно, перевороть, совершенный Гоголемъ, какъ и всякое движеніе умственной жизни, можеть и должень пойти въ прокъ нашему самосознанію. Но пока, до времени, это, можеть быть, только запрось на лучшее пониманіе, только постановка новыхъ задачъ, которыя еще, можеть быть, вовсе не ръшены нами, да и не скоро будутъ ръшены. Намъ-бы не показалось страннымъ, если-бы кто-нибудь сталъ утверждать, что до Гоголя мы лучше понимали Россію, чъмъ послъ него, и что теперь недоумънія и недоразумънія не только не кончились, а напротивъ еще растутъ и господствуютъ.

"Бъдность да бъдность, да несовершенство нашей

жизни" дъйствительно составляють непосредственный предметь нашей литературы послъ Гоголя, но это еще ничего не говорить намь о ея близости къ дъйствительности. Чтобы разобрать и разсмотръть, что намь даеть эта литература, нужно анализировать тоть пріемъ искусства, который она употребляеть, видъть, въ чемъ состопть ея художественная работа, какому процессу въ ней подвергаются непосредственныя данныя дъйствительности; тогда намъ и будеть ясно, въ какомъ отношеніи къ дъйствительности находятся тъ произведенія, которыя получаются въ результать.

Повидимому, ничего реальные Гоголя быть не можеть, положимь хоть въ Мертвых душах. Онъ описываеть величайшія мелочи съ полныйшею вырностію и точностію. Но, если-бъ эти описанія были простыми фотографическими снимками, они не имыли-бы никакой важности, никакого смысла. Смысль, художественное значеніе они получають не вслыдствіе своей вырности, а потому, что возведены вы перлы созданія, подвергаются какому-то художественному процессу, оть котораго и получають необыкновенную значительность.

Въ чемъ-же дѣло? Первое, что должно намъ броситься въ глаза, если мы отвлечемъ свое вниманіе отъ предмета, который описывается, и устремимъ его на процессъ художества, есть тонъ разсказа. Это тонъ не простой, не сливающійся съ содержаніемъ рѣчи, не стремящійся скрасться, уйти отъ вниманія, какъ форма, которая не должна отдѣляться отъ того, что въ ней заключено; нѣтъ, это тонъ рѣзко звучащій, усиленно выдающійся и обособляющійся. Это тонъ въ высшей степени проническій. Иронія, какъ извѣстно, состоитъ въ томъ, что мы важно, торжественно разсказываемъ о томъ, что заслуживаетъ

презрѣнія и насмѣшки. Сила ироніи состоить въ этой противоположности между предметомъ и способомъ его изображенія; мы усиливаемъ нашу рѣчь контрастомъ словъ и содержанія.

Вотъ тотъ пріємъ, который господствуєть въ Мертевыхъ душахъ. Самый ходъ разсказа, подробнаго, плавнаго, обстоятельнаго, медленно и тяжело движущагося, составляеть иронію надъ пошлостію того, что разсказывается. Пустьйшіе разговоры передаются какъ важныя событія; ничтожныя подробности являются въ ужасномъ безобразіи, какъ будто мы вдругъ навели на нихъ увеличительное стекло. И чъмъ тоньше черта, отдъляющая пронію отъ дъйствительности, чъмъ явственнье для насъ, что это почти дъйствительность, что жизнь города N почти такъ представляется самимъ жителямъ этого города, какъ ее описалъ Гоголь, тъмъ ужаснье впечатльніе пошлости, тъмъ сильнье торжество проніи.

Но не нужно упускать изъ виду, что иронія есть однако-же языкъ переносный, несобственный. Она связана съ неуловимымъ оттѣнкомъ синонимическихъ словъ, употребляемыхъ одно вмѣсто другаго, съ неуловимымъ поворотомъ фразы, дающимъ ей то или другое теченіе. Воть отчего, вѣроятно, переводы Мертвыхъ душъ на иностранные языки не имѣютъ, какъ говорятъ, успѣха у иностранныхъ читателей. Чрезвычайно трудно удержать въ переводѣ ироническій тонъ всей поэмы, принимающій тысячи оттѣнковъ; а безъ этого тона содержаніе разсказа само по себѣ не имѣетъ цѣны.

Иронія есть во всякомъ случав непрямое отношеніе къ дѣлу. Когда вы слышите ироническую рѣчь, вы чувствуете, что говорящій порицаеть то, о чемъ говорить, но во имя чего совершается порицаніе и каково должно

быть прямое отношение къ дѣлу,—это еще вопросъ, вопросъ не только для васъ, но можетъ быть, и даже весьма часто, и для того, кто говоритъ. Явленія, описываемыя иронически, суть, по этому самому, не-серьозныя явленія, но при этомъ намъ еще не ясно, гдѣ и въ чемъ намъ искать серьозныхъ явленій, и въ какомъ отношеніи къ этому серьозному стоитъ описываемое несерьозное.

Между тѣмъ искусство требуетъ прямаго отношенія къ дѣлу; оно можетъ употреблять иронію, можетъ достигнуть въ этомъ пріемѣ величайшей художественности, какъ это и было у Гоголя, но остановиться на ироніи оно не можетъ. Гоголь, задумавъ въ Мертвыхъ душахъ изобразить полную картину русской жизни, конечно не имѣлъ никогда и въ мысли ограничиться одною ироніей: его намѣреніе всегда было (какъ это видно изъ многихъ мѣстъ первой части Мертвыхъ душъ) постепенно смягчить свой тонъ, перейти въ юморъ и кончить серьознымъ разсказомъ. Гоголь былъ человѣкъ восторженный, пламенно, кровно любившій свою родину, и его художественная иронія порождена этою восторженностію, а не холоднымъ анализомъ недостатковъ русской жизни.

Гоголь, какъ извъстно, не справился съ задачею, за которую взялся съ такимъ воодушевленіемъ и увъренностію. Онъ погибъ, мучительно усиливаясь взять другой тонъ и создать иныя лица.

Исторія нашей литературы послѣ Гоголя какъ нельзя лучше показываєть, что изъ его тона требовался выходь, что естественное стремленіе искусства было перейти отъ иронической рѣчи въ прямую. Возбужденіе, произведенное Гоголемъ, было необычайное, и послѣдствія его продолжаются до сихъ поръ; но почти всѣ замѣчательныя явленія въ послѣ-Гоголевской литературѣ можно разсма-

тривать какъ *поправки* Гоголя, какъ попытки подойти къ предмету съ другой стороны, уменьшить разстояніе, на которое насъ отдѣляеть отъ предмета иронія. И, такъ какъ это была задача не легкая, то рядомъ съ этими попытками были дѣлаемы ошибочные, неправильные выходы изъ Гоголевскаго тона.

Самая простая ошибка состояла въ томъ, что тонъ былъ вовсе упускаемъ изъ виду, какъ дъло не существенное, и что Гоголю стали подражать въ выборъ предметовъ. Отсюда вышла натуральная школа, выродившаяся потомъ въ обличительную. Натуральная школа пустилась въ описаніе пошлыхъ и мелкихъ людей и предметовъ, какъ-будто вся сила Гоголя заключалась въ томъ, что онъ обратилъ внимание на мелочи. Появилось очень много скучныхъ произведеній, весь интересъ которыхъ состояль въ стремленіи къ фотографической върности и въ смутномъ чувствъ пустоты и тоски. Конечно, въ этихъ произведеніяхъ находило себѣ удовлетвореніе то недовольство дъйствительностью, которое у насъ такъ обыкновенно и въ первые годы послъ Гоголя было особенно сильно. Но все-же ясно, что пріемы этихъ писаній глубоко неправильны. Для читателя не приготовленнаго, не питающаго извъстныхъ предрасположеній, не зараженнаго привычкою къ многочтенію, не испорченнаго господствующею литературой, эти книги должны представляться очень дикимъ и скучнымъ явленіемъ. Для такого читателя пов'вствовательная книга должна быть столько-же серьозна, какъ и всякая другая, слёдовательно, или должна быть настоящею поэмою съ настоящими героями, или-жеироническою поэмой съ проническими героями.

Между тѣмъ, наши повъствователи, очень часто прежде, а неръд ко и теперь, ведутъ свои разсказы такъ, что при

водять читателей въ совершенное недоумѣніе, зачѣмъ и о чемъ разсказывается. Иногда мелкія и ничтожныя явленія изображаются такимъ тономъ, съ такимъ основательнымъ реализмомъ, какъ-будто они имѣютъ полнѣйшее право на существованіе, все-же другое есть вздоръ, пустыя мечтанія. Получается не иронія надъ дѣйствительностію, а ея оправданіе; излагается серьозно и потому какъ-бы сочувственно то, что въ сущности не заключаеть въ себѣ ничего серьознаго.

Но явились, какъ мы замѣтили, и правильныя попытки найти рѣшеніе задачи. Въ этомъ отношеніи особенно замѣчательна дѣятельность Островскаго. Онъ пишеть серьозныя драмы и комедій изъ такой сферы, на которую читатели обыкновенно смотрять свысока. Онъ успѣль создать изъ этой сферы совершенно живыя лица и положенія и заставиль насъ смотрѣть на нихъ не подсмѣиваясь, не иронизируя, а съ дѣйствительнымъ сочувствіемъ или негодованіемъ, слѣдовательно такъ, что мы ставимъ себя на одинъ уровень съ ними, признаемъ интересь и важность ихъ духовной жизни.

Но наибольшую прямоту, чистоту и върность отношеній къ предмету мы конечно должны признать за гр. Л. Н. Толстымъ. Опять, мы не хотимъ здъсь опредълять полное значеніе произведеній этого писателя, мы только, какъ на примъръ и на подтвержденіе, указываемъ на то, что у него уже господствуетъ тотъ прямой пріемъ искусства, который какъ будто былъ потерянъ послъ Пушкина.

Въ свою очередь, то непрямое отношеніе къ предметамъ, которое началось съ ироніи Гоголя, не только однако-же не исчезло въ нашей литературѣ, а напротивъ продолжается у многихъ писателей и развилось даже до своихъ крайнихъ формъ. Иронія, которая у Гоголя имѣла

такую строгую художественную мѣру, понемногу вовсе удалилась отъ предмета; все больше и больше усиливая свое выраженіе, писатели стали безпрерывно употреблять иронію гиперболическую, въ которой уже нѣть заботы о реальномъ изображеніи, а напротивъ вся потѣха заключается въ искаженіи реальныхъ чертъ. Эта гиперболическая иронія иногда разыгрывается наконецъ до того, что переходитъ въ чистое глумленіе, то есть въ рѣчи совершенно безсмысленныя, и самою своею безсмысленностію выражающія презрѣніе къ тому, о чемъ говорится. Вмѣсто ироніи явилось такъ-сказать нахальное, наглое обращеніе съ предметами, какъ всего сильнѣе выражающее пренебреженіе къ нимъ того, кто о нихъ говорить.

Такой характеръ представляють произведенія *Шедрина* и отчасти *Некрасова*. Ихъ пріемы пришлись очень по душѣ многимъ русскимъ людямъ, которые вообще не любять прямой рѣчи, для которыхъ почти нѣтъ средины между восторженностью и озлобленіемъ, между сентиментальностью и цинизмомъ. Спокойная рѣчь, раскрывающая съ художественной мѣрой свойства предмета, имъ кажется скучною и длже противною, какъ нѣчто прѣсное; имъ нужна сильная приправа, густая присыпка перца, что-нибудь или язвительное, или надрывающее. Поэтому они и сами ни о чемъ говорить просто не могутъ, вѣчно иронизируютъ и сыплютъ циническими выраженіями безъ малѣйшаго повода.

Понятно, что при такихъ условіяхъ нельзя ожидать въ литературѣ никакой близости къ дъйствительности. Если-бъ иностранецъ вздумалъ, напримѣръ, изучать Россію по Щедрину и Некрасову, то онъ едва-ли-бы много узналъ. Онъ узналъ-бы развѣ только то, какъ иные русскіе люди впадають въ гиперболы и въ глумленіе по по-

воду самыхъ простыхъ предметовъ, но этихъ предметовъ онъ узнать-бы не могъ. Названные два писателя дъйстительно замъчательны тъмъ, что, при всемъ ихъ талантъ, они не создали ни единаго лица, ни единой картины, ни единаго положенія или чувства, на которое можно былобы указать какъ на нѣчто законченное, дѣйствительно созданное, дъйствительно "возведенное въ перлъ созданія". Ихъ пронія и гипербола безплодны, расплываются, никогда не достигають точнаго, опредёленнаго смысла. Образы, зачатки которыхъ иногда являются съ большою свѣжестью и силой, непремѣнно бывають испорчены, искажены въ развитіи. Такимъ образомъ, чтобы оцінить достоинства этихъ писателей (иногда весьма блестящія), приходится прибъгать къ отрывкамъ, почти къ отдъльнымъ стихамъ, къ отдъльнымъ выраженіямъ. Ничего цълаго указать у нихъ невозможно, такъ какъ цълое требуеть дъйствительнаго реализма, пониманія внутренней жизни предмета.

Странное настроеніе, по которому для такого рода писателей не возможно стать въ прямое отношеніе къ дѣлу, иногда выступаетъ очень ясно. У Некрасова есть слѣдующіе стихи:

Въ насмъшливомъ и дерзкомъ нашемъ вѣкѣ Великое, святое слово: мать Не пробуждаетъ чувства въ человъкъ. Но я привыкъ обычай презирать, Я не боюсь насмѣшливости модной, и пр. *)

Что такое? Что за помъха встрътилась поэту, когда онъ вздумалъ выражать свое сыновнее чувство? Онъ ссылается на *насмъшливый и дерзкій въкъ;* увъряетъ, что

^{*)} См. т. І Изд. шестое, стр. 206.

въ людяхъ его окружающихъ слово мать не пробуждаетъ чувства. Черта до такой степени чудовищная, что ей невозможно повърить. Стихотвореніе писано лъть двадцать тому назадъ; но развъ очень отдаленные потомки могуть подумать, что дъйствительно въ это время дерзость и насмъшливость умовъ вытравила изъ сердца людей всякія сыновнія чувства. Однако-же, почему нибудь да написаны-же эти стихи? Мы думаемъ, что поэтъ, жалующійся на холодность в'вка, въ сущности испытываль борьбу внутри себя. Что-то мѣшало ему вольно отдаться изліянію своего чувства; прямое, открытое выраженіе не давалось, казалось чёмъ-то неловкимъ, стыднымъ; словомъ, такъ или иначе, но поэтъ не былъ въ силахъ найти, или создать художественную форму для своего душевнаго состоянія. Стихотвореніе, д'яйствительно, такъ и осталось неоконченнымъ.

То-ли дѣло иронія, шутка! Туть можно говорить не своимъ голосомъ, кривляться, преувеличивать, не соблюдать ни точности, ни порядка; словомъ, туть нужно не выражать свое чувство, а только намекать на него, только подразумѣвать его, причемъ иногда самъ авторъ не знаетъ, что такое слѣдуетъ подразумѣвать подъ его словами. Вотъ почему, обыкновенный характеръ стихотвореній Некрасова есть мрачная шутливость, то переходящая вдругъ въ павосъ, то спускающаяся до водевильности. Тонъ всегда медленный, торжественный, ибо всегда ироническій, не натуральный.

Слава Богу, стрѣлять перестали! Ни минуты мы нынче не спали, И едва-ли кто въ городъ спалъ: Ночью пушечный громъ грохоталъ. Не до сна! Вся столица молилась, Чтобъ Нева въ берега возвратилась; И минула большая бѣда— Понемногу сбываетъ вода... *)

Вообразимъ себѣ иностранца, или читателя отдаленнаго отъ насъ значительнымъ промежуткомъ времени, нѣсколькими вѣками: для нихъ конечно будетъ очень трудно уловить шуточный, ироническій тонъ этихъ стиховъ, и они (какъ вѣроятно и теперь многіе провинціалы) пожалуй примуть за правду все это описаніе. Между тѣмъ, тутъ гипербола на гиперболѣ: едва-ли кто спалъ, пушечный громъ, вся столица молиласъ—все это шутка; такихъ ужасовъ не бываеть, да и быть не можеть.

А вотъ описаніе петербургскихъ улицъ во время сильнаго мороза:

Разыгралися силы Господни! На пространствъ *пяти саженей* Насчитаешь навърно *до сотни* Отмороженныхъ щекъ и ушей. **)

Шутка очень крупная, которая конечно выражаеть не дъйствительность, а настроеніе автора. Эти желчныя гиперболы нравятся читателямъ, находящимся въ такомъже настроеніи, напримъръ многимъ жителямъ Петербурга, о которомъ иногда можно почти вправду сказать:

Въ цёломъ городё нётъ человёка Въ комъ бы желчь не кипёла ключомъ. ***)

(Отрывокъ изъ критической статьи).

^{*)} Томъ II, стр. 149. **) Томъ IV, стр. 12.

^{***)} Томъ IV, стр. 12.
***)Томъ II, стр. 156.

МАЙКОВЪ.

ДВА MIPA. Трагедія А. Майкова *).

Разборъ представленный въ Академію Наукъ, при соисканіи Пушкинской преміи 1882 г.

Если прямо задаться вопросомъ, заслуживаетъ-ли это произведеніе преміи, то отвъчать очень легко: конечно заслуживаетъ, и въ полной мъръ, и по всякаго рода основаніямъ: и по славъ высокаго дарованія, давно всьми признаннаго и сказавшагося очевидно съ зрълой силой въ новомъ произведеніи; и по объему этого произведенія; и по важности его предмета; и по долгому и многому труду, посвященному выполненію любимой мысли; и наконецъ по неотразимому впечатльнію красоты и силы этихъ картинъ, мастерскаго стиха и языка.

Но, если такъ легко рѣшить практическій вопрось о преміи, то тѣмъ труднѣе задача чисто критическая, т. е. наша главная задача. Войти въ смыслъ и духъ многосложнаго и многообдуманнаго произведенія, прослѣдить всѣ ходы творческой мысли, отдать себѣ отчеть въ наслажденіи, вызываемомъ одушевленною выпуклостію этихъ

^{*)} Напечатана въ февральской книгъ Русскаго Въстника 1882 года.

образовъ, многозначительною музыкою этихъ звуковъ, все это тѣмъ труднѣе, чѣмъ выше и шире разбираемое произведеніе. Заранѣе скажемъ, что не беремся выполнить до конца такую задачу, и что наши замѣчанія скорѣе будутъ только указывать на различныя ея стороны.

Эта поэзія едва-ли найдеть себ' много горячихъ поклонниковъ въ большинствъ нынъшнихъ читателей. Они не встрътятъ въ ней того, чего они уже очень привыкли и все больше и больше привыкають искать въ произведеніяхъ искусства. Имъ нужно или что-нибудь примо затрогивающее интересы, которыми они живуть, политическіе вопросы, современныя явленія, или-же что-нибудь очень простое, то есть обнаженное и грубое, не требующее для своего пониманія никакой подготовки и работы. Эти два направленія господствують нынъ въ искусствахъ. Наиболъе правильное изъ нихъ есть конечно стремленіе къ простоть, къ тому, что называется реализмомъ. Въ такой въкъ, когда идеалы оскудъли и искусство, поэтому, не видитъ передъ собою всѣмъ ясной, само собою разумѣющейся цѣли, многіе художники растерялись, какъ рабы, очутившіеся безъ господина, и съ усиліемъ ищутъ къ кому бы поступить на службу; но всь ть, въ комъ живы и ясны были художественныя требованія, естественно стали ограничиваться самыми простыми задачами, такими, законность которыхъ никогда не можетъ быть отрицаема. Отсюда реализмъ, то есть частные этюды, очерки съ натуры, фотографическіе снимки. Правда, странно иногда видеть, какъ этюдъ, картинка съ натуры является съ притязаніями и въ размірахъ какой-то эпопеи, какъ жанръ по яркости и огромности фигуръ стремится превзойти историческія картины. Но непререкаемый принципъ реализма и въ этихъ случаяхъ спасаеть дѣло; художество всетаки право, когда воспроизводить живыя черты дѣйствительности.

Гораздо хуже идетъ дъло въ искусствъ прямо служебномъ; туть отбрасывается всякая мъра и нъть никакихъ ненарушимыхъ требованій. Вся задача только въ томъ, чтобы затронуть наиболье отзывчивыя струны въ сердцъ современныхъ читателей. Сами художники, которые такимъ образомъ извращаютъ цъли искусства, которые отказываются отъ его самостоятельности, отъ его стремленія къ вѣковѣчной правдѣ и красотѣ, естественно утрачивають живое чувство художественности; что-же касается до поклонниковъ и судій, то еще естественнъе, что они поддаются обману, который такъ льстить ихъ понятливости и такъ отвъчаеть ихъ желаніямъ. И потому, туть реторика идеть за выражение искренняго чувства, шаржъ и каррикатура за мѣткое изображеніе. безсодержательныя потуги за глубокія идеи, безсвязные и противуръчивые наброски за живые образы. И что всего ' поразительнее-тысячекратное повторение однихъ и техъ же пріемовъ, однихъ и тъхъ же гръщащихъ противъ всякаго художества разглагольствій и образовъ нимало не надобдаеть читателямъ и поклонникамъ, очевидно потому, что д'ёло зд'ёсь не въ художеств'е, возвышающемъ душу, а только въ отзывѣ на привычныя чувства и мысли, въ которыхъ коснъть и однообразно вращаться, какъ извъстно, очень склонны человъческія души.

Конечно, и въ области этого искусства возможны, однако, очень талантливыя проявленія. Не будемъ съуживать нашихъ сужденій; признаемъ, что возможна красноричивая поэзія и что бываетъ сатира и каррикатура художественная: средства искусства такъ обширны и гибки, что возможно ихъ умъстное употребленіе—и въ этомъ

приложеніи. Но эти промежуточныя формы, болье понятныя для большинства и идущія у него за чистое искусство, по сущности дела очень редко удаются вполнъ. Красноръчіе въ стихахъ часто бываетъ пустою реторикою, или-же переходить въ пародію, т. е. въ проническое употребленіе формы, въ шутку надъ формою; сатира и каррикатура часто бываеть простою бранью, или же выраждается въ глумленіе, т. е. въ прямой отказъ отъ серьознаго отношенія къ предмету. И, такъ какъ вообще обращеніе искусства въ служебное орудіе ведеть къ тому, что талантливые люди лишь случайно держатся своихъ художественныхъ позывовъ, не даютъ у себя ничему созръть и сложиться, то въ ихъ произведеніяхъ указанные недостатки обыкновенно господствують и заглушають собою ръдкіе и неясные проблески настоящаго художественнаго творчества.

Произведеніе, которое мы разбираемъ, совершенно чуждо этихъ современныхъ направленій; авторъ его очевидно вполнѣ сохранилъ въ себѣ лучшія преданія своего дѣла и задавался самыми строгими требованіями искусства.

Передъ нами очень сложное и въ тоже время стройное и цѣльное созданіе. Оно воспроизводить эпоху далеко отошедшую оть насъ въ исторію; оно имѣетъ предметомъ вѣчныя и общечеловѣческія стремленія, сказавшіяся съ такою несравненною силою въ эту приснопамятную эпоху. Для такой задачи недостаточно умѣнья копировать дѣйствительность или краснорѣчиво изливать личныя чувства; требуется искусство въ полномъ развитіи своихъ средствъ.

Мы никакъ не хотимъ однако сказать, что идея "Двухъ міровъ" не касается современности; напротивъ,

если взять дѣло въ глубинѣ, то окажется, что нѣтъ идеи болѣе современной, прямѣе отзывающейся на духъ времени.

Что изображають "Два міра?" Тоть огромный нравственный переломъ, то колебание человъческой совъсти, которое совершалось, когда міръ языческій уступалъ свое мѣсто міру христіанскому. Трагическая гибель цѣлой цивилизацін, неспособной вм'єстить въ себ' новыя начала, и появленіе новой жизни, отрицающей основы стараго міра, — этотъ великій контрасть навсегда остается образцомъ человъческаго прогресса и повторяется въ различныхъ формахъ и размърахъ въ каждую эпоху. Но въ наши дни, какъ уже давно и много разъ было сказано, есть нъчто особенно напоминающее эпоху древняго переворота. Очевидная дряхлость нѣкоторыхъ формъ нынъшней цивилизаціи и неутолимое броженіе умовъ приводили многихъ къ мысли, что насъ ждеть впереди такое же великое потрясеніе. Оставляя въ сторонъ эти гаданія, замітимъ только, что въ колебаніяхъ современной мысли очевидно повторяются элементы прежняго перелома. Какъ на самое отрадное изъ этихъ повтореній, укажемъ на нъкоторое, хотя стоящее на второмъ, или даже на третьемъ планъ, но все же замътное оживление чистохристіанскихъ началъ, то есть тёхъ началъ, отъ которыхъ однихъ и можно и должно ждать облегченія міровыхъ язвъ и умиротворенія нашей жизни. Нашъ поэть, изображая своихъ древнихъ христіанъ, отвъчаетъ прямо на это возраждающееся религіозное чувство.

Но это изображение составляетъ лишь часть поэтической задачи. Художникъ захотѣлъ полной картины, со всѣми ея контрастами, со всѣми тѣнями и красками. Если вглядѣться, то нельзя не изумиться множеству элементовъ

внесенныхъ въ эту картину и той простотъ и ясности, съ которою они размъщены и связаны во едино.

Попробуемъ набросать главныя линіи этой картины. Дъйствіе происходить въ концъ шестидесятыхъ годовъ перваго стольтія.

Децій, отчасти по требованію Нерона, отчасти по собственной охотѣ, задумаль совершить самоубійство, и хочеть сдѣлать это какъ можно публичнѣе, почему сзываеть къ себѣ на пиръ избранное общество Рима. Своею смертью онъ желаеть дать урокъ и заявить протестъ противъ тираніи. Такимъ образомъ, передъ нами является цѣлая толпа типическихъ представителей древняго міра, и лучшій изъ нихъ, Децій, съ укоромъ и отвращеніемъ прерываеть свою жизнь, кинувши въ лицо остальнымъ слово гнѣва и свои сокровища.

Между темъ, въ тайнъ, подъ землею, совершается другая исторія. Въ катакомбахъ христіане тоже готовятся идти на смерть; ожидается декретъ, по которому они будуть преданы мученіямъ. Авторъ выводить передъ нами разнообразныя сцены катакомбъ и изображаетъ энтузіазмъ, породившій мучениковъ. Но одна изъ христіанокъ, Лида, узнавъ о готовящемся самоубійствъ Деція, волнуется еще другимъ чувствомъ. Она еще по земному любить Деція; она мучится этою любовью, борется съ нею и наконецъ успъваетъ преобразить ее въ другую, высшую, въ желаніе спасти душу любимаго человъка.

Лида приглашаеть съ собою Марцелла, и они являются къ Децію въ ту минуту, когда онъ подносить къ губамъ ядъ. Происходить долгая сцена, въ которой съ величайшей яркостію и контрастомъ высказываются христіанскія и языческія чувства. Децій сперва не понимаеть обращенной къ нему проповѣди, потомъ упорно и горячо от-

стаиваеть себя. Появляются наконець христіане, съ пѣніемъ гимновъ идущіе изъ катакомбъ на казнь. Децій приходить въ изступленіе и ужасъ, понявъ, что видить предъ собою силу, грозящую гибелью всему языческому міру. Оставаясь вѣрнымъ этому міру, онъ выпиваетъ ядъ; онъ умираетъ, озлобленный и изумленный; Лида и Марцеллъ присоединяются къ христіанамъ, т. е. идутъ свершать и свое самопожертвованіе.

Такимъ образомъ, два міра сопоставлены здёсь въ самыя торжественныя свои минуты; одни толною пирують вокругъ человѣка, идущаго на послѣднее оставшееся ему геройство—самоубійство, другіе толною идуть на казнь, чтобы засвидѣтельствовать свою вѣрность Христу.

Форма произведенія вольная, не держащаяся строгаго типа; это называють лирическою драмою, или лирическою трагедіею; въ настоящемъ случав можно былобы пожалуй употребить названіе эпической трагедіи, еслибы такое сочетаніе словъ не представляло слишкомъ ръзкаго contradictio in adjecto *). Всякая драма, трагедія, занимается лицами, требуетъ героевъ; и тутъ есть два героя, Децій и Лида; но узелъ, связывающій отношенія этихъ лицъ, захватываетъ столько другихъ лицъ и узловъ, въ трагедіи такъ много эпизодовъ, разсказовъ, побочныхъ меньшихъ драмъ, что она обращается изъ трагедіи лицъ въ трагедію людскихъ массъ, именно—массы христіанъ и массы язычниковъ. Общимъ содержаніемъ поэмы нужно считать изображеніе внутренней жизни тъхъ и другихъ.

Въ выпуклыхъ образахъ, въ яркихъ краскахъ и жи-

^{*)} Драма, по извъстному опредъленію, совмъщаеть въ себъ эпось и лирику. Впрочемъ вопросы о родахъ и названіяхъ имѣютъ второстепенную важность.

выхъ движеніяхъ выступаютъ передъ нами всякаго рода характерныя черты этихъ двухъ міровь; изображеніе такъ многосторонне, что если-бы мы вздумали дѣлать смѣту этимъ чертамъ, намъ слѣдовало-бы задаваться не вопросомъ, что тутъ изображено, а наоборотъ вопросомъ, что не изображено? Съ одной стороны—сенаторы, временщики, философы, гетеры, развратъ, рабство, эгоизмъ, жестокость, и ненависть; съ другой стороны—рабы, дѣти, матери, раскаявшіеся грѣшники и грѣшницы, любовь, смиреніе, прощеніе и самоотверженіе.

И вотъ гдѣ мы касаемся главнаго пункта разбора; вся сила въ томъ, съ какою вѣрностію и въ какой глубинѣ поэтъ понялъ духъ и противоположность язычества и христіанства. Но этотъ духъ и эта противоположность—предметъ обширный, предметъ безчисленныхъ изслѣдованій и толкованій, предметъ, о которомъ едва-ли когда-нибудь перестанетъ думать человѣчество. Было-бы очень легко и повидимому умѣстно пуститься здѣсь въ изложеніе своихъ взглядовъ на великій переворотъ и потомъ прикинуть эти взгляды къ произведенію поэта. Можно-бы было попытаться характеризовать умственное, нравственное и религіозное состояніе падающаго древняго міра, и также настроеніе первоначальныхъ христіанъ, и потомъ спросить, въ какой мѣрѣ разбираемая поэма соотвѣтствуетъ этой характеристикъ.

Такая критика, вообще говоря не трудная и не противузаконная, представляеть однако большія опасности. Туть мы сами выбираемъ и устанавливаемъ точки зрѣнія, слѣдовательно можемъ впасть въ произвольность, а главное, туть мы можемъ упустить изъ виду точки зрѣнія самого автора, можемъ не видѣть того, что онъ намъ показываетъ,—т. е. впасть въ грѣхъ для критики не-

простительный. Гораздо лучше поэтому следовать тому правилу, по которому критикъ долженъ прежде всего брать что ему дають, т. е. входить въ произведение автора и разсматривать его созданія, слёдуя свёту, который онъ на нихъ бросаетъ, и лишь потомъ цёнить ихъ съ общей точки зрѣнія. Поэтъ не историкъ, не смотря на великое сродство ихъ задачъ. Поэтъ не даетъ отвлеченныхъ характеристикъ, не формулируетъ логически идей, связывающихъ массу фактовъ; онъ даеть намъ отдъльныя лица, отдъльныя сцены, отдъльные моменты, т. е. нъчто конкретное, индивидуальное и потому съ отвлеченной точки зрѣнія всегда являющееся неполнымъ, отрывочнымъ. Въ этомъ отношении Два міра представляють образцовые, въ высшей степени художественные пріемы. Лица и сцены не нанизаны на нить одной какой-нибудь идеи, одного настроенія, а живьемъ выхвачены изъ дъйствительности, во всей ея пестротъ и рѣзкомъ разнообразіи. Если возьмемъ христіанскій міръ, то мы найдемъ туть образчики всёхъ странъ и всёхъ общественныхъ положеній. Вотъ варвары—Дакъ и Гетъ, сиріець-Іовъ, греки-Дидима, Главкъ, Мениппа и пр., римляне-Лида, Марцеллъ, и т. д. Въ ихъ рѣчахъ и мысляхъ мы находимъ тоже живое разнообразіе. Проповъдь любви во всъхъ; но кромъ того-и въра въ воскресеніе, и ожиданіе скораго втораго пришествія, и отвращение къ Риму, и проповъдь покорности властямъ, и даже мечты Марцелла о новомъ Римѣ, и всѣ эти различные элементы первоначальнаго христіанства сливаются въ одинъ общій аккордъ, покрывающій собой все ихъ разнообразіе, — въ готовность къ мученической смерти. Сцены въ катакомбахъ и потомъ у Деція завершаются этой мыслыю, какъ торжественнымъ финаломъ. Самыя ясныя черты христіанства поэть воплотиль въ своей Лидѣ, кающейся, преданной, неусыпной, благотворящей, всепрощающей, всепримиряющей. Но какого-нибудь главнаго лица, то есть преимущественнаго представителя христіанства, между христіанами нѣть; здѣсь всѣ равны, и послѣдніе бывають первыми; если Марцеллъ и представляеть какъ будто зачатокъ папы, Іовъ—зачатокъ отца церкви, то они все-же выдаются изъ другихъ скорѣе внѣшнимъ образомъ.

Въ римскомъ мірѣ точно такъ-же схвачены поэтомъ различные типы и настроенія. Галлуссь и Гиппархъобразчики римскаго космополитизма, Фабій и Эннійконсерваторы, Харидемъ и Циникъ-философы; больше же всего на сценъ представителей не идей, а распутства. Эта толна точно такъ-же оканчиваетъ свои ръчи достойнымъ ея финаломъ: по позволенію Деція она восторженно бросается грабить его сокровища. Но картина римскаго міра им'ьеть ясный центръ. Среди разлагающагося общества возвышается человъкъ, еще сохранившій всю силу этой убывающей жизни. Лицо Деція, въ такомъ яркомъ освъщени стоящее на первомъ планъ, совм'вщаеть въ себ'в черты, которыя на первый взглядъ могуть показаться разнородными и даже противорѣчащими. Онъ горячій патріоть, чтитель Катона, и вмістьприверженецъ цезаризма; онъ поклонникъ Эллады, вольнодумецъ въ религіи, и вмѣсть-защитникъ рабства и въры въ въчный Римъ; онъ эпикуреецъ по образу жизни и стоикъ по дъйствіямъ и передъ лицомъ смерти. Не смотря на то, нельзя не чувствовать жизненности, проникающей собою образъ Деція. Чувствуется, что онъ дитя своего времени, отдающееся его сильнъйшимъ теченіямъ; но ясно видна и та нить, которая связываеть всв его

стремленія и по которой онъ является намъ истиннымъ представителемъ всей древности. Это-гордость, безграничная человъческая гордость, обоготворение человъка. По гордости онъ увлекается теми различными симпатіями, которымъ преданъ, и по гордости не можетъ понять христіанъ, отвергаетъ свое спасеніе. Сила, съ которою поэть выражаеть эту гордость, едвали не превосходить всъ другія частности поэмы. И воть главный пункть всей трагедіи. Когда явилась религія, которая требовала не обоготворенія, а обожествленія человъка, то есть не возведенія земной жизни въ идеаль и предметъ поклоненія, а напротивъ отрицанія этой жизни созданія въ себъ новаго, божественнаго человъка, тогда противоръчіе было неминуемо. Поэть очень върно заставиль умирающаго Деція говорить, что, останься онъ живъ, онъ жестоко гналъ бы христіанъ. Не только Децій, а и челов'єколюбивый Маркъ Аврелій, этоть образцовый стоикъ, былъ неумолимымъ вдовцомъ христіанства. Христіанское смиреніе, раскаяніе, совершенное отрицаніе того политическаго устройства, которое для язычника было чёмъ-то священнымъ, тёхъ душевныхъ качествъ, въ которыхъ язычникъ полагалъ все человъческое достоинство, — воть что делало христіанъ непонятными и ненавистными для римлянъ. Самое геройство мучениковъ казалось ихъ гонителямъ только безсмысленнымъ упорствомъ. Такъ върно, что для этой новой жизни надобно возродиться свыше, что, хотя для токого возрожденія, какъ говорить Лида,

> Мгновенья одного довольно; Увидя свъть, ужъ никому Назадъ не хочется во тьму,

но, такъ или иначе, необходимо истинное обновленіе, истинное прозрѣніе.

Эти замѣчанія о внутреннемъ смыслѣ поэмы можно бы значительно умножить и расширить; если мы ограничились только общими чертами, то отчасти потому, что можно положиться на самую поэму (она будетъ сама за себя говорить), отчасти потому, что подробный разборъ былъ-бы слишкомъ обширенъ, а взявшись за него, нужно бы было уже ловести его до полноты, чего мы отъ себя не надѣемся. Приведемъ, въ видѣ примѣра, два-три образчика, какъ изображается духъ и настроеніе лицъ поэмы. Воть говоритъ поклонникъ цезаризма:

Единство въ мірѣ водворилось; Центръ—кесарь; отъ него прошли Лучи во всѣ концы земли, И гдѣ прошли, тамъ появилась Торговля, тога, циркъ и судъ, И въковъчныя бънутъ Въ пустыняхъ римскія дороги.

Можно ли ясиње, короче выразить сознаніе римскаго единства и его благотворности? Послѣдніе два стиха, по живописи, по образному воплощенію мысли, удивительны.

А вотъ похвальба уличнаго философа, циника:

Ужъ дальше моего нейдетъ Умъ человъческій; по малу Свой циклъ свершилъ, пришелъ къ началу, И больше некуда впередъ.

Здѣсь съ чудесной простотою и рѣзкостію выражено довольно обыкновенное притязаніе философовъ, которое очень характерно въ устахъ циника, одного изъ представителей дѣйствительной роковой остановки древней философіи.

Но всего ярче и поразительнъе выражение безбожія и гордости Деція.

Какъ? Изъ того, что той порой,
Когда стихіи межъ собой
Боролись въ бурномъ безпорядкѣ,
Земля, межъ чудищъ и звѣрей,
Межъ грифовъ и химеръ крылатыхъ,
Изъ нѣдръ извергла и людей,
Свирѣпыхъ, дикихъ и косматыхъ,—
Мнѣ изъ того въ нихъ братьевъ чтить?...
Да первый тотъ, кто возложить
На нихъ ярмо возмогъ, тотъ разомъ
Сталъ выше всѣхъ, какъ власть, какъ разумъ!
Ктожъ суевѣрья ихъ презрѣлъ
И мыслъю смѣлою къ чертогамъ
Боговъ ихъ жалкихъ возлетѣлъ,
Тотъ самъ для нихъ уже сталъ богомъ!..

Древній натурализмъ дѣлается здѣсь опорою презрѣнія къ людямъ, какъ это бываетъ и съ новѣйшимъ натурализмомъ.

Если бы мы по порядку перебрали такимъ образомъ всѣ лица и все, что типично, или значительно въ ихъ рѣчахъ, то намъ пришлось бы переписать всю поэму и снабдить большими замѣчаніями каждую ея страницу: такъ много вложено въ это произведеніе, такъ много чертъ, или возсозданныхъ изъ внимательнаго изученія эпохи, или угаданныхъ по прозрѣнію въ душу человѣка.

Отъ содержанія перейдемъ наконецъ къ формамъ, къ достоинствамъ техники, слога, языка. Эти предметы несравненно легче для разсмотрѣнія и опредѣленія, и мы тѣмъ охотнѣе на нихъ остановимся, что можемъ быть яснѣе въ своихъ указаніяхъ.

Общія достоинства изложенія, ясность, точность, образность составляють для нашего поэта давнишнія художественныя привычки, оть которых онь никогда не отступаеть. Чтобы видёть, въ какой высочайшей мѣрѣ онъ мастеръ своего дѣла, укажемъ на его образность. Воть картина:

...—Да гдѣ же ты скрывалась?
Въ послѣдній разъ передо мной
Ты по ристалищу промчалась
На колесницѣ золотой,
Сама конями управляла
И оглянулась на меня!
Весельемъ, розами сіяла,
Мнѣ въ даръ улыбку уроня!

А вотъ другая картина:

Теренцій.

Гляди, какъ смотритъ: голова Назадъ закинута, рѣсницы Что стрѣлы, молньеносный взглядъ, А профиль?

Преторъ.

Голова Медеи! И косы вкругь чела лежать, Что перевившіяся змѣи!

Эти фигуры кажется видишь глазами, а между тъмъ выраженія такъ просты и кратки!

Такое же полное мастерство обнаруживаетъ авторъ въ передачѣ душевныхъ движеній посредствомъ соотвѣтственнаго теченія рѣчи. Гдѣ нужно, стихъ его звученъ и могучъ невыразимо:

Рабы, Марцеллъ! Да гдѣ мы, гдѣ мы? Для нихъ вѣдь камни эти нѣмы, Что намъ позоръ, имъ не позоръ, Они предъ этими мужами Не заливалися слезами, Съ стыдомъ не потупляли взоръ!

Но тамъ, въ катакомбахъ, среди этихъ сценъ, вызывающихъ слезы на глаза читателя, слышатся и рѣчи мягкія, какъ воркованье:

Ужъ ты-то очень мнѣ мила! И скажешь-то такъ все понятно, И рѣчь-то тихая твоя... Ахъ ты мой ландышъ ароматный, Фіалка нѣжная моя!

Когда Миртиллъ объявляетъ содержаніе указа, онъ невольно впадаетъ въ канцелярскій тонъ;

Предписано; по городамъ
И здѣсь, чтобъ завтра же явились
Всѣ къ квесторамъ и поклонились
Статуѣ кесаря, его
Признавши тутъ же божество,
Какъ признается всей вселенной.
А воспротивятся—пойдутъ
Одни для травли въ циркъ, другіе
Рубашки вздѣнутъ смоляныя, и пр.

Такимъ образомъ, по ходу дъйствія измѣняется и характеръ рѣчи. Всѣ разговоры не только представляютъ необыкновенную живость и естественность, но каждый говорящій выдерживаеть свой тонъ и свой слогь. Положительно, у каждаго дѣйствующаго лица—свой слогь. И не вздумайте слишкомъ низко цѣнить то обиліе художественнаго чувства, которое сказалось въ этомъ случаѣ. Есть очень важныя произведенія, въ которыхъ такое разнообразіе далеко не соблюдено. Такъ въ Горю от ума, всѣ дѣйствующія лица, за исключеніемъ развѣ

Скалозуба, говорять почти однимъ слогомъ. Попробуемъ указать характеръ рѣчи у лицъ Двухъ міровъ. Старики, Фабій, Публій, Энній говорять коротко, просто, съ нѣкоторымъ старческимъ пренебреженіемъ къ красотѣ рѣчи; но и тутъ есть оттѣнки: Энній торжественнѣе, Фабій ворчливѣе. Миртиллъ и Харидемъ говорять плавно, съ пошлой изысканностію, обнаруживающею ихъ лицемѣріе. Лида и Децій говорятъ съ безукоризненнымъ изяществомъ и полной гибкостью выраженій. Галлусь и Гиппархъ—краснорѣчивы; Циникъ—вульгаренъ; Дакъ и Геть—просты; Дидима—поеть...

Это маленькая фигура стѣпой Дидимы—прелестна. Это зачатокъ тѣхъ слѣпцовъ нищихъ, которые поютъ, сидя возлѣ церквей. Очевидно Дидима не просто говоритъ, а, погруженная въ вѣчную темноту, слагаетъ свою рѣчь въ стихи и потомъ однообразно повторяетъ ихъ на распѣвъ....

Наконець, есть цёлый рядъ маленькихъ вставокъ, которыя по тону и складу рёчи составляють истинные перлы поэмы и блестятъ какъ дорогіе камни на золотой ризѣ. Мы разумѣемъ тѣ стихотворенія или отрывки изъ стихотвореній, которыя среди разговора припоминаются и читаются дѣйствущими лицами. Вотъ главнѣйшіе:

Ловите, ловите Часы наслажденья!

Опротивѣютъ ужъ яства....

Мирта Киприды мнв дай....

Передъ жрицей Аполлона....

Съ зеленьющихъ полей....

Дельфійскій богь! И онъ позналъ....

Туть, сразу берется тонъ удивительной звучности и притомъ такой, что кажется это дѣйствительно упругая латинская рѣчь, а не русскій языкъ. Не говоримъ объ античномъ духѣ, который, напримѣръ, въ стихотвореніяхъ: "Передъ жрицей Аполлона" и "Съ зеленѣющихъ полей" схваченъ такъ поразительно.

Мастерство майковскаго стиха давно извъстно всѣмъ знающимъ толкъ въ этомъ дѣлѣ. Фактура стиха изрѣдка напоминаетъ тяжелую звучность Державина. Напр.

Лишь съ дня, когда онъ въ рабство впалъ, Для міра рабъ хоть нѣчто сталъ.

Съ Державинымъ вообще нашъ поэтъ представляетъ нѣкоторыя любопытныя черты сходства и въ духѣ и въ выраженіи, о чемъ, къ сожалѣнію, невозможно кратко говорить. Если взять всѣ формы этого стиха, то едва-ли найдется поэтъ болѣе разнообразный, болѣе способный брать всевозможные тоны стихотворной гаммы. Отъ чудеснаго пѣнія, отъ напряженной музыкальности, стихъ его по мѣрѣ надобности спускается до простѣйшихъ звуковъ, до прозы, наконецъ вовсе прерывается. Множество неоконченныхъ стиховъ очевидно вовсе не смущали поэта, какъ они смущають неопытныхъ читателей. Неоконченный стихъ чего требуетъ? Паузы, остановки, и эти паузы нужны были поэту. Когда принято восторженное рѣшеніе идти на мученія, раздаются отрывочныя восклицанія:

Сльпой старикъ.

Его узрѣть во славѣ!....

Павзаній

Сложить съ души всь тяготы У ногъ Его!....

Главкъ

..... Исчезнуть въ созерцаньи Неизрекомой красоты!..

Пауза, какъ извъстно, усиливаетъ впечатлъніе звука, за нею слъдующаго; такъ и здъсь нарастаетъ сила слъдующихъ одного за другимъ восклицаній.

Вообще, подчиняясь требованіямъ драматизма, авторъ дѣлаетъ крутые переходы въ тонѣ и фактурѣ стиха; это—большое мастерство, хотя оно можетъ показаться недостаткомъ людямъ, полагающимъ, что стихи должны всегда представлять гладкое и однообразное пѣніе. Тонъ разговора иногда выражается въ постро еніи сти ха съ изу мительнымъ искусствомъ. Напр. Великій жерецъ въ жару спора кричитъ:

..... Пьютъ, Свершая жертвоприношенье, Кровь человъческую!

Этихъ стиховъ невозможно произнести иначе, какъ дълая сильныя ударенія на слова пьють и кровь; ударенія въдь бывають тъмъ выше, чъмъ больше предшествуеть имъ и слъдуеть за ними слоговъ безъ ударенія. И выходить настоящій крикъ; въ семнадцати слогахъ туть можно налечь только на два слога, и какъ разъ на односложныя слова и на самыя важныя.

Еще примъръ. Децій, въ порывъ злобы, говоритъ Лидъ:

. . . Лида! я бъ васъ *іналъ*, Когда бы жилъ еще... терзаль Звъръми бъ... живого бъ не оставилъ! Эта рѣчь очевидно произносится въ три пріема, нарастая отъ перваго ко второму и отъ втораго къ третьему. (Мы поставили точки на мѣстѣ паузъ и подчеркнули слова, на которыя должно падать главное удареніе). Сила выходитъ чрезвычайная.

Мы долго бы не кончили нашихъ похвалъ и толкованій, если-бы вздумали перебрать всё частности этого мастерства. Майковскій стихъ, такъ-же какъ и майковскій языкъ должны служить образцами, на которыхъ можно изучать строеніе дёйствительной стихотворной рёчи и умёнье употреблять слова и обороты въ ихъ точномъ смыслё и въ соотвётствіи съ предметомъ. Этоть языкъ, сверхъ того, отличается стремленіемъ къ сжатости, къ употребленію самыхъ живыхъ и короткихъ оборотовъ рёчи. Не говоримъ уже о томъ, что онъ безупреченъ по чистотё и правильности. Мы замётили лишь двё неисправности, которыя и укажемъ,какъ истинную находку, и не безъ страха ошибиться.

Окроми двухъ, тѣ всѣ сироты—

Туть простонародное *окроми*ь, кажется, некстати. Правда, у Державина есть:

Окром' Бога одного —

но Державинъ не во всъхъ отношеніяхъ образецъ въязыкъ.

Вторая неисправность:

. Наше тѣло Есть кесаря....

Это значить: принадлежить кесарю. Латинизмъ едвали допустимый.

Замътки о стихосложеніи, объязыкъ всегда должны казаться мелочными, когда дъло идеть о поэтическомъ

произведеніи,—почти недостойными предмета. Но онъ неизбъжны и важны, и первый съ этимъ согласится всякій настоящій поэтъ, для котораго слово и звукъ всегда сердечно дороги. Вспомните Пушкина:

Съверные звуки Ласкаютъ мой привычный слухъ; Ихъ любитъ мой славянскій духъ, Ихъ музыкой сердечны муки Усыплены.....

Что здёсь *звуки* сказано въ прямомъ смыслё звуковъ, ясно изъ продолженія:

Но дорожитъ Одними ль звуками піитъ?

Кром'є того, зам'єчанія объ язык'є, о техник'є стиха им'єють гораздо большую степень обязательности, чёмъ всякія другія. Конечно есть даръ языка и даръ стиха; но мы им'ємъ право желать труда и тщательности въ употребленіи этихъ даровъ. Можно требовать отъ писателей правильности и хорошей обработки стиха и языка; тогда какъ св'єтлыя мысли, высокія чувства и вдохновенія въ конц'є концовъ зависятъ не отъ нашихъ усилій и требованій, а отъ Бога.

Кончаемъ свои замѣчанія, далеко не исчерпавши предмета. Мы старались, однако, указать на главное,—на положительную сторону произведенія, и хотимъ удовольствоваться посильною мѣрою похваль, не задаваясь вопросомъ о недостаткахъ. Указывать несовершенства только повидимому легко, и, во всякомъ случаѣ, большой промахъ сдѣлалъ-бы тотъ, кто приступилъ-бы къ анализу несовершенствъ, не понявъ сперва внутренней силы и сущности предмета.

Въ заключение повторимъ, что для вопроса о преміи нашъ разборъ едва-ли нуженъ: достоинства "Двухъ міровъ"—слишкомъ велики и очевидны; это—самое крупное произведеніе нашего поэта, въ которомъ сосредоточились всѣ лучи майковской поэзіи; но оно и вообще до такой степени крупно, что обыкновенныя сравненія и измѣренія для него даже излишни и неумѣстны.

5 сент.

Гр. А. К. Толстой.

(Отеч. Записки 1867, Іюнь).

Къ великому изумленію тѣхъ, кто считаеть стихи безполезными побрякушками, до сихъ поръ стихи у насъ не только пишутся, но неръдко даже и читаются, то-есть перечитываются до заучиванія наизусть. Какъ изв'єстно изъ Тургенева, стихи бывають двухъ родовъ, сладкіе и несладкіе. Сладкихъ большинство нашихъ читателей терпъть не можетъ; у насъ очень распространенъ такого рода вкусъ, для котораго, какъ бы хороши ни были сладкіе стихи, они кажутся невыносимо приторными. Поэтому, всего охотнъе читаются несладкіе стихи, напримъръ произведенія г. Некрасова, старающагося обыкновенно вмѣстить въ свою поэзію сколь возможно больше прозы и горечи. Иногда въ силу такихъ стараній у него и выходить одна проза; но это еще не составляеть никакой бъды: проза идеть за поэзіею безъ всякихъ затрудненій. Гораздо хуже бываетъ, когда онъ не въ мѣру подпустить горечи: тогда, вмъсто грустнаго впечатлънія, онъ производить забавное. Такъ, напримъръ, въ одномъ стихотвореніи, описывая жалкую участь какого-то чиновника, поэть говорить:

Петербургъ ему солонъ достался: Въ наводненье жену потерялъ, Цълый въкъ по квартирамъ таскался И четырнадцать разъ погаралъ.

Четырнадцать разъ! Воть ужь подлинно несчастная судьба! Куда ни перевдеть, непремвнно погорить! Четырнадцать разъ! Кто не сжалится надъ столь плачевною участью, тоть, конечно... расхохочется.

Но не одинъ г. Некрасовъ читается у насъ. Между прочимъ очень большой успъхъ имъли нъкоторыя стихотворенія гр. А. К. Толстаго. Для доказательства при ведемъ одно стихотвореніе, которое всякій знаетъ, а есликто не знаетъ, то, конечно, не забудетъ, прочитавъ его здъсь:

Ой кабъ Волга матушка да вспять побѣжала!
Кабы можно, братцы, начать жить сначала!
Ой кабы зимою цвѣты расцвѣтали!
Кабы мы любили, да не разлюбляли!
Кабы дно морское достать да измѣрить!
Кабы можно, братцы, краснымъ дѣвкамъ вѣрить!
Ой кабы всѣ бабы были молодицы!
Кабы въ полугарѣ поменьше водицы!
Кабы всегда чарка доходила до рту!
Да кабы приказныхъ по боку да къ чорту!
Да кабы звѣнели завсегда карманы!
Да кабы намъ, братцы, да своп кафтаны!
Да кабы голодный всякій день обѣдалъ!
Да батюшка-бъ нашь царь всю правду бы вѣдалъ!

Судьба гр. А. К. Толстаго, какъ поэта, именно тѣмъ и замѣчательна, что никто не замѣтилъ его выступленія на поэтическое поприще, никто не слѣдилъ за его дѣятельностію, никто не принималъ его въ разсчетъ, когда говорилъ о современныхъ русскихъ поэтахъ, а между тѣмъ

нъкоторыя его стихотворенія, подобно приведенному, затвердились читателями не хуже чьихъ бы то ни было произведеній. Еще въ недавнее время большой успъхъ имъли два его стихотворенія: Пантелей-цълитель и Чужое горе.

Но вотъ это загадочное явленіе должно разъясниться. Является наконець полное собраніе стихотворныхъ произведеній графа А. К. Толстаго, большой томъ подъ принятымъ въ такихъ случаяхъ простымъ заглавіемъ: Стихотворенія грасба А. К. Толстаго. С.-Петербургъ. 1867. Съ большимъ любопытствомъ принялись мы за книгу, и
нѣкоторое время, признаемся, были подъ очень дурнымъ
впечатлѣніемъ. Какіе плохіе стихи! Какое отсутствіе звучности и силы! То высокопарныя слова не ладятъ съ прозаическимъ теченіемъ стиха; то выраженія просты, но не
видать и искры поэзіи, и кажется читаешь рубленную
прозу. И, ко всему этому, безпрестанныя неловкости и
ошибки въ языкъ. Возьмемъ хоть первыя строки изъ
посланія къ И. С. Аксакову, перваго стихотворенія въ
въ сборникъ:

Судя меня довольно строго, Въ моихъ стихахъ находишь ты, *Что въ нихъ* торжественности много И слишкомъ мало простоты.

Это несомивная проза, которая, вдобавокъ, при переложени въ стихи, испорчена вставкою лишнихъ словъ (ито въ нихъ, и). Нужно бы такъ: судя меня довольно строго, ты находишь въ моихъ стихахъ слишкомъ много торжественности, слишкомъ мало простоты. Подобныя вещи, которыя просто не даютъ читатъ, объ которыя спотыкаепься, какъ объ пень на дорогъ, попадаются у гр. А. К. Толстаго на каждой страницъ, да и не по оди

ночкъ. Итакъ, мы читали страницу за страницей, продолжая считать гр. А. К. Толстаго за весьма слабаго поэта. Но что же? Вотъ попадается намъ стихотвореніе до того живое, теплое и прекрасно написанное, что вполнъ увлекаетъ насъ. Черезъ нѣсколько страницъ другое, тамъ третье... Мы приходимъ къ мысли, что это человъкъ, которому вполнъ удалось нъсколько истинно поэтическихъ произведеній, но что они напрасно затеряны въ хламъ, составляющемъ книгу. Читаемъ дальше-странное дъло! Подъ впечатлъніемъ удачныхъ произведеній поэта, въ которыхъ такъ полно высказалась его душа, мы начинаемъ яснъе понимать его менъе удачные стихи, находить въ нихъ настоящую поэзію. Книга какъ будто вся озаряется свътомъ, выходящимъ изъ нъсколькихъ, наиболъе яркихъ точекъ; мы убъждаемся, наконецъ, что имъемъ дъло съ дъйствительнымъ поэтомъ и начинаемъ сочувствовать ему въ каждомъ его душевномъ движеніи.

Открытіе—по истинъ неожиданное, но очень пріятное; и такъ у насъ еще лирикъ, и притомъ—скажемъ прямо и сразу—лирикъ глубоко симпатическій.

Безъискусственность—воть черта, чрезвычайно выгодно отличающая поэзію гр. А. К. Толстаго; при чемъ мы разумѣемъ именно только его лирическія стихотворенія, а отнюдь не его драмы, романы и пр. Лирическія пропзведенія представляють, безъ сомнѣнія, лучшую сторону его таланта. Въ силу этой-то безъискусственности вы найдете въ его стихахъ крайнюю небрежность, прозапзмъ, но въ то-же время всегда простоту, искренность и правду. Описываетъ-ли онъ природу, или свои душевныя чувства—читайте смѣло, потому что онъ пишетъ правду, пишетъ то, что видѣлъ, или что было у него на душѣ. Никакой фальши, никакой напряженности

и натянутости у него нѣтъ. Онъ иногда выразится неловко и неправильно грамматически, очень часто дурно построитъ стихъ; но онъ никогда—извините за выраженіе—не завремся, какъ Некрасовъ, заставившій чиновника четырнадцать разъ погорѣть, или какъ завирались поэты даже гораздо большіе, напримѣръ Лермонтовъ, написавшій:

И Терекъ прыгаеть, какъ львица Съ косматой гривой на хребть.

Львица отличается отъ льва, между прочимъ, и тѣмъ, что не имѣетъ никакого слѣда гривы. Замѣтимъ кстати, что невозможно быть правдивѣе и чище ото всего, похожаго на завиранье, чѣмъ нашъ великій Пушкинъ.

Иногда стихи гр. А. К. Толстаго кажутся высокопарными, то-есть содержащими слишкомъ много громкихъ словъ безъ соответствующихъ сильныхъ чувствъ и мыслей. Но вглядитесь ближе, и вы увидите, что поэтъ только слишкомъ просто и наивно употребляеть эти громкія слова, но употребляеть ихъ въ настоящемъ смыслѣ. Онъ, такъ сказать, запросто говорить такія вещи, которыя требують громкаго, яркаго стиха; его-же стихъ часто очень слабъ.

И такъ, смѣло рекомендуемъ эту книгу читателямъ; пусть только онѣ довърятся поэту, пусть подойдуть къ нему просто, не думая, что ихъ хотятъ чѣмъ-то увлечь, ослѣпить, поразить,—и они найдуть въ книгѣ множество прекраснаго.

Что такое лирическій поэть? Это выразитель душевных в настроеній, человъкъ, воплощающій въ слово личныя человъческія чувства и волненія, часто всъмъ знакомыя, но неуловимыя въ ръчь для людей, неимъющихъ поэтическаго дара. Обыкновенно, впрочемъ, лирическіе

поэты бывають односторонни, то-есть они любять останавливаться только на нѣкоторыхъ настроеніяхъ, касаются только нѣкоторыхъ струнъ души, звуки которыхъ у нихъ выходять всего яснѣе и отчетливѣе. Таковъ, напримѣръ, Гейне, таковъ у насъ г. Некрасовъ. Въ такомъ случаѣ мы не получаемъ полнаго душевнаго образа, не видимъ передъ собой души со встъми ея радостями и печалями. Но есть у насъ несравненный лирикъ, котораго простая и гармоническая душа, такъ сказатъ, не побоялась вы сказаться вполнѣ, во всѣхъ своихъ движеніяхъ, начиная отъ такого:

Духовной жаждою томимъ, Въ пустынъ мрачной я влачился,

и до такого:

Мив не спится, ивтъ огня...

Въ лирическихъ стихотвореніяхъ Пушкина мы имъемъ полный душевный образъ, полный *образъ прекрас*ныхъ мыслей и чувствъ, прекрасной русской души.

Къ какому-же разряду лириковъ мы причислимъ А. К. Толстаго? Есть у него любимыя темы, особенная отзывчивость на особенныя явленія? Оказывается, нѣтъ; онъ свободно отзывается на все; въ немъ не замѣтно однообразія или односторонней напряженности, такъ что и здѣсь мы получаемъ полный образъ, хотя выраженный часто очень слабо и неудачно. Но какъ дорога полнота, даже при слабомъ очеркѣ! Невольно чувствуешь жизнь, теплоту, душевную силу.

Воть одно изъ характеристическихъ стихотвореній гр. А. К. Толстаго:

Коль любить, такъ безъ разсудку, Коль грозить, такъ не на шутку Коль ругнуть, такъ сгоряча, Коль рубнуть, такъ ужь сплеча Коли спорить, такъ ужь смѣло, Коль карать, такъ ужь за дѣло, Коль простить, такъ всей душой, Коли пиръ, такъ пиръ горой!

Какъ это просто и живо! Пусть читатели прочтуть въ самой книгѣ еще нѣсколько подобныхъ стихотвореній, напримѣръ: "Хорошо тому, братцы, на свѣтѣ жить", "Не божіимъ громомъ горе ударило", "Ты невѣдомое, незнаемое", "Порой, среди заботъ и жизненнаго шума", "Мнѣ въ душу полную ничтожной суеты", и пр.; всѣ эти искреннія пѣсни даютъ намъ черты нѣкотораго душевнаго строя, нѣкотораго образа, къ которому нельзя не отнестись сочувственно.

Важный предметь для лирическихъ пѣвцовъ составляють любовныя пѣсни. Любовь—самое живое и глубокое изъ личныхъ отношеній человѣка, слѣдовательно, по преимуществу предметь лирики. У полнаго поэта, чуждаго односторонности, должны быть выражены всѣ фазисы этого чувства; такъ это и есть, напримѣръ, у Пушкина, и этого нѣтъ, напримѣръ, у Гейне или г. Некрасова. Пѣсни гр. А. К. Толстаго очевидно представляють черты вполнѣ развитаго чувства. Воть прелестное стихотвореніе этого рода:

Западъ гаснетъ въ дали блѣднорозовой, Звѣзды небо усѣяли чистое, Соловей свищетъ въ рощѣ березовой, И травою запахло душистою.

Знаю, что къ тебѣ въ думушку вкралося, Знаю сердца немолчныя жалобы; Не хочу я, чтобъ ты притворялася И къ улыбкъ себя принуждала-бы.

Твое сердце болить безотрадное, Въ немъ не свътить звъзда ни единая— Плачь свободно, моя ненаглядная, Пока пъсня звучить соловыная,

Соловыная пъсня унылая, Что какъ жалоба катится слезная; Плачь, душа моя, плачь, моя милая— Тебя небо лишь слушаеть звъздное!

Туть слышится та чистая и глубокая нѣжность къ женщинѣ, которая, по справедливому замѣчанію одного критика, свойственна только русской поэзіи. Эта нѣжность нетолько поглощаетъ сладострастіе, но становится выше самой страсти и переходитъ въ простыя, но высокочеловѣчественныя отношенія къ предмету любви. Вотъ другое не менѣе прелестное и нѣжное стихотвореніе гр. А. К. Толстаго:

Осень. Обсыпается весь нашъ бѣдный садъ, Листья пожелтѣлые по вѣтру летятъ; Лишь вдали красуются, тамъ, на днѣ долинъ, Кисти ярко-красныя вянущихъ рябинъ. Весело и горестно сердцу моему, Молча твои рученьки грѣю я и жму, Въ очи тебъ глядючи, молча слезы лью, Не умъю высказать, какъ тебя люблю!

Какая чистота чувства и какая сила! Чтобы указать на нъкоторыя другія стороны таланта графа А. К.: Толстаго, выпишемъ еще одно стихотвореніе.

По греблѣ неровной и тряской Вдоль мокрыхъ рыбачьихъ сѣтей Дорожная ѣдетъ коляска; Сижу я задумчиво въ ней.

Сижу и смотрю я дорогой На сърый и пасмурный день, На озера берегь отлогій, На дальній дымокъ деревень.

По гребль, со взглядомь угрюмымь, Проходить оборванный жидь; Изъ озера съ пъной и щумомь Вода черезъ греблю бъжить;

Тамъ мальчикъ играетъ на дудкѣ, Забившись въ зеленый тростникъ; Въ испугѣ взлетѣвшія утки Надъ озеромъ подняли крикъ;

Близъ мельницы старой и шаткой Сидятъ на травъ мужики; Телега съ разбитой лошадкой Лъниво подвозитъ мъшки...

Мић кажется все такъ знакомо, Хоть не былъ я здѣсь никогда, И крыша далекаго дома, И мальчикъ, и лѣсъ, и вода,

И мельницы говоръ унылый, И ветхое въ полъ гумно— Все это когда-то ужь было, Но мною забыто давно.

Такъ точно ступала лошадка, Такіе-жь тащила мѣшки; Такіе-жь у мельницы шаткой Сидѣли въ травѣ мужики;

И такъ-же шелъ жидъ бородатый, И такъ-же шумѣла вода— Все это 'ужъ было когда-то, Но только не помню когда... Воть картина, нарисованная върными и простыми красками; сверхъ того уловлено весьма тонкое душевное настроеніе, одно изъ тѣхъ странныхъ мгновеній, когда настоящее кажется повтореніемъ чего-то давно бывшаго—притомъ уловлено совершенно просто, безъ всякаго подхода, безъ всякаго напряженія. Стихъ такъ простъ, что едва подымается надъ прозою; между тѣмъ, поэтическое впечатлѣніе совершенно полно.

И такъ гр. А. К. Толстой обладаетъ драгоцънными поэтическими достоинствами, которыя, къ сожальнію, не всегда лишь проявляются въ полной силь и крась. Будемъ надъяться, что впередъ они будутъ выказываться и чаще и явственнъе.

А. А. ФЕТЪ.

(Русь 1883, 15 дек.)

Вечерніе огни. Собраніе неизданных стихотвореній А. Фета. Москва, 1883.

Жалко было-бы пропустить безъ всякаго привъта эту чудесную книжку, вышедшую въ настоящемъ году,—этотъ листокъ чистаго золота, появившійся среди мишуры и фольги, и того хлама ломанныхъ гвоздей и ржавыхъ жестяныхъ листовъ, съ которымъ можно и всегда, а особенно теперь, сравнить общую массу литературныхъ явленій.

Вечерніе огни—чистая поэзія,—въ томъ смысль, что туть ни въ мысли, ни въ образь, ни въ самомъ звукь ньть никакой примьси прозы. Это—особая область, и счастливъ тотъ, кому она доступна, и не безъ основанія сердятся на нее ть, кто не можеть въ нее проникнуть, кому нужны для этого большіе прозаическіе подмостки, чья грузная мысль не можеть двигаться, не опираясь прямо на землю. Больше всего у Фета поразительна именно та легкость, съ которою онъ подымается въ область поэзіи. Эта область у него граничить, повидимому, съ самыми обыденными предметами и мыслями. Обыкновенно, онъ не воспъваеть жаркихъ чувствъ, отчаянья, восторга, высокихъ мыслей,—всего того, что считается почти непремънною принадлежностью поэзіи. Нътъ, онъ очень часто

останавливается на чемъ-нибудь самомъ простомъ, на первой встрътившейся картинъ природы, на перемънахъ дня и ночи, на дождъ и снъть, или же на самомъ простомъ движеніи мысли и чувства, и вдругъ магическимъ стихомъ онъ преображаеть все это въ яркую красоту, въ чистое золото поэзіи. Въ этомъ отношеніи онъ величайшій чародів, несравненный поэть; чтобы отділиться оть земли, ему не нужно никакого прыжка, почти вовсе не нужно усилія. Оттого-то тому, кто его не понимаеть, онъ можеть показаться вычурнымъ и малосодержательнымъ, тогда какъ для понимающаго онъ самый прямой и полный жизни поэть. Оть свободы и легкости творчества зависить и тоть радостный и свётлый тонь, то чувство свъта и покоя, которое слышится въ его поэзіи. Ни воплей и стоновъ, ни крика и хохота здъсь не слыхать, оттого что все становится музыкой, все преображается въ пъніе. Кто доступенъ этому волшебству, тоть сь изумленіемъ начинаеть видіть—не то, что поэзія, какъ иные толкують, есть нечто чуждое для жизни, а то, что повсюду въ жизни рѣзкая черта отдѣляеть красоту и прелесть отъ грязи и пошлости.

Фетъ очень небреженъ. Его стихотворенія, несмотря на образцовую краткость, свойственную лирикѣ, часто не имѣютъ полной правильности въ постройкѣ, того отвлеченнаго порядка, который такъ помогаетъ прозаическимъ читателямъ. Но этого нашему поэту и не нужно: каждый стихъ у него съ крыльями, каждый сразу подымаетъ насъ въ область поэзіи. Когда онъ скажетъ напримѣръ:

Та трава, что вдали на могилъ твоей,

Здёсь на сердцё, чёмъ старё оно, тёмъ свёжёй, и лва стиха произволять такое-же впечатлёніе, кан и долгіе годы, прожитые послѣ этой смерти, и далекая могила, и старое сердце, давно ставшее могилой любимаго существа, могилой вѣчно свѣжей, даже вѣчно свѣжѣющей. Прелесть этого по-Фетовски смѣлаго, но простаго и яснаго образа безподобно выражаеть нѣжность внушившаго его чувства, безконечную нѣжность, которая съ годами все глубже, все свѣтлѣе, но горитъ, какъ въ первую минуту.

Не всякому времени дается чувство поэзіи. Феть точно чужой среди насъ, и очень хорошо чувствуєть, что служить покинутому толпою божеству:

А я по прежнему смиренный, Забытый, брошенный въ тѣни, Стою колѣнопреклоненный И, красотою умиленный, Зажегъ вечерніе огни.

И это правда: его звуки по прежнему—одно поклоненіе прекрасному, одно чистое золото поэзіи; въ нихъ послышались только, кром'є прежнихъ, еще новыя, глубокія и важныя струны.

Недурно было-бы сказать нашимъ безчисленнымъ стихотворцамъ (ибо имъ конца нѣтъ), что этой книжки Фета имъ слѣдуетъ не выпускать изъ рукъ; при ея помощи, если Аполлонъ пошлетъ имъ наконецъ разумѣніе; они могли-бы убѣдиться, что и тѣ стихотворенія, которыя появляются въ печати, и тѣ страшныя груды стиховъ, которыя въ редакціяхъ постоянно предаются уничтоженію,— что все это, почти безъ всякаго исключенія, пишется только по невѣдѣнію, то есть потому, что авторы не имѣютъ и понятія о томъ, что такое настоящіе стихи.

ЮБИЛЕЙ ПОЭЗІИ ФЕТА

(Новое Время. 1889, 29 Янв.)

А я, попрежнему, смиренный, Забытый, брошенный въ твии, Стою колвнопреклоненный И, красотою умиленный, Зажегь вечерніе огни.

Сегодня празднуется пятидесятильтие писательской дѣятельности Аванасія Аванасьевича Фета (Шеншина), и хотълось бы намъ высказать ему публично самыя лучшія похвалы, какихъ онъ стоитъ и какія мы способны почувствовать и выразить. Давно знають понимающіе, что онъ въ своемъ родъ поэть единственный, несравненный, дающій намъ самый чистый и настоящій поэтическій восторгь, истинные брилліанты поэзіи. У понимающихъ дъло давно сложилась поговорка, что кто восхищается стихами Фета, тоть дъйствительно знаеть толкъ въ поэзіи, а кто не чувствуеть любви къ этимъ стихамъ, тотъ вообще не знаетъ настоящаго вкуса въ стихахъ, какъ бы онъ ни восторгался другими поэтами. Это върно какъ нельзя больше, и чъмъ дальше будеть идти время, тъмъ яснъе будеть это для всъхъ, тъмъ тверже установится мысль, что Фетъ есть истинный пробный камень для способности понимать поэзію. Если теперь еще много равнодушныхъ къ его произведеніямъ, много неумѣющихъ ихъ цѣнить, то это происходить, повидимому, оть узкости той сферы, которой держится поэть, оть того, что онь не касается разнообразнаго множества мыслей и чувствъ, которое занимаеть различныхъ людей. Хотя Фетъ лирикъ, слъдовательно принадлежить къ простъйшему, распространеннъйшему и доступнъйшему роду поэтовъ, хотя романсъ есть даже любимъйшая форма русскихъ читателей, но Фетъ какъ будто не трогаетъ сильно ни одной изъ безчисленныхъ струнъ души, звонъ которыхъ можетъ отзываться въ лирической поэзіи. Что же онъ выражаеть? Онъ пъвецъ и выразитель отдъльно взятыхъ настроеній души, или даже минутныхъ, быстро проходящихъ впечатльній. Онъ не излагаеть намъ какого нибудь чувства въ его различныхъ фазисахъ, не изображаетъ какой нибудь страсти съ ея опредълившимися формами, въ полнотъ ея развитія; онъ уловляетъ только одинъ моменть чувства или страсти, онъ весь въ настоящемъ, въ томъ быстромъ мгновеніи, которое его захватило и заставило изливаться чудными звуками. Каждая пъсня Фета относится къ одной точкъ бытія, къ одному біенію сердца и потому неразложима, нераздълима; это аккордъ, въ которомъ на звукъ мгновенно тронутой струны вдругъ гармонически отозвались другія струны. И потому самому, тутъ красота, естественность, искренность, сладость поэзіи доходять до полнаго совершенства. Поэть какъ будто доволенъ только тогда, когда можетъ вполнъ облечь свое настроеніе въ пъвучія слова, когда найдеть формы и звуки для самыхъ ускользающихъ и тайныхъ движеній, проснувшихся въ его душт. И потому онъ не

выбираетъ предметовъ, а ловитъ каждый, часто самый простой случай жизни; онъ не составляетъ сложныхъ картинъ и не развертываетъ цълаго ряда мыслей, а останавливается на одной фигурѣ, на одномъ поворотѣ чувства. Если взять Фета съ этой стороны, то мы не только не найдемъ въ немъ однообразія, а будемъ изумлены шириною его захвата, разнообразіемъ и множествомъ его темъ. Какъ чародъй, который до чего ни коснется, все обращаетъ въ золото, такъ и нашъ поэтъ преобразуеть въ чистъйшую поэзію всевозможныя черты нашей жизни. Ночь и день, и всѣ часы ночи и дня, ведро и ненастье, дождь и снъгъ, всъ времена года и всъ высоты солнца, мъсяцъ и звъзды, сады и степи, море и горы-все отозвалось въ душт поэта; здоровье и болтзиь, тоска и радость, бдініе и сонъ, любовь и музыка, надежды и воспоминанія, бредъ и сновидінія во всіхъ ихъ степеняхъ и формахъ-словомъ, всв переливы нашего существованія, отъ самыхъ будничныхъ состояній до самыхъ возвышенныхъ, нашли себѣ поэтическое выраженіе. Какіе чудеса! Кто любить и понимаеть Фета, тотъ становится способнымъ чувствовать поэзію, разлитую вокругъ насъ и въ насъ самихъ, т. е. научается видьть дыйствительность съ той стороны, съ которой она является красотою, является попыткой воплотить смысть и жизнь, осуществить идеаль. Безцыная заслуга поэта, право на величайшую благодарность! Онъ, какъ ярко загоръвшійся факелъ среди ночи, вдругъ освъщаеть всъ предметы и далеко разгоняеть сумракъ, въ которомъ мы живемъ.

Будемъ же у него учиться. Иногда трудно понять его съ перваго раза, потому что у него обыкновенно нъть вступленій, объясненій, и онъ прямо входить въ

medias res, въ изображение минуты, пробудившей въ немъ поэтическую силу. Его стихи-какъ будто внезапная молнія поэтическаго озаренія дъйствительности. Первые куплеты обыкновенно исчерпывають содержаніе, и заключение часто есть только затихающій аккордь. Наконецъ поэтъ, сосредоточиваясь на нъсколькихъ стихахъ, часто небреженъ и неясенъ въ остальныхъ. Но зато, когда вникнемъ и поймемъ, насъ поразить совершенство этихъ пъсней. Стихъ Фета имъетъ волшебную музыкальность, и притомъ постоянно разнообразную; для каждаго настроенія души у поэта является своя мелодія, и по богатству мелодій никто съ нимъ не можетъ равняться. Образность, реалистическая точность изображенія, смілость, незнающая преділовь, ніжность, грація, порывъ, разомъ уносящій насъ отъ земли въ область идеала, --- все это постоянныя принадлежности Фета. Наконецъ, позволимъ себъ выраженіе, которое, намъ кажется, обнимаетъ почти всю эту характеристику: стихи Фета всегда имѣютъ совершенную свижесть; они никогда не заношены, они никакихъ другихъ стиховъ, ни своихъ, ни чужихъ, не напоминаютъ; въ нихъ нътъ и тъни усилія, сочиненія, надуманности; они свъжи и непорочны, какъ только-что распустившійся цв токъ; кажется, они не пишутся, а раждаются цёликомъ.

Для такого обилія и совершенства поэзіи, для такой полной отзывчивости на каждый призывъ музы, очевидно. нужно обладать бодрою и ясною душою. И дъйствительно, мы не найдемъ у Фета ни тъни болъзненности, никакого извращенія души, никакихъ язвъ, постоянно ноющихъ на сердцъ. Всякая современная разорванность, неудовлетворенность, неисцълимый разладъ съ собой и съ міромъ — все это чуждо нашему поэту. Недаромъ онъ

питаеть такую великую любовь къ Горацію и вообще къ древнимъ; онъ самъ отличается совершенно античною едравостью и ясностью душевныхъ движеній, онъ нигдѣ не переходитъ черты, отдѣляющей свѣтлую жизнь человѣка отъ всякихъ демоническихъ областей. Самыя горькія и тяжелыя чувства имѣютъ у него безподобную мѣру трезвости и самообладанія. Поэтому чтеніе Фета укрѣпляеть и освѣжаетъ душу.

Въчный, нерукотворный памятникъ воздвигнулъ себъ Фетъ! По яркости и законченности, онъ—явленіе необыкновенное, единственное; мы можемъ гордиться имъ предъ всъми литературами міра и причислить его къ неумирающимъ образцамъ истинной поэзіи. Къ нашей радости, онъ пишетъ до сихъ поръ, и пишетъ съ тою же силой, съ неувядающей свъжестью. Въ нынъшній торжественный день всъмъ намъ слъдуетъ сердечно привътствовать его, сердечно желать безцънному поэту здоровья на многіе годы.

The state of the state of the seasons of the

НЪСКОЛЬКО СЛОВЪ ПАМЯТИ ФЕТА.

(Нов. Время. 1892, 9 дек.)

Omnia praeclara tam difficilia, quam rara sunt.

Spinoza.

Какъ трудно все на свътъ, какъ мучительно трудно! Едва закрылась могила Фета, какъ мы принимаемся произносить свои приговоры объ его стихахъ, обсужизначеніе его поэтической дъятельности. Можетъ валь быть лучше было бы помолчать, лучше бы переждать, пока затихнутъ скорбныя чувства, пока образъ умершаго поэта перестанетъ вставать между нами и его неумирающею поэзіею. Но молчать нельзя, необходимо торопиться и воспользоваться тьмъ, что вниманіе публики возбуждено, что у читателей на минуту возникъ вопросъ: чтоже такое Феть, и какъ намъ слъдуетъ цънить его? Для огромнаго большинства тъхъ, до кого дошло имя поэта, этотъ вопросъ, какъ извѣстно,—чистая загадка; теперь удобное время отвъчать на вопросъ и загадку, почитатели великаго таланта должны постараться писать, хотя бы сквозь слезы.

Фетъ былъ поэтомъ вполнѣ и до конца; и потому— прославлять его значитъ тоже, что прославлять поэзію. И наоборотъ: для пониманія тайны поэтическаго творчества онъ такой живой и ясный примѣръ, какого дру-

гого не найти. Онъ самъ, конечно, хорошо сознавалъ, что носитъ въ себѣ эту тайну, и часто выражалъ ее очень странными рѣчами. Онъ говорилъ, что поэзія и дѣйствительность не имѣютъ между собою ничего общаго, что какъ человѣкъ онъ—одно дѣло, а какъ поэтъ—другое. По своей любви къ рѣзкимъ и парадоксальнымъ выраженіямъ, которыми постоянно блестѣлъ его разговоръ, онъ доводилъ эту мысль даже до всей ея крайности; онъ говорилъ, что поэзія есть ложь и что поэтъ, который съ перваго же слова не начинаетъ лгать безъ оглядки,—никуда не годится.

Люди, всею душою погруженные въ дъйствительнось, твердо въ нее върящіе и постоянно хватающіеся за нее всьми возможными способами, должны придти въ великій соблазнъ отъ такихъ ръчей. «Чьмъ хвалится, безумецъ!»

Значить, скажуть они, мы были правы, не находя въ поэзіи вкуса и невидя въ ней никакого толка. Но замѣтимъ, что поэтъ, говоря такія рѣчи, конечно, не котѣль унизить то, чѣмъ онъ жилъ и дышалъ, то-есть поэзію. Онъ котѣлъ только со всею рѣзкостью выразить, до какой степени поэзія преобразуетъ дѣйствительность, возводить ее «въ перлъ созданія»; какъ истый лирикъ, онъ хотѣлъ научить насъ, что внѣшній міръ есть только поводъ къ поэзіи, что она коренится и растеть лишь въ нашемъ внутреннемъ мірѣ. И, подумавши, мы убѣдимся, что поэтъ своимъ парадоксомъ хотѣлъ понизить достоинство не поэзіи, а дѣйствительности.

Мы, бъдные жители земли, обречены на постояный обманъ. Вокругъ насъ все тлънъ и прахъ, все носитъ печать зла и безобразія. Но намъ во всемъ этомъ видится что-то прочное и твердое, намъ все это кажется тъмъ

единственнымъ, въ чемъ мы можемъ найти удовлетвореніе нашихъ желаній. И воть отчего мы преданы вѣчному исканію, вѣчной борьбѣ, вѣчному разочарованію. А между тѣмъ, у насъ есть истинная, не обманчивая дѣйствительность, которую мы забываемъ въ погонѣ за ложною; эта дѣйствительность—наше чувство, наша душа. Gefühl ist alles, «чувство—все», говоритъ Фаустъ у Гете. Кто признаетъ свою душу за настоящую дѣйствительность, для того этотъ міръ станетъ призрачнымъ. А кто, напротивъ, считаетъ этотъ призракъ полною и совершенною дѣйствительностью, тотъ долженъ душу свою считатъ чистою мечтою и видѣть въ поэзіи, въ этомъ прямомъ порожденіи души,—одну лишь ложь. Вотъ что хотѣлъ сказать нашъ лирикъ своимъ парадоксомъ.

Но призракъ ли міръ, или дъйствительность,—не все ли равно?—онъ неотступенъ, онъ объемлетъ насъ отовсюду, онъ недаетъ намъ покоя и тянетъ насъ къ себъ, иногда ласкаетъ и убаюкиваетъ, но чаще терзаетъ насъ. Гдъ спасеніе, гдъ убъжище? Въ пъснъ, отвъчалъ себъ Фетъ, и онъ былъ правъ; тъ пъсни, которыя онъ пълъ всю жизнь, были дъйствительнымъ его спасеніемъ, его освобожденіемъ отъ міра.

Всегда и всюду мы связаны, не можемъ двинуться, не можемъ ни о чемъ подумать, не встръчая помъхи, не тяготясь прошлымъ, не страшась будущаго, не стъсняясь окружающимъ. Но въ пъснъ мы вполнъ свободны, и кто умъетъ пъть, испытываетъ это великое блаженство. Пъніе, какъ молитва, принадлежить къ тъмъ человъческимъ дъламъ, которыя человъкъ можетъ дълать одинъ, про себя, и въ которыхъ можетъ достигать полнаго своего удовлетворенія. Не будь мы способны къ такимъ дъламъ, бъдственность нашей жизни увеличивалась бы неизмъ

римо. Поющему пѣсню, очевидно, ничего и никого не нужно, кромѣ самой пѣсни. Онъ поетъ только для себя, и чѣмъ лучше поетъ, тѣмъ больше и полнѣе услаждаетъ себя; но ему для этого нѣтъ нужды въ слушателяхъ или въ обстановкѣ, почти нѣтъ надобности въ поводахъ и въ предметѣ. Любящій пѣть готовъ приняться за пѣніе каждую свободную минуту.

Не истинная ли это загадка? Какимъ образомъ ложь можеть насъ такъ утвшать? Какимъ образомъ мы способны вполнъ насыщаться не какою нибудь дъйствительностью и не самымъ чувствомъ нашей души, а именно этимъ воплощениемъ чувства въ звуки? Туть великая, глубокая тайна. Есть для насъ несказанная прелесть и отрада въ томъ, что мы останавливаемъ минуту среди непрерывно несущагося потока времени, уловляемъ опредъленный образъ среди зыблющейся и исчезающей действительности. Душа наша, какъ говоритъ Платонъ, родилась въ царствъ въчныхъ формъ, въчныхъ образцовъ существующаго, и она ищеть на землъ ихъ подобія. Все временное, неполное, случайное, неясное, слъдовательно вся наша жизнь со всъми ея событіями и чувствами не можетъ удовлетворить насъ. Намъ нужна неизмѣнная мысль, содержащаяся въ бѣгущихъ явленіяхъ; нужны незыблемые образы, краски, формы, которыя мы могли бы созерцать; нуженъ опредъленный строй звуковъ, который воплощаль бы для насъ сущность нашего мятущагося чувства. Хоть на короткіе сроки, но мы вырываемся изъ потока жизни и съ великою отрадою чувствуемъ себя въ положеніи вичных в существъ, которыя не живуть, а только видять самую глубину всего живущаго, смыслъ всякаго чувства, всякаго мгновенія. Съ этой стороны Фетъ совершенно правъ: между жизнью и поэзіею существуеть полная противоположность.

Онъ превосходно понималъ свою поэтическую дѣятельность и часто выражалъ это пониманіе съ удивительною ясностью. Въ одномъ стихотвореніи онъ проситъ красавицу хоть на мигъ показать видъ, что она его любитъ, и подарить ему розу съ своей груди. Ему будетъ сладокъ уже одинъ видъ любви, и за розу онъ объщаеть большую награду—свой стихъ. Какія бы радости и горести съ тобой потомъ ни случились, говоритъ онъ красавицъ, но этотъ свътлый мигъ для тебя останется; ты можешь потомъ испытать въ жизни много потерь,

> Но въ стихѣ умиленномъ найдешь Эту вѣчно душистую розу ¹).

И онъ правъ: роза дъйствительно навсегда осталась въ волшебномъ стихъ. Вотъ почему, и въ томъ восторженномъ гимнъ, который онъ пропълъ «Поэтамъ», онъ съ такою силою останавливается на той же мысли:

Въ вашихъ чертогахъ мой духъ окрылился, Правду провидитъ онъ съ высей творенья; Этотъ листокъ, что изсохъ и свалился, Золотомъ въчнымъ горитъ въ пъснопънъи.

Только у васъ мимолетныя грезы Старыми въ душу глядятся друзьями, Только у васъ благовонныя розы Въчно восторіа блистають слезами 2).

Не следуетъ понимать этихъ словъ такъ, что стихи поэтовъ остаются навсегда въ памяти людской, что они переживаютъ современность и, такимъ образомъ, какъ говорится, увпковичиваютъ известныя имена и событія.

^{1) &}quot;Вечерніе огни", выпускъ 3-й, стр. 12. 2) "Вечерніе огни", вып. 4-й, стр. 8.

Нѣть, смыслъ здѣсь совершенно другой: Фетъ восхищенъ тѣмъ, что у поэтовъ все принимаетъ форму вѣчности, облекается въ вѣчность. Пусть забудутъ поэта, пусть никто его не читаетъ; но, несмотря на это, самъ онъ, да и всякій, кто прочтетъ, видитъ эту вѣчную форму, эту «незыблемую мечту». Для нея уже нѣтъ времени, нѣтъ перемѣны, и она такъ же свѣжа, какъ въ первый день.

Въ послѣднемъ, невыразимо трогательномъ стихотвореніи Фета (23-го окт.), повторенъ тотъ же мотивъ. Поэтъ уже дошелъ тогда до состоянія,

Когда дыханье множить муки, И было-бъ сладко не дышать;

онъ уже называетъ свой домъ «обителью смерти»; и вдругъ эту обитель пробудилъ звукъ «райской струны», вдругъ послышался привѣтъ, отъ котораго «вскипѣла слеза» у поэта и освѣжила его тяжко горящіе, больные глаза. Онъ пожелалъ, чтобы эти мгновенныя слезы не пропали безслѣдно «на землѣ, гдѣ все такъ бренно», гдѣ и самъ поэтъ скоро станетъ бреніемъ, и вотъ онъ увѣряетъ:

Ихъ сохранитъ на вѣкъ нетлѣнно Предъ вами старческая грудь.

Конечно, сохранить; въ этихъ стихахъ и для того, къ кому они обращены, и для всякаго, кто прочтеть ихъ, навсегда сохранится чувство, которое ихъ внушило, и образъ поэта съ его старческой грудью, для которой больно дышать, съ горящими въками, которыя вдругъ увлажились отрадною слезою.

Феть пълъ почти наканунъ своей смерти; ему до конца не измънила эта радость, это лучшее утъшение

его жизни. Онъ самъ всегда живо чувствовалъ и исповъдывалъ примиряющую и просвътляющую силу того чуднаго дара, которымъ обладалъ. Страданіе не можетъ пъть; оно издаетъ вопли или молчитъ. А кто поетъ, тотъ уже покорилъ свое страданіе, тотъ уже облекаетъ его въ въчные образы, созерцаніе которыхъ есть самое чистое наслажденіе. Въ одномъ изъ позднъйшихъ стихотвореній Фета, «муза» отказывается идти на призывъ непонимающихъ ея поэтовъ и съ негодованіемъ говоритъ:

Страдать! Страдають всё, страдаеть темный звёрь Безъ упованья, безъ сознанья; Но передъ нимъ туда навёкъ закрыта дверь, Гдё радость теплится страданья 3).

Для музы изъ всякаго страданія возникаеть радость, незнакомая

Ожесточенному и черствому душой,-

и она хочеть приводить насъ къ этой радости, отучать насъ отъ ожесточенія и черствости.

Поэтическое настроеніе бываеть такъ сильно въ пѣвцѣ, что онъ даже отталкиваеть отъ себя дѣйствительность, когда она мѣшаеть ему предаваться «радости страданья».

Не нужно, не нужно миѣ проблесковъ счастья, Не нужно миѣ слова и взора участья, Оставь и дозволь миѣ рыдать!

Когда бы ты знала, какимъ сиротливымъ, Томительно-сладкимъ, безумно-счастливымъ Я горемъ въ душъ опъяненъ! 4).

^{3) &}quot;Вечерніе огни", вып. 3-й, стр. 1. 4) "Вечерніе огни", вып. 4, стр. 16.

И въ другомъ мъстъ:

О, я *блаженъ среди страданій!* Какъ радъ, себя и міръ забывъ, Я подступающихъ рыданій Горячій сдерживать приливъ! 5)

Значить, есть страданіе, которому сладко предаваться всею душою, есть муки, которыя выше и дороже спокойствія, въ которыхъ больше счастія, чѣмъ въ иныхъ радостяхъ. Лучше плакать о несбывшемся блаженствѣ, чѣмъ отказаться отъ высокаго стремленія души; бываютъ потери, въ которыхъ мы не хотимъ никакого утѣшенія, какъ бываетъ и смерть, которая лучше жизни.

Поэзія учить насъ этому упоенію горя, этому «безумному счастью». Мы поднимаемся съ нею въ какуюто сферу, гдѣ все прекрасно, и страданіе, и радость, гдѣ ничтоженъ всякій нашъ личный интересъ, а царствують лишь вѣчные, божественные образы истинно-человѣческихъ чувствъ и стремленій.

Этотъ міръ—намъ родной, но дѣйствительность не даетъ намъ въ немъ оставаться. Очень хорошо поэтъ сравниваетъ себя съ соловьемъ, который всю ночь «терзается» надъ розой.

Но только-что сумракъ разгонить денница, Смолкаеть зарей отрезвленная птица: И счастью и пъснъ конецъ.

NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND

14 дек.

⁵⁾ Тамъ же, стр. 59.

ГР. А. А. ГОЛЕНИЩЕВЪ-КУТУЗОВЪ.

(Русь, 1884, 1 мая).

Стихотворенія Графа А. А. Голенищева-Кутузова. Спб. 1884.

THE REST OF STREET PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY

Кастальскій ключь волною вдохновенья Въ степи мірской изгнанниковъ поить. Иушк.

Рекомендуемъ эту книгу любителямъ поэзіи, если только есть еще на свѣтѣ такіе любители, если есть люди, непоглощенные до конца ни биржевою игрою, ни движеніемъ по государственной службѣ, ни промышленностію и торговлею, ни политикою внѣшнею или внутреннею, люди, которые читаютъ еще что-нибудь кромѣ газетъ и для которыхъ поэзія составляеть одно изъ важныхъ дѣлъ жизни. Но намъ совершенно необходимо предположить существованіе такихъ людей; иначе намъ не къ кому было-бы обратиться съ тѣми замѣчаніями, которыя мы собрались высказать объ этой книгѣ стиховъ.

Первое впечатлѣніе, ею производимое, нельзя назвать благопріятнымъ. Мы говоримъ не про наружность; наружность очень привлекательна простотою, вкусомъ, удобствомъ. Но звукъ этихъ стиховъ нѣсколько слабъ, вялъ; повороты, переходы, заключенія лирическихъ изліяній и разсказовъ—не имѣютъ энергіи, не звучатъ ясно и опредѣленно.

Что касается до фактуры стиха, то любители поэзім знають, какъ это важно. Своеобразная сильная мелодія есть настоящій даръ небесь. Обыкновенные стихотворцы даже не имѣютъ понятія объ этомъ дарѣ и преспокойно пишуть на чужія мелодіи, на Пушкинскія, Лермонтовскія и т. д. Имъ кажется, что хорошо, когда стихи звукомъ и теченіемъ напоминаютъ чужіе, то есть когда проявилась одна чистая подражательность. Въ этомъ отношеніи, мнѣ приходить на мысль одинъ очень крупный примѣръ. А. К. Толстой, поэтъ очень симпатичный, имѣлъ способность и къ своимъ собственнымъ мелодіямъ, напр.

Осень. Осыпается Весь нашъ бъдный садъ...

или

Гаснеть западъ вдали блёднорозовый...,

но, между прочимъ, онъ очень любилъ писать баллады изъ богатырской жизни; многія изъ нихъ имѣютъ яркія достоинства, и однако-же всѣ ихъ мелодіи не представляютъ своебразія, всѣ онѣ—только варіаціи на Пушкинскую мелодію.

Какъ нынъ сбирается въщій Олегъ Отмистигь неразумнымъ Хазарамъ.

Пушкинъ въ этомъ стихотвореніи возвелъ въ перлъ созданія бывшія тогда въ ходу думы и даль тотъ тонъ, который съ тѣхъ поръ безъ конца повторяется въ этого рода произведеніяхъ.

Другой примъръ. Фетъ почти никогда не беретъ ходячей мелодіи (которая, разумъется, сама по себъ не естъ что-нибудь непозволительное). Онъ очень богатъ своими звуками, и онъ до послъдняго времени запъваетъ на новый, неслыханный прежде ладъ. Такъ недавно онъ написалъ удивительное стихотвореніе:

Измученъ жизнью, коварствомъ надежды, очень своеобразное по мелодіи. Отчасти, своеобразіе это зависить отъ размѣра, котораго, кажется, еще никто не употреблялъ. Это—два ямба и два анапеста—размѣръ чрезвычайно красивый. Напр.

И такъ прозрачна огней безконечность, И такъ доступна вся бездна эфира, Что прямо смотрю я изъ времени въ вѣчность И пламя твое узнаю, солнце міра!

И неподвижно на огненныхъ розахъ Живой алтарь мірозданья курится; Въ его дыму, какъ въ творческихъ грезахъ, Вся сила дрожитъ и вся въчность снится.

И все, что мчится по безднамъ эфира, И каждый лучъ, плотской и бейлотный, Твой только отблескъ, о солнце міра! И только сонъ, только сонъ мимолетный...

Замѣтъте, что и вторая стопа на нѣкоторыхъ стихахъ—анапестъ, а въ другихъ и третья—ямбъ; но это не неправильность; это—разнообразіе, не нарушающее главной мелодіи.

Но не въ одномъ размѣрѣ дѣло. Пушкинъ, напримѣръ, любилъ самые простые и одинаковые размѣры; между тѣмъ, никто съ нимъ и равняться не можетъ по разнообразію и опредѣленности мелодій. Положимъ, вы читаете:

Когда владыка Ассирійскій Народы казнію казниль, И Олофернъ весь край Азійскій Его десницъ покориль, и пр., а на слъдующей страницъ:

Альфонсъ садится на коня, Ему хозяинъ держить стремя. Сеньоръ, послушайтесь меня, Пускаться въ путь теперь не время, Въ горахъ опасно, ночь близка, и пр.,

то вы можете подумать, что это два совершенно различные размъра; между тъмъ это тотъ-же четырехстопный ямбъ.

И такъ, вотъ та сторона дѣла, съ которой стихотворенія гр. Голенищева-Кутузова, какъ намъ кажется, не производять выгоднаго впечатлѣнія. Струны этой лиры какъ будто слабо натянуты. Не только вѣчный ямбъ утомителенъ, но и напѣвъ этого ямба не звучитъ живо и своеобразно, а ограничивается очень простою мелодією и иногда падаетъ до совершенно беззвучной прозы.

Однако-же, это въдь только внъшность. Вчитываясь въ эти стихи, не поражающіе сперва наружной яркостію, вы откроете въ нихъ внутреннія достоинства, соотвътствующія этимъ недостаткамъ: простоту пріемовъ, точность и ясность языка, прямоту и искренность чувства и наконецъ вездъ—настоящую, ненатянутую, прямую поэзію, которая дъйствуетъ тъмъ неотразимъе, что ея форма такъ проста. Есть стихотворцы, владъющіе очень звучнымъ стихомъ и истинно поэтическимъ языкомъ; но читателю часто приходится досадовать, когда подъ этою оболочкой онъ не находить ясной поэтической мысли. Тутъ же—наоборотъ: подъ скромной внъшностью открывается золотая струя поэзіи.

При такихъ свойствахъ этой музы, отчасти понятно, что ея достоинства выступаютъ всего яснѣ въ разскази. Спокойный эпическій тонъ ей сподручнѣе, чѣмъ лири-

ческое напряженіе. И дъйствительно, въ небольшихъ поэмахъ: «Старыя ръчи», «Дъдъ простилъ», «Разсвътъ» и пр., разсказъ и описаніе необыкновенно хороши по точности, простотъ и совершенной изобразительности. Если-бы не неловкія вступленія и финалы, которые иногда просто хочется откинуть, это были-бы вещи безупречныя по мастерству изложенія. И тутъ, когда по ходу дъла разсказъ оживляется сильнымъ порывомъ лиризма, тутъ нашъ поэтъ достигаетъ и наибольшей силы стиха, создаетъ самые лучшіе свои звуки. Таковы: метель и гроза въ «Дъдъ простилъ», или безсонная ночь и восходъ солнца въ «Разсвътъ», и многія такія мъста. Выпишемъ одно.

Прекрасна туча грозовая!
Полнеба грудью обнимая,
Идеть—и небо тѣсно ей!
Она жеветь, растеть и дышеть,
И крылья мощныя колышеть,
И хмурить черный валь бровей.
То взглянеть... то вновь смолкаеть
Въ раздумьи страстномъ, и грозна
Ея живая тишина.
Идеть, надвинулась, сверкнула
Могучимъ взглядомъ; грянулъ громъ—
И все смѣшалося кругомъ;
Все въ тьмѣ и бурѣ потонуло.

Но что-же это за муза? До сихъ поръ мы все толкуемъ какъ эстетическіе сластолюбцы, жадные до образности и музыки, готовые

Для звуковъ жизнь не щадитъ.

Но въ чемъ-же состоитъ внутреннее содержаніе, какова душа этой поэзіи? Этотъ вопросъ будетъ потруднѣе, и говорить о немъ нельзя такъ развязно. какъ о ямбахъ и хореяхъ. Каждая муза имѣетъ свой взглядъ на міръ, свой особый способъ чувствовать и понимать и природу, и свою и чужую жизнь. Характеризовать музу гр. Кутузова тѣмъ труднѣе, чѣмъ больше въ ней простоты, искренности, чѣмъ меньше преувеличенія и напряженности. Однако-же вотъ черта, на которую можно, кажется, прямо указать. Нашъ поэтъ очень часто останавливается на мысли о смерти, и эта мысль имѣетъ у него особенный, именно какой-то свѣтлый характеръ.

Еще недавно, страхъ передъ смертью былъ намъ изображенъ другимъ художникомъ, покойнымъ И. С. Тургеневымъ. Въ «Стихотвореніяхъ въ прозѣ» встрѣчается множество варіацій, съ большою живостью представляющихъ тоску и отвращеніе, всякія волненія жизнелюбія, подымающіяся въ душѣ при видѣ неизбѣжнаго конца.

Чувства эти очень естественны, но вовсе не рѣдкость другое, болѣе спокойное отношеніе. Порывы чувства и горькіе опыты научаютъ многихъ становиться выше любви къ жизни, и обыкновенно поэты въ своихъ созерцаніяхъ смерти—идутъ дальше не только простой боязни, но и вообще печали и мрака.

Помните-ли вы, любезный читатель, стихи Баратынскаго? Это въ полномъ смыслъ—гимнъ смерти.

> Ты—дочь верховнаго энира. Ты—евѣтозарная краса; Въ рукѣ твоей—олива мира, А не губящая коса.

Когда возникнулъ міръ цвѣтущій Изъ равновѣсья дикихъ силь,

Въ твое храненье Всемогущій Его устройство поручиль.

И ты летаешь надъ твореньемъ

И въ немъ прохладнымъ дуновеньемъ Смиряещь буйство бытія.

Ты укрощаешь возстающій Въ безумной силь урагань;

Даешь предѣлы ты растенью,

А человѣкъ? Святая дѣва! Передъ тобой, съ его ланитъ Мгновенно сходятъ пятна гнѣва, Жаръ любострастія бѣжитъ.

Недоумънье, принужденье— Условье смутныхъ нашихъ дней— Ты—всъхъ загадокъ разръшенье, Ты—разръшенье всъхъ цъпей!

Конечно, это больше отвлеченныя мысли, такъ-сказать изложение смысла смерти; но чувство очевидно проникаетъ собою эти чудесные стихи.

У гр. Кутузова смерть является въ болѣе конкретныхъ формахъ; онъ уловляетъ опредѣленныя черты того глубокаго смысла, который она имѣетъ для человѣка, и онъ любитъ вглядываться въ этотъ смыслъ. Это вовсе не страхъ, не отчаяніе, не покорность; нѣтъ, тутъ говоритъ только живое чувство житейской тьмы, которое охватываетъ поэта по какому-нибудъ поводу, иногда не содержащему въ себѣ ничего мрачнаго или печальнаго. Смерть есть выходъ изъ этой тьмы.

«Три свиданія (стр.47), конечно,—свиданія съ музою; при третьемъ свиданіи она говоритъ:

Пойдемъ туда, гдѣ нѣтъ ни счастья, ни кручины, Гдѣ умолкаетъ шумъ ненужной суеты, Гдѣ льдами вѣчными покрытыя вершины Глядятъ на міръ и жизнь съ безстрастной высоты!

При наступленіи весны, мысль поэта обращается все туда же, къ той же важной темѣ; его «Весенняя дума» (стр. 52) оканчивается такъ:

Вижу сквозь праздникъ, сквозь пламя и радугу лѣта, Образъ иной красоты, неизмѣнно спокойный, Слышу сквозь пѣсни, сквозь шумъ треволненья нестройный Тихую ласку и прелесть инаго привѣта!

Вижу подъ саваномъ бѣлымъ уснувшую землю, Миръ водворила въ ней смерти цълебная сила; Взоръ успокоенный къ небу съ земли я подъемлю— Въ вѣчной лазури тамъ вѣчныя блещутъ свѣтила!

Этоть образь въчности въ видъ спокойной бълой зимы, озаряемой звъздами—выразителенъ и прекрасенъ.

Безсмертіе, надежда на «вѣчный покой и вѣчную любовь», конечно, составляють твердыя вѣрованія нашего поэта. Но его мысли о смерти интересны для насъ больше всего по ихъ отношенію къ жизни, по тому, какъ ими озаряется жизнь. Насъ поражаеть, когда у него «въ трезвый мигъ душевнаго досуга», «въ случайной тишинѣ» такъ легко является мысль о смерти,—

Внезапно прозвучить, какъ дальній голосъ друга, Грядущаго конца таинственный привѣть (стр. 56).

Чокаясь бокалами при «Встрътъ новаго года» (стр. 64), поэтъ почувствовалъ, какъ шевельнулось у всъхъ доброе чувство—

На мигъ передъ живымъ участьемъ Смирилась власть враждебной тьмы.

Но этотъ лучъ среди тьмы сейчасъ же принесъ ему болъе общее и широкое напоминание.

Но мнѣ какой-то голосъ странный Вдругъ прошепталъ привѣтъ иной,— Привѣтъ таинственный, нежданный, Неслыханный дотолѣ мной. И я взглянулъ: въ красѣ безстрастной, Сверкая вѣчной бѣлизной, Издалека съ улыбкой ясной Мнѣ смерть кивала головой!

Такова для него смерть: она одарена безстрастною красою и смотритъ на него съ ясной улыбкой.

Три поэмы: «Старыя рѣчи», «Дѣдъ простилъ», «Разсвѣтъ», поэмы, невольно обратившія на себя большое вниманіе читателей и составляющія, конечно, лучшее право гр. Кутузова на званіе дѣйствительнаго поэта, всѣ эти поэмы въ своей завязкѣ основаны на смерти, или на близости смерти. Въ живыхъ образахъ вы видите, какъ смерть разрѣшаетъ узлы, сплетаемые жизнью, какъ она есть прямой и желанный выходъ илъ житейской тьмы.

Узелъ завязывается тѣмъ, что человѣку, ради своего счастья и ради счастья любимаго существа, приходится жертвовать счастьемъ другаго человѣка. Въ первой поэмѣ самый узелъ не успѣваетъ затянуться; передъ лицомъ смерти тутъ мгновенно

Жаръ любострастія бъжитъ.

Въ «Разсвътъ» съ большою и тонкою правдою описано безъисходное сплетеніе, въ которое стали дъйствующія лица, и смерть во всей своей красъ является на помощь главному герою:

Я смерти видѣть взглядъ. Великая отрада Была въ спокойствіи ея нѣмаго взгляда: Въ немъ чуялся душѣ неслыханный привѣть, Въ немъ брезжилъ на землѣ невиданный разсвѣть! Казалося, дотоль я не имѣтъ понятья Объ утренней красѣ безоблачныхъ небесъ: Теперь—весь дольній міръ въ разсвѣтѣ томъ исчезъ; Я неба чувствовалъ безстрастныя объятья, Я погружался въ нихъ—и становилось мнѣ Все бепечальнѣе, все легче въ тишинѣ (стр. 251).

Въ поэмѣ «Дѣдъ простилъ» самая исторія разсказана не въ столь конкретныхъ и ясныхъ чертахъ, какъ въ «Разсвѣтѣ»; но развязка—превосходна. Это— «Дѣдъ простилъ!» невольно напоминаетъ русскую поговорку о скончавшихся: «Богъ его уже простилъ»; смслъ этой смерти есть настоящее, радостное освобожденіе отъ земнаго ига, не простой выходъ, не наказаніе, а именно прощеніе.

Мы остановились на той чертѣ музы нашего поэта, которая показалась намъ ясною и выдающеюся; да и предметь, о которомъ шла рѣчь, показался намъ достойнымъ вниманія читателей. Ибо смерть имѣеть свою важность даже по сравненію съ внѣшнею и внутреннею политикою. Размышленіямъ о смерти издавна приписывается особая сила и польза; они ведуть насъ въ высокія области.

Мы указали только одну характерную черту музы этого новаго «изгнанника въ степи мірской», какъ Пушкинъ называеть поэтовъ; пусть читатели сами ближе и польте познакомятся съ этой прекрасной музой.

Сочиненія Графа А. Голенищева-Кутузова.

Т. І-ІІ. Спб. 1894.

Изъ отчета о десятомъ присуждении Пушкинскихъ премій въ 1894 году.

Между нашими поэтами последняго періода гр. А. А. Голенищевъ-Кутузовъ уже давно занимаеть очень видное мѣсто. Поэтовъ мы разумѣемъ въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, т. е. тёхъ, которые пишутъ стихами. Послъдній періодъ нашей поэзіи мы считаемъ приблизительно съ турецкой войны. До этого времени продолжалось еще вліяніе, изв'єстное подъ названіемъ шестидесятых годова; тогда поэзія была въ загонъ, и крѣпко держались и писали только три извѣстныхъ поэта: Майковъ, Полонскій и Феть, такъ что историкъ нашей поэзіи долженъ будетъ этими именами обозначить цёлый періодъ своей исторіи. Но къ концу семидесятыхъ годовъ стали появляться новые писатели стиховъ и понемногу ихъ явилось чрезвычайное множежество; восьмидесятые годы представляють такое обиліе стиховъ и стихотворцевъ, какого никогда не бывало въ

русской литературъ. Въ этой толпъ показался и гр. Кутузовъ и постепенно занялъ свое выдающееся положеніе. Эпохою, когда установилась его извъстность, нужно считать появленіе трехъ его поэмъ: Старыя ричи, 1879 года, Дидъ простилъ, 1881 года и Разсвитъ, 1882 года.

Увлечение стихотворствомъ, пережитое, или переживаемое нами, большею частію есть явленіе неправильное, указывающее на то, что въ литературѣ понизились строгія требованія и получили просторъ низменные вкусы. Стихи плъняють читателей и писателей прежде всего однимъ своимъ звукомъ; для многихъ достаточно правильнаго размѣра и риемъ, чтобы получить большое удовольствіе. Является, такимъ образомъ, возможность удовлетворять себя и другихъ самымъ дешевымъ способомъ, достигнуть цёли одною внёшнею постройкой. Если затъмъ вложить въ эту постройку доброе чувство, обращение къ религіознымъ, или патріотическимъ предметамъ, или же выраженіе любви, печали, радости, и т. п., то выйдетъ стихотвореніе, лучше котораго многіе и желать не хотять. Самый ясный примъръ такихъ произведеній-ть стихотворенія, которыя пишутся въ различныхъ сектахъ протестанства и употребляются тамъ при богослужении. Въ сущности это-только ривмованная проза.

Конечно, стихотворцы часто идуть дальше, пытаются подражать тымь истинно-поэтическимь стихотвореніямь, которыя имь извыстны. Но и туть совершается тоть же обмань: когда писатель больше или меньше успысть поддылаться поды форму, оны бываеть увырень, что достигь дыйствительной поэзіи. Оны усвоиваеть чужой языкь и чужое теченіе рычи и думаеть, что ка-

кое бы то ни было содержаніе такимъ образомъ уже получить поэтическое достоинство. Красота и сладость стихотворной рѣчи не всѣмъ доступны, однакоже дѣйствуютъ на очень многихъ, и тогда обыкновенно сильно дѣйствуютъ. И вотъ является желаніе подражать, а подражаніе, которое само въ себѣ ничего дурного не представляетъ, здѣсь опасно, такъ какъ можетъ остановиться на внѣшности и не достигнуть вругренняго зерна.

Какъ бы то ни было, на Руси всегда было много охотниковъ писать стихи. Въ послъдній періодъ они только выступили публично, стали печататься—чего не смъли дълать прежде, когда въ журналахъ и въ публикъ требованія были очень подняты, и стихи, чтобы появиться въ печати, должны были имъть высокое достоинство. Послъ Пушкина и Лермонтова, рядомъ съ Майковымъ, Полонскимъ и Фетомъ, нельзя было являться съ слабыми стихами,—такъ требовала тогдашняя строгая критика. Но постепенно литература расширилась, понизилась, и вступленіе недаровитаго новичка въ литературу перестало быть событіемъ, для кого-нибудь замътнымъ.

Самое дурное въ этомъ обиліи стиховъ не то, что большинство ихъ слабы, а то, что и у тѣхъ ихъ стихотворцевъ, которые обнаруживаютъ нѣкоторое дарованіе, мы находимъ отсутствіе школы, не видимъ вліянія нашихъ великихъ поэтовъ. Русская школа стиховъ уже существуетъ со временъ Пушкина, и даже можно сказать со временъ Жуковскаго и Батюшкова. Но, вмѣсто того, чтобы сохранять превосходныя преданія этой школы, наши новые стихотворцы, будучи, очевидно, очень мало знакомы съ нею, принимаются писать по руководству своего собственнаго вкуса, не воспитаннаго на чте-

ніи свѣтиль родной поэзіи, или же подражають современнымъ европейскимъ поэтамъ, всегда находящимъ у насъ себъ читателей. Дъло дошло до того, что явились даже подражатели французскимъ декадентамъ. Въ этомъ отношеній гр. Кутузовъ представляеть замічательное и очень пріятное явленіе, — онъ истинный питомецъ русской школы, онъ можеть быть даже прямо названъ подражателемъ Пушкина. Вслъдствіе этого вышло, что онъ очень замѣтно выдѣлился среди другихъ своею безупречностію, безукоризненнымъ вкусомъ. Велико или мало его дарованіе, много или не много онъ создалъ, но все имъ написанное чуждо явныхъ и грубыхъ недостатковъ; ни одна пьеса не оскорбляетъ вкуса. Другіе стихотворцы, не лишенные таланта, страдаютъ или напыщенностію и вычурностію языка, или надуманностію и напряженностію чувсть и мыслей, или темнотою, безпорядкомъ, растянутостію, незаконченностію изложенія. У гр. Кутузова не видно было такихъ грѣховъ, хотя бы его пьесы и не имъли въ себъ ничего блестящаго и поразительнаго, какъ онъ обыкновенно у него и не имъють.

Русская школа стиховъ, полный представитель которой—Пушкинъ, есть очень строгая школа. Она не терпить ничего фальшиваго, искусственнаго, смутнаго, она стремится къ правдивости, простотъ и опредъленности. Таковъ въ музыкъ Глинка, а въ поэзін Пушкинъ. Въ этомъ ихъ высшая, несравненная красота. Мериме справедливо говорилъ, что у Пушкина «поэзія чуднымъ образомъ расцвътаетъ, какъ бы сама собой, изъ самой трезвой прозы».

Можно сказать, что эта сдержанность и строгость обнаруженія, составляющая главную черту всякаго изя-

щества, доведена у гр. Кутузова до послѣдняго края, до какой-то стыдливости и стѣсненности. Онъ болгся повысить голосъ; онъ такъ упорно избѣгаетъ всего эффектнаго, крика, рѣзкаго поворота рѣчи, что иногда впадаеть въ монотонную скороговорку. Вообще, звучность, пѣвучесть рѣдко встрѣчаются въ его стихахъ, хотя онъ, очевидно, къ нимъ способенъ; большею частію стихи его не имѣютъ яснаго напѣва и не легко остаются въ памяти.

Приведемъ стихотвореніе, которое пояснить наше замѣчаніе:

О муза, не зови и взоромъ не ласкай! Во взоръ этомъ и призывъ, И въ сердца сладостно-мучительномъ порывъ Мнъ чувствуется вновь утраченный мой рай. Но въ свътломъ томъ раю я гость чужой и лишній, Повсюду за собой влача унынья гнетъ..... Къ чему жъ подъ пепломъ жаръ давнишній

Мнь душу черствую порой томить и жжеть?

Не вспыхнетъ пламень чудотворный, Не вырвется изъ устъ напѣвъ былой любви..... Въ чертогъ сіяющій изъ мрака ночи черной Умолкшаго пѣвца, о муза, не зови!

(Т. І, стр. 215).

Въ этомъ стихотвореніи очень мало пѣнія, хотя оно разбито на куплеты. Между шестистопными ямбами здѣсь замѣшаны три четырехстопныхъ стиха,—въ первомъ куплетѣ второй стихъ, во второмъ куплетѣ—третій, въ третьемъ куплетѣ—первый. Такимъ образомъ нѣтъ правильной мелодіи. Далѣе стихъ:

«И въ сердца сладостно-мучительномъ порывѣ» имѣетъ цезуру тамъ, гдѣ остановка произношенія почти невозможна. По этому, и по вялости нѣкоторыхъ другихъ стиховъ, стихотвореніе похоже на прозу, хотя оно хорошо по содержанію и по точности и выразительности словъ и оборотовъ.

О стихотворномъ теченіи рѣчи вообще говорить трудно; но, намъ кажется, достаточно одного, двухъ примѣровъ, чтобы убѣдиться, что поэтъ не очень чутокъ къ требованіямъ пѣнія рѣчи. Напримѣръ стихъ:

«И кажется мнъ-ихъ покой» (I, 214)

для другого поэта показался бы нестерпимымъ. Или, другой поэтъ вмъсто стиха:

«Слеталися со всёхъ сторонъ» (I, 213)

непремѣнно поставилъ бы:

Со вспхъ слеталися сторонъ;

вмѣсто:

«На твой вызовъ смѣло я отвѣчу» (I, 16)

поставилъ бы:

Смъло я на вызовъ твой отвъчу;

витсто:

«Я пристально порой гляжу назадъ» (I, 203)

поставилъ бы:

Порой гляжу я пристально назадъ.

И такъ далъе.

Разбирать такіе случаи, показывать, почему удареніе второго ямба должно быть очень ясное, чтобы стихъ лучше звучаль,—это завело бы насъ слишкомъ далеко. Мы хотѣли только подтвердить примѣрами, что нашъ авторъ, очевидно, не гонится за звучнымъ пѣніемъ

словъ. Отсюда объясняются разные мелкіе недочеты, попадающіеся у нашего поэта. Онъ вообще не отличается звонкостію риемъ, но иногда это доходить до крайности, напр.:

> «Но ужасъ жизни созналъ я И слезъ потокомъ залился!» (П,22)

Намъ встрѣтился также—horribile dictu!—шестистопный стихъ безъ цезуры; именно:

«Когда къ потерянному чувству нѣтъ возврата» (II, 183)

Эта малая забота о звучности указываеть намъ на вкусы поэта. Съ этими вкусами совершенно согласно то, что его почти неизмѣнный размѣръ—ямбы, какъ у Пушкина, при томъ не только четырехстопные, а часто пятистопные и еще чаще—шестистопные. Шестистопный ямбъ, какъ извѣстно, отличается монотонностію; между тѣмъ, можетъ быть за это самое онъ особенно любимъ нашимъ поэтомъ, который владѣетъ въ совершенствѣ этимъ спокойнымъ размѣромъ и даетъ ему, смотря по надобности, очень различныя теченія. Вотъ напр. стихотвореніе, включенное въ поэму Въ туманю:

«Давно ль та ночь была? Давно ль та пѣснь звучала Побѣдной радостью? Но, горечи полно, Раздумье блѣдное теперь намъ отвѣчало: Лавно!

Уже ль всему конець? Уже ль предъ злою силой, Слѣпой, какъ смерти мракъ, случайной, какъ волна, Должна смириться страсть? Сознанье говорило: Должна! II. какъ дити, упавъ предъ милой на колѣни,
 II плакатъ, я молитъ: бѣжимъ въ далекій край!
 II взоръ ея твердилъ на всѣ мольбы и пени:
 Прощай! (П, 206)

Мелодія этихъ стиховъ очень своеобразна.

Таковы особенности стихотворнаго склада у гр. Кутузова. Что касается до языка, то въ немъ очень ясно слышно подчиненіе Пушкину. Лексическій составъ—тоть же самый; гр. Кутузовъ любить употреблять даже слова пушкинскаго языка, которыя уже устарѣли, напр. заутра вмѣсто завтра, предразсужденіе вмѣсто предразсудокъ, и т. п. Вообще, можно замѣтить, что нашъ поэть охотно держится такъ называемаго стихотворнаго русскаго языка, говорить ложе, чело, уста, вмѣсто постель, лобъ, губы и т. д. Нѣкоторое излишнее пристрастіе къ этому языку иногда даетъ неправильный тонъ стихамъ. Воть, напримѣръ, начало стихотворенія Зарница:

Въ дни дѣтства, помню я, бывало, передъ сномъ Встревоженъ отблескомъ далекихъ молній ночи, Я ложе покидаль и, стоя подъ окномъ, Въ мерцающую даль вперяль съ тревогой очи. Полна, казалось мнѣ, грозой ночная тишь..... Но отворялася сосѣдняя свътлица, И няня старая входила... «Чт) не спишь?» Шептала мнѣ она, «не бойся—то зарница..... Ни бури, ни грозы не будетъ».—И внималь Я съ дѣтской вѣрою словамъ успокоенья.
—«Зарница,» —отходя ко сну, я повторяль, И тихія ко мнѣ слетали сновидѣнья.... (І, 197).

Поэть дальше сравниваеть эту сцену съ тѣмъ душевнымъ состояніемъ, когда уже «наступилъ вечеръ его жизни», но въ душѣ иногда вспыхиваютъ мерцанія страстей. Приведенное начало этого прекраснаго стихотворенія имѣетъ, намъ кажется, какую-то невѣрность въ тонѣ. Ребенокъ, «покидающій ложе», «вперяющій очи» и т. д. представляетъ слишкомъ много торжественности.

Предыдущія замѣчанія могуть показаться придирчивыми или мелочными; но мы хотѣли ихъ исчерпать, чтобы сперва характеризовать по возможности внъшнюю форму нашего поэта, форму, которая отсутствіемъ блеска, уклоненіемъ отъ всякаго эффекта можетъ на первый разъ произвести невыгодное впечатлѣніе. Теперь мы обратимся къ внутреннему содержанію, заключенному въ этой формѣ.

Гр. Кутузовъ подражаеть Пушкину въ стихосложеніи, въ языкъ, во вкусъ, простоть, --- но онъ старается подражать ему также въ правдивости, и следовательно перестаетъ быть какимъ бы то ни было подражателемъ, какъ только вопросъ касается самаго существа его поэзіи. Въ самомъ дълъ, едва ли возможно указать, что его образы и настроенія навѣяны на него произведеніями какого-нибудь другого поэта. Эти попытки высказаться такъ серьозны, идутъ изъ такой сердечной глубины, что и въ мысль не приходить сомнъваться въ ихъ самобытности. Меньше, чемъ о комъ-нибудь другомъ, можно сказать, что гр. Кутузовъ шутить или играеть поэзіею; эта сдержанная муза никогда не улыбается и говорить лишь то, что ею прочувствовано, да и это говорить лишь на половину. Такимъ образомъ, тотъ, кто вчитается въ эти стихи, невольно полюбить пробивающуюся въ нихъ золотую струю неподдѣльной поэзіи.

Сочиненія гр. Кутузова состоять изъ лирическихь стихотвореній, заключающихся въ первомъ томъ, и изъ поэмъ, занимающихъ второй томъ; среди поэмъ есть, вирочемъ, одна «драматическая сцена», Смерть Святополка.

Лирическія стихотворенія разділены на шесть отдъловъ. Очень жаль, что не указаны годы стихотвореній, какъ это сдълано относительно поэмъ. Но невозможно сомнъваться, что порядокъ стихотвореній приблизительно хронологическій. Первый, следовательно самый ранній отділь (стр. 1-40), имбеть смішанное содержаніе. Второй отдъль (стр. 43—64) посвящень войнь, именно нашей последней турецкой войне. Третій отдель (стр. 67-94) весь занять любовью, отношеніями, какъ кажется, къ одному и тому же любимому существу. Четвертый отдъль (стр. 97—116) состоить изъ стихотвореній, называемыхъ «на случай». Пятый отділь (стр. 119—166) содержить наиболее «объективныя» произведенія, даже переводы и подражанія. Наконець, шестой отдъль (стр. 169—218) есть уже чисто субъективный, вполнъ лирическій; вмъсть съ тьмъ этоть отдьль, очевидно последній по времени, есть самый большой и самый важный.

Въ этой лирикъ душевное настроеніе поэта, характеръ его музы успъль выразиться со многихъ и различныхъ сторонъ. Тутъ мы можемъ изучать постоянныя черты этой поэзіи. Намъ кажется, главныя черты выступаютъ въ слъдующемъ стихотвореніи:

Какъ странникъ подъ гнѣвомъ палящихъ лучей, Средь Богомъ сожженныхъ, безводныхъ степей. Бреду я житейскимъ путемъ,—и давно Усталое сердие тоской сожжено.

Ни твни отрадной, ни жизни кругомъ, Ни тучи, ни бури на небъ моемъ! Безгромное небо, безбрежная даль,— Нъмое раздумье, нъмая печаль..... Но изръдка видятся въ смутной дали Предълы цвътущей и юной земли, Подъемлются призраки рощъ и садовъ, Сверкающихъ водъ и зеленыхъ холмовъ.

Въ прохладъ незримой воздушной волны Струится дыханье любви и весны, Таинственно кто-то манитъ и зоветъ, Желаннаго счастія въсть полаетъ.

И духъ, оживая, стремится туда, Гдв зыблются рощи, гдв свётить вода, Гдв отдыхъ и тень, и любовь, и приветь, Какихъ на землъ не бывало, - и нътъ! (I, 184).

Мы видимъ тутъ, какого рода та *тоска*, которая такъ часто выражается у нашего поэта. Міръ, въ которомъ онъ совершаеть «житейскій путь», кажется ему жестокою степью. Такъ и Пушкинъ́ считалъ себя «изгнанникомъ»

Въ степи мірской, печальной и безбрежной.

и находиль отраду лишь въ томъ, что

Кастальскій ключь волною вдохновенья Въ степи мірской изгнанниковъ поить.

Этотъ мрачный взглядъ на жизнь въ большей или меньшей степени встръчается у всъхъ поэтовъ, и Гёте остроумно замъчаетъ, что нужно темное облако для того, чтобы радуга нарисовалась на немъ во всей красъ. Мракъ, которымъ облекается міръ у поэтовъ, происходитъ отъ того, что, какъ говоритъ нашъ поэтъ, для инхъ въ «смутной дали»

«Подъемлются *призраки* рощъ и садовъ, Сверкающихъ водъ и зеленыхъ холмовъ».

Призраки, идеалы живуть вь ихъ душѣ, такіе свѣтлые и прекрасные, что все вокругь кажется тусклымъ и безобразнымъ. У нашего поэта этотъ идеалъ такъ силенъ и нѣженъ, что поэтъ даже отказывается искать на землѣ прекрасной дѣйствительности; онъ прямо говоритъ, что ему видятся радости и красоты,

«Какихъ на землѣ не бывало и нѣтъ!»

Воть настроеніе, которое отзывается во многихъ стихотвореніяхъ поэта. Онъ прислушивается къ звуку и присматривается къ формъ своихъ неуловимыхъ мечтаній, и онъ твердо въ нихъ въритъ, онъ думаетъ, что все совершится, все достигнется, но только не на земль, а тамъ, за предълами нашей жизни,

«Подъ солнцемъ вѣчнаго покоя и любви». (I, 180)

Разумѣется, эти общія черты еще не исчерпывають образа этой музы. Напримѣръ, ея тоска не носить въ себѣ какого-нибудь отчаянія, или мучительныхъ порывовъ, или презрѣнія и ненависти къ людямъ. Поэтъ просто жалуется на «житейскую тьму», на пустоту, холодъ, истому, чаще всего на безплодную «суету» жизни. Но все это истинно тяготить его, и онъ нигдѣ забыть не можетъ ни своей степи, ни своей жажды Кастальскаго ключа. Вотъ одно изъ прекраснѣйшихъ его стихотвореній:

Въ альбомъ Г. П. Данилевскому.

Я измѣнилъ служенью музъ,— И ужъ давно мірскою степью, Съ Парнаса сосланный, влачусь, Гремя суетъ житейскихъ цѣпью. Но вы вашъ заповѣдный храмъ Вдругъ растворили предо мною: Какой блестящею толною Избранниковъ я встрѣченъ тамъ! Со страхомъ въ сонмъ ихъ величавый Вхожу, цѣпей своихъ стыдясь, И посреди любимцевъ славы Привѣтствую смиренно васъ. (I, 112)

Намъ кажется, что всякій читатель узнаеть здѣсь и пушкинскій стихъ, и пушкинскій языкъ, и пушкинскій вкусъ; но выраженія—«Гремя суетъ житейскихъ цѣнью» и «Вхожу, цѣней своихъ стыдясь», во-первыхъ превосходны и представляють тотъ же стихъ, языкъ и вкусъ, а во-вторыхъ по смыслу своему очень характерны для гр. Кутузова. Да и смиреніе, котораго, конечно, не могло быть въ этомъ случаѣ у Пушкина, не составляеть здѣсь простой учтивости.

Тоскующій поэть смотрить на весь міръ своимъ особымъ взглядомъ. Онъ зорокъ, онъ не принадлежитъ къ тъмъ, которые углублены въ себя и питають свою поэзію лишь своими чувствами. Онъ видить и любитъ природу, и, можеть быть, о ней написалъ лучшіе свои стихи; онъ видитъ людскую жизнь съ ея красотой и ужасомъ; онъ видитъ не только свою любовь, но и ту женщину, которую любитъ. Но на всѣхъ его картинахъ лежитъ особый оттѣнокъ. Изъ всѣхъ временъ дня онъ считаетъ лучшимъ временемъ—ночъ; изъ временъ года его больше всего привлекаетъ зима; изъ всякихъ мѣстностей онъ считаетъ лучшею—льсъ; изъ всѣхъ минутъ жизни онъ готовъ считать не только самою важною, но и самою свътлою минутою—смерть.

Война вызвала у нашего поэта рядь стихотвореній, превосходныхъ по глубокому и чистому чувству. Онъ полонъ ужасомъ отъ ея страданій и высоко вдохновленъ героизмомъ страдальцевъ и тѣмъ милосердіемъ, которому война открываетъ такое широкое поприще. Тутъ у поэта является и горячій патріотизмъ, и та энергія стиха и языка, которая у него, большею частію, неожиданна. Напримѣръ, описывая Шествіе войны, онъ говорить:

Она идетъ—и смерть за ней вослѣдъ, *Безглазая и жадная*, несется. . . . (I, 48)

Или вотъ начало стихотворенія *Въ ожиданіи*, изображающаго время предъ взятіемъ Плевны:

Какимъ-то медленнымъ огнемъ Душа усталая томима. За часомъ часъ и день за днемъ, Ненастье, желтые листы, Осенней вьюги завыванье, Въ умѣ недвижныя мечты, Въ груди немолчное страданье! Примчится вѣсть издалека, Кругомъ запахнетъ кровью братской, И вновь безмолвіе, тоска, Покой—ужаснѣй муки адской! (І, 55)

Кто помнить ту осень, тоть найдеть это описаніе не преувеличеннымъ. А стихъ «кругомъ запахнетъ кровью братской» безподобенъ, особенно въ своемъ контекстъ.

Полнъй взглядь поэта на войну высказань имъ въ стихотвореніи «Средь камней и крестовъ безвременныхъ могилъ» (I, 62).

Любовь къ женщинъ у нашего поэта лишена того пыла и порыва, которые свойственны страсти; чувство сосредоточивается на глубокой и простой нъжности къ любимому существу и очень отчетливо переходить въ совершенно одухотворенное отношеніе. Очень типическимъ можеть считаться слъдующее стихотвореніе:

Мой другъ, когда во дни разлуки, Печально голову склоня, Одна, сквозь слезъ сердечной скуки, Ты ропщешь и зовешь меня;

Когда на вздохъ твой затаенный Украдкой ночь даеть отвътъ И въ мракъ призракъ мой влюбленный Призывно шепчетъ страсти бредъ, — Мечтой свътящіяся очи Ты въ этотъ мракъ не устремляй, Не върь, не върь обманамъ ночи И на призывъ не отвъчай! Знай: эта ночь, и звъздъ мерцанье, И бредъ, и призраки впотъмахъ, И страсти знойное дыханье — Все это тлънъ, все это прахъ!

Когда въ живыхъ меня не будетъ, А дума върная твоя И въ той разлукъ не забудетъ Ни дней минувшихъ, ни меня;

Когда душѣ не станетъ мочи Ввѣряться новымъ, лживымъ снамъ— Къ тебѣ придутъ иныя ночи, И ты вздохнешь къ инымъ звѣздамъ. На вздохъ тоски той одинокой, Средь безразсвѣтной темноты, Въ ночи холодной и глубокой

Призывъ мой вновь услышишь ты. Тогда. . . тогда лишь безъ сомнѣнья Повѣрь ему и отозвись: Ни лжи. ни лести, ни забвенья, Ни самой смерти не страшись. Что смерть! Изъ мрака дольней бездны Возьметъ безтрепетно тебя И унесетъ въ чертогъ надзвѣздный Любовь безсмертная моя! (I, 81)

Стоить сравнить это стихотвореніе съ Лермонтовскимь Любовь мертвеца, чтобы почувствовать разницу между беззавѣтною, но чистою любовью, и чувственною страстью, доведенной до чудовищности, а потому и не содержащей дѣйствительнаго чувства.

Множество другихъ предметовъ, которыхъ касается нашъ поэтъ, могли бы послужить поводомъ къ характеристикъ его поэзіи. Онъ любитъ деревню, любитъ русскую природу и, кажется, чъмъ она проще, тъмъ ему любезнъе. Два стихотворенія: Родному люсу (І, 186) и Духъ рощи (тж. 188) рисують съ особенной любовью впечатлънія лъса, съ трудомъ уловимыя словами, смутныя, но по своему сильныя.

Но не лирическія стихотворенія, а поэмы составляють, по нашему мнівнію, самую важную часть произведеній гр. Кутузова. Этимъ поэмамъ онъ больше всего обязань своею извістностію, и въ нихъ дібствительно его таланть обнаружился въ наибольшемъ размірів своихъ силь. Для лирика у него часто не достаеть порыва, его стихъ не довольно быстръ, півучь и громокъ. Для эпоса эти свойства меніве нужны; спокойный разсказъ движется медленніве, свободніве и тонъ его ровніве. Между тімъ, авторъ получаеть полный просторъ для воплощенія своей мысли, и по містамъ, гді тече-

ніе событій ускоряєтся, самъ увлекается этимъ теченіемъ и достигаеть выразительности даже высшей, чѣмъ въ своей лирикѣ. Мастерство разсказа тогда становится удивительнымъ. Вотъ, напримѣръ, мѣсто изъ поэмы «Дъдъ простилъ»:

> И князь проснулся; понемногу Пришелъ въ себя. Со всѣхъ сторонъ Все было тихо . . . «Слава Богу, Крестясь, сказаль онь, -- это сонь!» И въ то же самое мгновенье Шаговъ раздалось приближенье; Дверь отворилась . . . Князь глядить: Предъ нимъ сдуга его стоитъ, Въ смятеньи странномъ шепчетъ что-то, Потупивъ въ землю робкій взоръ: «Княжны нътъ въ спальной . . . видълъ кто-то За садомъ тройку» Что за вздоръ? Старикъ тревожно усмъхнулся: «Я не совсвмъ еще проснулся», Подумалъ онъ; взглянулъ вокругъ, Потомъ, не говоря ни слова, Закрылъ глаза, открылъ ихъ снова И въ ужасв поднялся вдругъ. «Гдъ дочь? . . . Кто говоритъ: не знаю? Сейчасъ найти, позвать ее! Иль нътъ . . . постой . . . не понимаю . . .» Но онъ ужъ понялъ-понялъ все! (II, 141)

Туть душевныя движенія начерчены съ совершенной отчетливостію. Выписки, впрочемъ, не могуть дать полнаго понятія о достоинствахъ отдѣльныхъ сценъ, потому что сила каждой сцены опирается на все предшествующее описаніе лицъ и событій. Очень хороши, напримѣръ, въ этой же поэмѣ описанія метели (ІІ, 144, 145) и грозы (тж. 160—161), но сила этихъ опи

саній безм'єрно увеличивается отъ того, что съ метелью борется князь, а грозы съ волненіемъ ждетъ его страдающая дочь.

Сюжеты трехъ главныхъ поэмъ гр. Кутузова, безъ сомнънія, составляють самое лучшее въ его созданіяхъ; такъ что, если мы и найдемъ недостатки въ развитіи и выполненіи, то не можемъ, однако, не чувствовать глубокой силы мыслей, положенных въ основание этихъ поэмъ, и не видъть ясной образности того воплощенія въ лицахъ и дъйствіяхъ, которое даль своимъ мыслямъ поэть. Замысель вездѣ имѣеть простоту и неотразимую силу. Это-немногосложныя, обыкновенныя, очень ясныя и глубоко трогательныя исторіи. Общая тема та. что среди житейской тьмы, житейской суеты вдругь пробуждаются въ душахъ людей новыя чистыя чувства. Память смертнаго часа, какъ извъстно, считается лучшимъ средствомъ, чтобы сохранять насъ отъ гръха и поддерживать на правомъ пути. Такъ и у нашего поэта-появленіе смерти заставляеть людей одуматься и понять суету своихъ страстей. Въ другомъ мѣстѣ я уже говориль о томъ свътломъ видъ, въ которомъ нашему поэту является смерть 1). Какъ Баратынскій, онъ готовъ сказать ей:

Ты—дочь верховнаго Энира, Ты—свътозарная краса

Ты—всёхъ загадокъ разрёшенье, Ты—разрёшенье всёхъ цёпей.

Въ поэмѣ «Старыя рычи» завязывается страст ная любовь между молодымъ человѣкомъ и замужнею

¹⁾ Замытки о Пушкинь, стр. 243—247.

женщиной. Уже назначено первое свиданіе, какъ вдругь мужъ попадается въ бѣду,—проигрывается и подвергается припадку, приводящему его на край гроба. Жена вдругъ чувствуетъ жалость къ человѣку, который былъ ей ближе отца и матери, и чувствуетъ стыдъ передъ мыслію о своихъ любовныхъ затѣяхъ. И отвергнутый обожатель тоже начинаетъ понимать, что пробужденіе этихъ чувствъ дало любимой имъ женщинѣ «новую чистую красоту». (П, 109)

Въ поэмѣ «Диодъ простиль» власть мірской суеты обнаруживается въ томъ, что дочь убѣгаетъ отъ отца, чтобы выйти замужъ за любимаго человѣка. Такимъ образомъ завязывается тотъ узелъ, на которомъ основаны всѣ три поэмы, узелъ, состоящій въ томъ, что счастіе одного человѣка составляетъ горе для другого. Дочь приходитъ къ отцу просить прощенія, когда онъ уже умеръ; и вотъ она чувствуетъ за собою вину непоправимую, неизгладимую. Вина передъ умершими, вообще, —жестокая вина; столько же, какъ любовь, она составляетъ обыкновенно опору для нашихъ вѣрованій въ загробную жизнь. Начинается драма, въ которой покойникъ дѣйствуетъ какъ живое и властное лицо. Дочь смотритъ на себя, какъ на непрощенную грѣшницу и сокрушается:

Съ боязнью страстной и тоскою Повсюду кары ищетъ слѣдъ И мнитъ себя одну виною Всѣхъ золъ, и недуговъ, и бѣдъ. Ей въ жизни все едино стало. По цѣлымъ днямъ она, бывало, Сидитъ недвижно, затая Въ душѣ завѣтное желанье, Сидитъ и смотритъ внутръ себя

И слушает свое страданье.
Летять часы, проходять дни...
Не властны, минтся ей, они
Страданій тыхь исполнить мыру.
Она сама теряеть выру,
Ждеть—и не ждеть... Но наконець
Надь нею сжалился отець! (П, 154)

Послѣ этого краткаго, точнаго и сильнаго описанія того, что дѣлается въ душѣ героини, —слѣдуеть развязка—ее убилъ громъ среди того дождя, о которомъ она молилась. Тутъ всѣ обстоятельства такъ тѣсно и искусно связаны, что нельзя не подивиться мастерству этихъ страницъ. Вотъ разрѣшеніе узла, завязаннаго жизнію. Эта смерть лучше, чѣмъ эта жизнь. Какъ въ первой поэмѣ отреченіе отъ страсти прекраснѣе, чѣмъ увлеченіе страстію, такъ и здѣсь въ смерти больше благости и красоты, чѣмъ въ жизненныхъ радостяхъ и стремленіяхъ этихъ людей. Мы вмѣстѣ съ поэтомъ подымаемся въ область идей, высоко парящихъ надъ земнымъ добромъ и зломъ.

Третья поэма «Разсвить» есть самое совершенное произведение гр. Кутузова. Молодой человъкъ прівзжаеть въ деревню на свадьбу дъвушки, съ которой былъ коротко знакомъ лътъ пять назадъ. Между ними возникаеть такая сильная любовь, что невъста отказызываеть жениху наканунъ дня свадьбы. Женихъ посылаеть вызовъ герою; они стръляются и герой раненъ такъ, что находится на волосъ отъ смерти. Тутъ въ немъ происходитъ глубокій переворотъ: онъ видитъ разсвить новаго лучшаго пониманія жизни и міра. Въ немъ утихаетъ всякая страсть; онъ понимаетъ красоту смерти и холодно отворачивается отъ любимой дъ вушки. Полное отръшеніе оть жизни изображено съ удивительною ясностію и силою. Справедливо кто-то замѣтиль, что это описаніе напоминаеть сцены, когда князь Андрей (въ Войню и Мирю) лежить раненный на Аустерлицкомъ полѣ, когда потомъ снова раненъ подъ Бородинымъ и, наконецъ, когда умираеть. У гр. Кутузова своеобразенъ очень свѣтлый характеръ этихъ минуть душевнаго возвышенія надъ міромъ.

Мы говорили здѣсь не о всѣхъ произведеніяхъ нашего поэта, даже не о всѣхъ наиботѣе замѣчательныхъ. Намъ хотѣлось только показать, что его поэзія можетъ достигать величайшей глубины и красоты. Два тома его стиховъ очень обильны содержаніемъ, и если бы останавливаться на всѣхъ счастливыхъ образахъ, на всѣхъ глубокихъ и вѣрныхъ чертахъ, на каждомъ живомъ, искреннемъ и простомъ чувствѣ, то мы не скоро бы кончили.

Во всякомъ случав, по нашему мнвнію, сочиненія гр. А. А. Голенищева-Кутузова составляють двиствительное пріобрвтеніе нашей литературы, очень цвиное и прочное пріобрвтеніе, и, конечно, вполнв достойны, чтобы увънчать ихъ полною Пушкинскою премією.

О. И. Тютчевъ.

(Нов. Время, 1886, 4 сент.)

Біографія ведора Ивановича Тютчева. Соч. И. С. Акса-кова. Москва, 1886.

На этой книгѣ соединились два прекрасныхъ имени, и конечно будутъ только поддерживать одно другое. Имя Тютчева, которое знатоки дѣла произносять съ высокимъ уваженіемъ, вовсе не имѣетъ у насъ той извѣстности, какой оно заслуживаетъ. Это одинъ изъ нашихъ классическихъ поэтовъ, а его знаютъ очень мало. И вотъ, является книга такого извѣстнаго писателя, какъ И. С. Аксаковъ, въ которой съ любовью и серьозностію подробно изложены ходъ и значеніе поэтическихъ произведеній Тютчева, и вмѣстѣ изображена жизнь этого человѣка, одного изъ замѣчательнѣйшихъ русскихъ людей по уму и убѣжденіямъ.

Предметь очень любопытный. Тютчевъ—вѣдь это поэть еще пушкинской плеяды; онъ только четырьмя годами моложе Пушкина, и Пушкинъ самъ еще печаталь его стихи въ своемъ "Современникть". И кромѣ того, Тютчевъ — славянофилъ, политическій писатель, одинъ изъ людей, краснорѣчиво и громко проповѣдывавшихъ свои мнѣнія среди общества. Все это изложено

въ книгѣ; но біографъ сдѣлалъ еще больше,—онъ повель рѣчь вообще о славянофильствѣ, объ основныхъ убѣжденіяхъ всего этого направленія, такъ что читатель найдетъ здѣсь не только точное и тщательное изложеніе мнѣній Тютчева, но и нѣкоторое исповиданіе виры самого И. С. Аксакова, изложеніе ученія, которое было ему завѣщано и которое онъ развивалъ.

Довольно, кажется, такого, чѣмъ можно заинтересоваться. Тутъ дѣло касается нашей литературы и умственной жизни за цѣлую половину столѣтія. Какъ поразительно и поучительно, напримѣръ, то, что Тютчевъ создалъ себѣ свое славянофильство совершенно независимо, живя за границей, безъ всякихъ вліяній изъ Москвы. Разгадка конечно заключается въ его великомъ патріотизмѣ, который только подстрекался и поддерживался его сношеніями съ западными людьми и его заботами о политическихъ дѣлахъ Россіи. Въ чуткомъ сердцѣ, въ серьозномъ умѣ, изъ любви къ Россіи послѣдовательно сложились взгляды на ея назначеніе и на ея отношенія къ Западу. Можно сказать объ Тютчевѣ, что онъ понималъ самую душу русскаго народа. Вспомните эти незабвенные стихи, обращенные къ Россіи:

Не пойметь и не замѣтитъ Гордый взоръ иноплеменный, Что сквозить и тайно свѣтитъ Въ наготѣ твоей смиренной.

Неистомленный ношей крестной, Всю тебя, земля родная, Въ рабскомъ видъ Царь небесный Исходилъ, благословляя.

Что касается вообще до стихотвореній Тютчева, то нътъ сомнънія, что это произведенія высшаго порядка,

полная и чистая поэзія. Конечно, есть причина, почему они не имъли успъха. Въ нихъ ясно, что поэтъ не отдается вольно своему вдохновенію и своему стиху. Чудесный языкь не довольно првучь и свободень, поэтическая мысль, хотя и яркая и граціозная, не рвется безотчетно и потому не подмываеть слушателя. Но это полное обладание собою, эта законченность мысли и формы не исключаеть поэзіи; у Тютчева есть порывы, стоны и крики, тонкости и наивности, не уступающія никакимъ увлекающимся и заливающимся въ своемъ пъніи поэтамъ. Не-поэтическаго, прозы, у него нъть въ стихахъ, и всю свою поэзію онъ даеть намъ въ видѣ настоящаго, чистаго золота, какимъ она явилась у него въ душъ. Онъ быль человъкъ глубокаго образованія и тонкаго вкуса, и это отразилось и на содержаніи и на форм'в его стиховъ. Кто возьметь его, какъ онъ есть, тоть испытаеть самое полное наслаждение, какое можеть дать поэтическое творчество.

Говорить-ли о другой сторон'в книги, о славянофильскомъ ученіи? Предметь слишкомъ общиренъ для маленькой зам'втки. Скажемъ только, что всякій, желающій серьозно познакомиться съ основами этого ученія, долженъ читать эту книгу, и кто не читаль ее, тотъ еще не им'веть права разсуждать о славянофильств'в.

Д. Д. Минаевъ.

(Заря 1870, ноябрь).

Пъсни и поэмы Д. Д. Минаева. С.-Петербургъ. 1870 г.

На первой страниц'в этой книги напечатаны слъдующіе восемь стиховъ,—начало поэмы "Юлій Цезарь":

Межъ многихъ истинъ обветшалыхъ, Сентенцій древнихъ, общихъ темъ, Читалъ нерѣдко я въ журналахъ: "Въ нашъ вѣкъ нельзя писать поэмъ."— И рядъ рецензій запоздалыхъ Теперь внушить хлопочеть всѣмъ, Что ты, Шекспиръ (прости ихъ, Боже!), И сапош—одно и тоже.

Ну Господь съ вами, г. Минаевъ! Кто-же и когда хотътъ внушать подобную мысль? Какъ ни мало мы видимъ хорошаго въ той журналистикъ, которая возставала противъ искусства и стремилась уронить его значеніе, все-таки мы должны признать, что такого безсмыслія, какое приводитъ г. Минаевъ, никто не проповъдывалъ. Говорились разныя вещи; говорилось, напримъръ, что гораздо полезнъе для общества быть сапожникомъ, нежели Рафаэлемъ; что сколько-бы мы ни читали Шекспира, отъ этого не увеличится число людей, носящихъ

саноги; что прежде, чъмъ обучать дътей грамотъ и поэзін, нужно сшить имъ сапоги; что безъ Шекспира человъчество могло-бы существовать, тогда какъ безъ сапогъ множество людей погибло-бы отъ лихорадокъ, горячекъ и другихъ болъзней... Словомъ, говорились вещи ни мало не остроумныя, ни мало дела не разъясняющія и даже вовсе не нужныя, вовсе къ ділу не относящіяся, но, во всякомъ случать, вещи, имтьшія подобіе человъческаго смысла, и даже плънявшія читателей своею удобопонятностію, чрезвычайной легкостію, съ которою они укладывались въ головъ, незанятой другими мыслями. Но кто-же говориль, что Шекспирь и сапогиодно и тоже? И въ какомъ смыслъ, даже самомъ ненужномъ и ничего незначущемъ, можно понять такую рѣчь? Если знаменитый критикъ, на вопросъ: что лучте-Шекспиръ или сапоги?-смъло отвъчалъ: сапоги, то этимъ онъ хотълъ только сказать, что онъ усмотрълъ громадное и существеннъйшее различие между Шекспиромъ и сапогами, —именно, что Шекспиръ будто-бы принадлежить къ разряду самыхъ ненужныхъ предметовъ, тогда какъ сапоги принадлежать къ наинужнѣйшимъ. Сапоги—въ мысли критика—примѣръ и образецъ вещи презираемой, но совершенно необходимой; Шекспиръпримъръ и образецъ вещи превозносимой и прославляемой, а между тъмъ излишней.

И такъ, никто не говорилъ, и не могъ говорить, что Шекспиръ и сапоги одно и тоже. Въ подобной нелѣ-пости нельзя обвинять русскую литературу, несмотря на все обиліе этой литературы всякими нелѣпостями.

Такимъ образомъ, первая страница новой книжки стиховъ г. Минаева убъдила насъ, что мы напрасно стали-бы искать у этого поэта точности, что ни мысль,

ни слово его не слушаются и скачуть въ стихи нѣсколько независимо отъ его воли, отчего могутъ произойти весьма забавныя и совершенно неожиданныя сочетанія. Перелистывая книжку, мы невольно увлеклись отыскиваніемъ примѣровъ этого рода путаницы въ словахъ и мысляхъ, и рѣшились показать нѣсколько такихъ образчиковъ читателямъ, въ твердой увѣренности доставить имъ большое удовольствіе. Вѣроятно нѣкоторые читатели помнятъ шуточные стихи, въ которыхъ умышленно нагорожено всякихъ нелѣпостей, напримѣръ:

Отчего у лошадей
Не растуть во рту лимоны?
Оттого, что у Дидоны
На помаду для сельдей
Вышло двадцать пять рублей.

Эти стихи далеко не могутъ внушать той веселости, какую въ насъ возбудила совершенно безъискусственная, отнюдь не предумышленная путаница, встръчающаяся въ стихахъ г. Минаева. Напримъръ:

И, тънь бросая на песокъ, Повисли листья кипариса На мъстъ храма Сераписа. (стр. 7)

Кипарисъ, какъ извъстно, имъетъ не листъя, а чешуйки; тонкія и частыя вътки, усаженныя этими чешуйками, обыкновенно не висятъ, а подымаются къ верху и вмъстъ съ крупными вътвями прижаты къ стволу дерева, отчего и происходитъ всему свъту извъстная стройная форма кипариса. Но для г. Минаева, который, если ему повъритъ, живетъ и гуляетъ

Средь хладныхъ Невскихъ береговъ (стр. 22),

то есть на самой вод'ь, или на льду р'ьки Невы, для него, какъ видно, вс'ь деревья равны, и кипарисъ похожъ на иву.

> Вотъ каратель общественныхь ранъ! Для толпы онъ теоріи строить, Для себя-же—домовъ караванъ. (стр. 51)

Это не мы говоримъ о г. Минаевъ, а г. Минаевъ обличаеть такъ какого-то журналиста. Насъ веселитъ при этомъ то, что дома у этого журналиста могутъ двигаться и должно быть гуськомъ путешествуютъ по улицамъ Петербурга. Караванъ домовъ также хорошъ, какъ сънъ струй. Но то-ли еще бываетъ въ нашей просвъщенной столицѣ!

По проспектамъ, гдв мчатся *чуть септъ* Рысаки, лихачи, катафалки, Попадая подъ дышла каретъ... (стр. 193)

Удивительно! Г. Минаевъ увъряетъ, что чуть свыть уже начинаютъ носиться по улицамъ кареты, рысаки и лихачи, тогда какъ извъстно, что Петербургъ спитъ долго,—смотри хоть у Гоголя "Невскій проспектъ". Но всего удивительнъе то, что чуть свътъ начинаютъ носиться по проспектамъ катасралки. Катафалкомъ называется то возвышеніе, которое устраивается въ церкви, въ храмъ Божіемъ, и на которое ставится гробъ съ мертвецомъ, когда совершаются надъ нимъ погребальные обряды. Какимъ образомъ катафалки могутъ въ Петербургъ выскакивать изъ церквей и носиться по улицамъ,— это понять весьма мудрено. Говорятъ, по ночамъ встаютъ мертвецы изъ могилъ; но чтобы среди дня по улицамъ гуляли катафалки, это мы слышимъ въ первый разъ.

Можеть быть, г. Минаевь разумъть подъ катафалкомъ что нибудь другое, напр., погребальныя дроги, или балдахинъ, или иной подобный предметь; но и въ такомъ случав непонятно, почему эти предметы являются чуть свъть и зачёмъ они мчатся, когда имъ приличествуеть двигаться медленно и безшумно.

Вообще, предметы путаются у г. Минаева въ двойномъ отношеніи, въ отношеніи ко времени и въ отношеніи къ пространству. Время г. Минаевъ назначаетъ совершенно случайно, больше всего ради риемы. Напримъръ, пародія на Некрасова начинается такъ:

Стой ямщикъ! лошадки въ мылѣ всѣ... Жарко ъхать поутру.

При обыкновенномътеченіи явленій природы, поутру бываеть прохладно; но, ради стиха, баринъ, которому приписалъ эту рѣчь г. Минаевъ, увѣряетъ ямщика, что утро—время очень неудобное для ѣзды, что жарко ъхать поутру. Открытіе по истинѣ неожиданное!

Въ отношеніи къ пространству, предметы попадають у г. Минаева не на тѣ мѣста, гдѣ имъ слѣдуеть быть, а куда нибудь мимо, хотя иногда не далеко. Описывая роскошные дома Петербурга, г. Минаевъ говорить:

Бель-этажь, Гдъ статуи подъ каждою нишей. (стр. 274)

Статуи попали *подъ ниши*, хотя ниша есть ничто иное, какъ углубленіе въ стѣнѣ, сдѣланное нарочно для того, чтобы *внутри его* поставить статую. Отдаленные потомки будуть весьма удивлены, узнавъ, что въ Петербургѣ, въ комнатахъ бель-этажей было много статуй и для нихъ дѣлалось множество нишъ, но что статуи ставились не въ нишахъ, а *подъ ними*, подъ каждою нишей.

Впрочемъ, случаются примѣры путаницы, которые нельзя поставить ни въ какое соотношеніе съ категоріями пространства и времени. Напримѣръ, цѣломудріе Весты г. Минаевъ воспѣваетъ слѣдующимъ образомъ.

Но богиня оставалась Непреклонна и чиста, Для лобзанья не ръшалась Раскрывать свои уста. (стр. 191)

Зачёмъ для лобзаній нужно раскрывать свои уста этого мы не можемъ понять. Уста раскрывають тогда, когда хотять говорить или пёть, но не тогда, когда хотять цёловаться. Кто же это цёлуется раскрывши роть?

> Бывши школьникомъ чрезъ мъру, Онъ мъниво было, словно воло. (стр. 258)

Ну кто же и когда считаль вола—примъромь лъности? Обыкновенно его считають образцомъ терпънія и труда. Какъ все ужасно путается въ стихахъ г. Минаева! Катафалки скачуть, дома ходять караванами, угромъ бываеть жарко, статуи стоять подъ нишами, кипарисы опускають листья къ землъ, волы предаются праздности, и женщины, когда вздумають поцъловаться, раскрывають роть!

Но не довольно-ли? Не скажуть-ли читатели, что мы придираемся къ пустякамъ, ловимъ промахи и не обращаемъ вниманія на содержаніе стиховъ г. Минаева, на его прекрасныя нам'вренія и высокія мысли? Увы, мы того мн'внія, что подобная путаница въ словахъ свид'втельствуетъ о великой путаниц'в въ мысляхъ. Намъ безконечно надо'вла вся эта литература, которая носится съ высокими замыслами, съ благородными ц'влями, а между т'вмъ неспособна связать двухъ мыслей, не ум'ветъ употреблять словъ въ ихъ настоящемъ смысл'в, не можетъ

построить ни единой фразы правильной логически. Мы завалены книгами и журналами, которыхъ читать невозможно, до того они переполнены пустозвонствомъ и пустомельствомъ, реторикою во всъхъ ея возможныхъ видахъ, оть реторики высокоцарной до реторики цинической, безтолковщиной и безсмыслицей, которая обнаруживаеть часто съ первой строки и уже навѣрное съ первой страницы. И все это претендуетъ на серьозное значеніе, все это обличаеть, караеть, просвѣщаеть, проводить новыя идеи и возвышенные взгляды. Идеи и тенденціи сдълались покровомъ, подъ которымъ свободно распускаются и процвътають невъжество, тупость, безграмотность, отсутствіе всякой действительной мысли, всякаго действительнаго образованія. Прогрессивные писатели, которыхъ у насъ такое множество, чуть-ли не убъждены, что здравый смыслъ дёло лишнее, что нётъ нужды заботиться о связи мыслей и правильномъ и ясномъ ихъ выраженій, что всв ошибки, всякая неопрятность рвчи и мыслиискупаются великимъ достоинствомъ-прогрессивнымъ направленіемъ. При такомъ глубокоплачевномъ состояніи литературы, право не дурно указывать, что люди, претендующіе на роль двигателей прогресса, въ сущности не умьють соблюдать самыхъ простыхъ требованій логики и здраваго смысла.

Мы готовы, впрочемъ, сказать нѣсколько словъ и объ идеяхъ г. Минаева. Онъ поэтъ прогрессивный, и потому поэзіи въ его стихахъ вовсе не полагается. Идеи же, которыя онъ проводитъ, очень часто подобны тѣмъ, какими наполняются азбуки и прописи,—что, по нашему мнѣнію, должно поставить въ великую похвалу поэту, такъ какъ это весьма справедливыя и хорошія идеи, а легко могло случиться, что онъ сталъ-бы проповѣдывать какія-нибудь

прогрессивныя дикости и нелѣпости. 1'. Минаевъ вооружается противъ роскоши и разврата, отъ которыхъ, какъ извѣстно, погибли многія государства; онъ требуетъ милосердія и состраданія къ бѣднымъ и несчастнымъ, осмѣиваетъ пороки, взятки, тщеславіе и т. д. Вотъ, для примѣра, стихотвореніе, едва-ли не лучшее въ книжкѣ:

Учись, мой другъ!

Всегда какъ куколка одётъ, Какъ дёвочка завитъ, Смышленный Федя въ восемь лётъ Семью дивитъ. Но больше всёхъ дивится онъ, Что весь семейный кругъ Твердитъ ему со всёхъ сторонъ: Учисъ, мой другъ!..

Разбогатѣль въ короткій срокъ
Отецъ его старикъ,
Но никогда прочесть не могъ
Двухъ дѣльныхъ книгъ.
Онъ въ клубахъ время убиваль,
Забывъ про свой недугъ,
Но сыну строго завѣщалъ:
Учись, мой другъ!...

Въ атласъ и шелкъ облечена, Внимая похваламъ, Его maman вся предана Однимъ баламъ,— Но, сына гладя иногда Перстами нъжныхъ рукъ, Матъ шепчетъ сыну безъ стыда: Учись, мой другъ!.. Его красивая сестра
Въ толив другихъ наядъ
Въжитъ ужь съ самаго утра
Въ Юсуповъ садъ,
Скользитъ съ мальчишками по льду,
Злословитъ межъ подругъ,
А брату крикнетъ на ходу:
Учись, мой другъ!

У Феди брать есть; онъ живеть, Спустивши рукава; Игрокъ онъ, пьяница и моть, Гласитъ молва. Но даже онъ свой разговоръ Умъть окончить вдругъ, Схвативши Федю за вихоръ: Учись, мой другъ!...

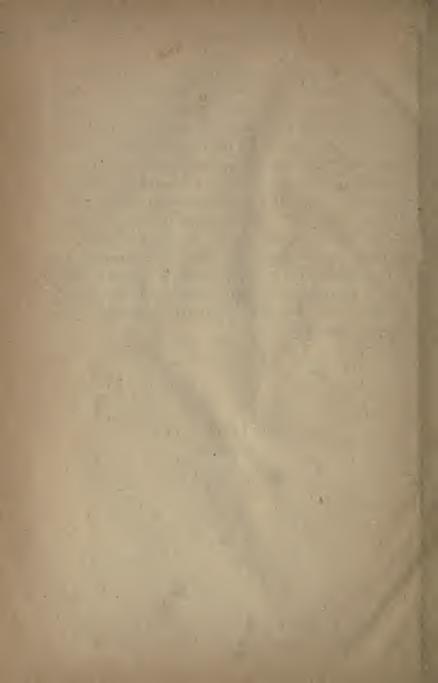
Французъ наставникъ сохранялъ Огонь въ своей крови: Служанокъ въ домѣ соблазнялъ, Пилъ l'eau de vie,— Пропѣть двусмысленный куплетъ Любилъ друзьямъ въ примѣръ, Но даже онъ давалъ совѣтъ: Учисъ, mon cher!

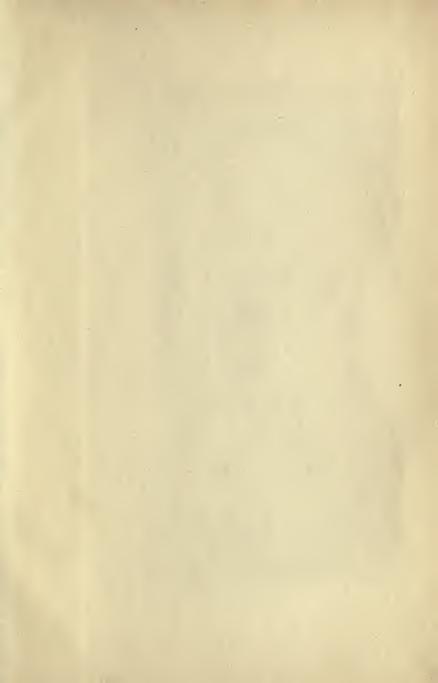
Учись, мой другь!... Какъ твой отець Умѣй пріобрѣтать, Какъ брать жуируй подь конець, Будь строгъ какъ мать, Какъ твой наставникъ, безъ заботъ Смотри на жизнь вокругъ... Тебѣ ученье въ прокъ пойдетъ— Учись, мой другъ!...

Право, это недурно, за исключеніемъ нѣкоторой путаницы въ выраженіяхъ, безъ которой у г. Минаева никогда дъло не обходится. Напримъръ, петербургскія барышни, катающіяся на конькахъ, названы, безъ всякой сколько-нибудь понятной причины, наядами. Но, вообще говоря, стихотвореніе хорошо и по мысли, и по развитію. Оно можетъ служить достойнымъ образчикомъ таланта г. Минаева. При нъкоторыхъ предосторожностяхъ, напр. еслибы г. Минаевъ пересталъ задаваться высшими взглядами и тенденціями, еслибы онъ по возможности избъгалъ иностранныхъ словъ, напр. наяда, катафалкъ, кипарисъ, ниша, караванъ и пр., словъ, которыхъ значеніе, можетъ быть, для него не столь ясно, какъ значеніе русскихъ словъ, —отчего и происходитъ не вполнъ умъстное ихъ употребленіе, —нашъ поэтъ могъ бы, очевидно, писать очень недурные куплеты нравственно-сатирическаго содержанія.

9 ноября

конецъ.







SINDING LIST FEB 15 1949

University of Toronto Library

DO NOT

REMOVE

THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITED

